

---

Е. В. А Н И С И М О В

---

# РУССКАЯ ПЫЛКА





**Евгений Анисимов**

**Русская пытка.**

**Политический сыск  
в России XVIII века**

# ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Думаем, что нет необходимости представлять читателям автора этой книги – имя петербургского писателя-историка Евгения Викторовича Анисимова хорошо известно всем, кто интересуется отечественной историей. Большинство его книг по истории России XVIII века написаны в лучших традициях научно-популярного жанра. И все же книга, которую вы держите в руках, уникальна. Точнее, у нее есть один аналог: знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына. В книге «Русская пытка» Е. В. Анисимов рассматривает всю «технологию» политического сыска XVIII века, весь трагический путь человека от ареста до казни на эшафоте или ссылки. Историк не проводит прямых параллелей между далеким XVIII и столь близким нам XX веком. Но читатель, возможно, с удивлением, увидит, что методы и приемы органов НКВД-ОГПУ-КГБ и политического сыска XVIII века поразительно совпадают. Слежка за подозреваемым с помощью тайных агентов, перлюстрация писем, провокация, внезапный арест, нередко обманный под видом приглашения в гости или вызова на службу, обыск, изъятие «улик» (личных писем, дневников, книг с «отметкой резкою ногтей»), выявление сообщников (во все времена следователи мечтали раскрыть крупный заговор), запугивание подследственного, унижение его человеческого достоинства, страшные пытки – все для того, чтобы сломать человека и вырвать у него признание. Такая преемственность закономерна, ведь «политический сыск рожден режимом самодержавия, это его проявление,

опора, инструмент», это – основа самовластия, в какие бы одежды оно ни рядилось.

Автор рассказывает не только о громких политических делах и знаменитых преступниках, но и о тех, чьи судьбы оставили след только в документах тайного сыска. Именно они, простые люди, которые обычно в исторических сочинениях предстают как безликие «народные массы», являются главными героями этой книги. Историк изучил сотни следственных дел и пришел к поразительному выводу: «органы сыска были заняты не столько реальными преступлениями, которые угрожали госбезопасности, сколько по преимуществу "борьбой с длинными языками"». Большинство дел политического сыска XVIII века посвящено так называемым «непристойным словам» – так закон называл любое высказывание подданного о государе, – и почти все дела начинались с доносов. Не будем останавливаться на том, что толкало русского человека «донести куда надлежит» – этому автор посвятил целую главу, – отметим только, что донос, или извет, как тогда его называли, был делом непростым. За правдивость своего извета доносчик отвечал собственной шкурой, согласно старинному правилу «Доносчику – первый кнут», или головой. Спасти его мог только буквальный, подтвержденный свидетелями, пересказ «непристойных слов» и точное воспроизведение обстановки, в которой они прозвучали. И вот благодаря этому (язык не поворачивается сказать – счастливому) обстоятельству мы получили возможность услышать живые голоса наших предков, узнать, о чем они говорили и спорили.

Удивительно, что при отсутствии привычных для нас средств массовой информации ни одно важное политическое событие не проходило мимо внимания

дворян, горожан, крестьян самых глухих деревень. Повсюду люди осуждали политику власти, ругали правителей, сплетничали об их нравах и пороках, пересказывали скабрёзные истории и слухи о том, кто государыню «попехивает». Они прекрасно понимали, чем могут кончиться подобные разговоры, ведь доносчики были всюду, но все равно не могли удержаться от желания высказаться, обсудить «политический момент», пересказать слух или вспомнить подходящий к случаю смешной анекдот. Многие сыскные дела начинались с откровений за стопкой водки, стаканом браги, «покалом» венгерского...

Мы перелистываем вместе с автором страницы следственных дел и словно сами оказываемся в пыточных застенках, слышим слова доносчиков, «выкрутки» их жертв, хруст выворачиваемых на дыбе суставов, свист кнута, видим, как ломают людей страх и боль, становимся свидетелями низости и подлости, предательства и вероломства. Узнает читатель и о редких примерах стойкости, когда самые страшные пытки не могли заставить человека признаться в несуществующей вине, подтвердить ложный донос, и о том, как русские люди жили в тюрьме, в ссылке, на каторге, как они встречали смерть на эшафоте. Многие страницы этой книги невозможно читать без содрогания, но, как и в нашей абсурдной действительности, так и тогда трагическое порой соседствовало с комическим, о чем автор повествует со свойственным ему юмором.

Мы надеемся, что эта книга поможет читателю лучше понять психологию наших предков и глубже осознать связь времен.

# «ПОВРЕДИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ»

Понятие «политическое (государственное) преступление» появилось в русской жизни не раньше XIV века, но поначалу его не выделяли среди других тяжких преступлений. Только знаменитое Соборное Уложение царя Алексея Михайловича (1649 год) четко отделяет политические преступления от других. Время Петра I – переломная эпоха во многих смыслах, в том числе и для сыска: тогда произошло резкое расширение рамок преступлений, называемых государственными. Еще в 1713 году царь провозгласил на всю страну: «Сказать во всем государстве (дабы неведением ни кто не отговаривался), что все преступники и повредители интересов государственных... таких без всякие пощады казнить смертью...» Десять лет спустя Петр I разделил все преступления на «партикулярные» (частные) и государственные, к которым отнесли «все то, что вред и убыток государству приключить может», в том числе и все служебные проступки чиновников. Царь был убежден в том, что чиновник-преступник наносит государству ущерб даже больший, чем воин, изменивший государю на поле боя («Сие преступление вяще измены, ибо, о измене уведав, остерегутца, а от сей не всякой остережется...»), поэтому такой чиновник подлежал смертной казни «яко нарушитель государственных праф и своей должности». В петровское время государственным преступлением стало считаться все, что совершалось вопреки законам. В законодательстве

возник обобщенный тип «врага царя и Отечества» – «преслушник указов и положенных законов».

Умысел на жизнь и здоровье государя (то, что ныне называют покушением) считался самым страшным преступлением. Речь идет о разных способах нанесения ущерба здоровью государя – от убийства его до «порчи». В XVIII веке фактически не было реальных (а не придуманных следствием) покушений на правящего монарха. Легендой кажется рассказ Якоба Штелина о злодее, который в 1720 году якобы пробрался в Летний дворец Петра I, чтобы его убить, но, столкнувшись лицом к лицу с государем, выронил от неожиданности из-за пазухи «превеликий нож». Впрочем, допускаю, что часть покушений была пресечена на раннем этапе их подготовки. Так как угроза убийства монарха существовала потенциально всегда, а определить, насколько она реальна, можно было только при расследовании, то власти, при малейшем намеке на подобный умысел, хватали каждого подозрительного.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

27 июня 1721 года во время празднования в Петербурге годовщины Полтавского сражения, когда Петр I стоял на Троицкой площади в строю Преображенского полка как его полковник, к нему подошел пьяный мужик и трижды поклонился. Когда его попытались арестовать, он начал яростно сопротивляться. В завязавшейся драке на поясе у него вдруг обнаружили нож. На допросе в Тайной канцелярии арестованный утверждал, что подошел к царю без всякого умысла, спьяну, «от шумства», а нож служит ему «для употребления к пище», но ему не поверили. К тому же на спине у него



обнаружили следы от кнута, то есть он уже побывал в застенке. Оказалось, что он беглый, раньше разбойничал, словом, человек подозрительный. В итоге признали, что его попытки подойти к государю поближе не были случайны, и сослали его в Сибирь «в вечную работу».

В 1744 году забрали в Тайную канцелярию и допрашивали там со всей суровостью придворного шута императрицы Елизаветы Петровны. Преступление шута состояло в неловкой шутке: он напугал государыню, принесся ей, как он объяснял на допросе, в шапке «для смеху» ежика. Поступок шута следователи расценили как попытку напугать императрицу, то есть вызвать у нее опасный для здоровья страх и ужас.

В 1762 году некий пойманный беглый солдат на допросе в Тайной канцелярии показал: какой-то польский ксендз «научил его учинить злое дело к повреждению высочайшаго Ея и. в. здравия и дал ему для того порошки и говорил-де, чтобы оные, где государыня шествие иметь будет, высыпать на землю». Внимание следователей привлек не только рассказ солдата о том, как он испытывал взрывной порошок на курах, которым оторвало ноги, но и та легкость, с какой преступник проникал в места, где пребывала государыня Елизавета Петровна. Оказалось, что он, «для учинения онаго злого намерения, наряжаясь в офицерское платье, ходил во дворец и ездил в Царское Село, токмо-де того злого своего намерения не учинил он от страху».

Убеждение, что с помощью магии (порчи, приворота, сглаза) можно «испортить» государя, произвести «сквернение» его души, устойчиво жило в сознании людей XVIII века. Они искренне верили, что Екатерина I с А. Д. Меншиковым Петра I «кореньем обвели», что сам Меншиков «мог узнавать мысли человека», а что мать Алексея Разумовского – старуха Разумиха – «ведьма кривая», «приворотила» Елизавету Петровну к своему сыну.

Защита государя от колдунов и волшебников была одной из важнейших задач политического сыска, поэтому он уделял внимание малейшему намеку, сплетне и слуху на эту тему. Арестовывали и допрашивали всех, кто говорил или знал о чьих-либо намерениях «портить» государя. В основе борьбы с магией и колдовством лежала вера в Бога, а значит и в дьявола, договор с которым закон признавал недопустимым, но вполне возможным. Наказание за сделку с дьяволом было суровым, в законе прямо говорилось: надлежит сжечь того, кто вступил в договор с дьяволом и этим «вред кому причинил». Между тем отличие колдуна, знахаря от дипломированного врача в те времена было весьма тонким: и тот и другой пользовали людей одними и теми же травами и кореньями, любого тогдашнего врача можно было признать колдуном, что и бывало с придворными медиками допетровских времен, которых казнили за «нехранение государева здоровья».

Измена считалась не только тяжким государственным преступлением, но и страшным грехом. Изменника ставили на одну доску с убийцей, богоотступником, он подлежал церковному проклятью.

Само слово «изменник» являлось запретным. Обозвать верноподданного изменником значило оскорбить его и заподозрить в измене. Понятие «измена» возникло в период образования Московского государства, когда все служилые люди перестали быть «вольными слугами», а сделались «государевыми холопами» и стали давать клятву Великому князю Московскому в том, что не будут переходить на службу к другим владельцам. Нарушение такой клятвы и стало называться «изменой». Идеология Московского государства во многом была построена на изоляционизме, и поэтому на всякий переход границы без разрешения государя, на любую связь с иностранцами смотрели как на измену, преступление. Причем было неважно, что эти действия могли и не вредить безопасности страны или власти государя. Сам переход границы был преступлением. Заграница была «нечистым», «поганым» пространством, где жили «магометане, паписты и люторы», одинаково враждебные единственному истинно христианскому государству – «Святой Руси».

Петровская эпоха во многом изменила традиционный подход к загранице и связям с нею. Благодаря реформам Петра I русское общество стало более открытым, но парадокс состоял в том, что это не означало исчезновения из русского права старого понятия «измены». Наоборот, оно развивалось и дополнялось. Во-первых, сохранился военно-государственный смысл измены как преступления (в виде побега к врагу или содействия противнику на войне). Во-вторых, изменой считалось намерение выйти из подданства русского царя. Измена, ведущая к потере земель, называлась «Большой изменой». Измена гетмана Мазепы, перешедшего на сторону шведов в 1708 году,

была «Большой изменой», потому что он умыслил лишить русского государя части его земель на Украине.

Как измена трактовался побег русского подданного за границу или его нежелание вернуться в Россию. Несмотря на головокружительные перемены в духе европеизации, Россия при Петре I оказалась открыта только «внутрь», исключительно для иностранцев. Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных в Европу на учебу, по торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за границей только по воле государя.

Бунт – тяжкое государственное преступление – был тесно связан с изменой. «Бунт» понимался как «возмущение», мятеж с целью свержения существующей власти. Наказания за бунт следовали самые суровые. В 1698 году казнили около двух тысяч стрельцов по единственной резолюции Петра I: «А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали...» «Бунтовщиками» считались не только стрельцы 1698 года, но и восставшие в 1705 году астраханцы, а также Кондратий Булавин и его сообщники в 1707-1708 годы, Мазепа с казаками в 1708 году. Разумеется, несомненным бунтовщиком был и Емельян Пугачев в 1774-1775 годах.

«Бунт» понимался не только как вооруженное выступление или призыв к нему в любой форме, но как всякое, даже пассивное, сопротивление властям, несогласие с их действиями, «упрямство», «самовольство». Само слово «бунт» было таким же запретным, как и слово «измена». Сказавшего это слово обязательно арестовывали и допрашивали.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Как «бунт» расценили в Преображенском приказе в 1700 году поступки известного проповедника Григория Талицкого. Его обвинили в сочинении «воровских тетрадок», в которых он писал, «будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, а антихристом в том своем письме, ругаясь, писал Великого государя».

Подьячего Лариона Докукина в 1718 году обвинили в писании и распространении «воровских, о возмущении народа против Его величества писем». Письмо, которое он хотел «прибить» у Троицкой церкви в Петербурге, есть, в сущности, памфлет против современных ему порядков (осуждал бритье бород, распространение европейских обычаев, забвение заветов предков и т. д.). В этом письме нет ни слова о сопротивлении власти царя. Докукин лишь призывает не отчаиваться, стойко сносить данное свыше «за умножение наших грехов» испытание, ждать милости Божией. Тем не менее все это оценили как призыв к бунту.

Бунтовщиком назвали и полусумасшедшего монаха Левина. По его делу мы можем установить, какие слова, названные потом «бунтовными», кричал 19 марта 1719 года, взобравшись на крышу мясной лавки пензенского базара, Левин: «Послушайте, христиане, послушайте!.. Жил я в Петербурге, там монахи и всякие люди в посты едят мясо и меня есть заставляли. А в Москву приехал царь Петр Алексеевич... Он не царь Петр

Алексеевич, Антихрист... а в Москве все мясо есть будут сырную неделю и в Великий пост, и весь народ мужеска и женска пола будет он печатать... Бойтесь этих печатей, православные!., бегите, скройтесь куда-нибудь... Последнее время... Антихрист пришел... Антихрист!»

Очень часто в приговорах понятие «бунт» соседствовало с понятиями «скоп» (преступное объединение) и «заговор». Власть рассматривала всякое добровольное объединение людей не иначе как преступный «скоп и заговор», поэтому она крайне недоброжелательно относилась ко всяким собраниям, депутациям и другим коллективным действиям, будь то старообрядческие моления при Петре I, мужские вечеринки «конфидентов» в доме А. П. Волынского при Анне Иоанновне, светская болтовня в салоне Лопухиных при Елизавете Петровне или ритуальные собрания масонских лож при Екатерине II. Тем удивительнее события начала 1730 года в Москве, когда во время междоусобия сотни дворян собирались в разных домах и свободно обсуждали проекты реформ, спорили о будущем устройстве России. Это было редчайшее явление русской политической жизни, участники которого, согласно нормам законодательства, были все поголовно государственными преступниками. Закон категорически запрещал также любые попытки организовывать и подавать властям коллективные челобитные, независимо от их содержания, «а ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и о своих обидах бить челом, а не обще».

Из раскрытых заговоров следует упомянуть заговор окольничего Алексея Соковнина и думного дворянина

Ивана Цыклера в 1697 году. Их обвиняли в попытке подговорить стрельцов убить Петра I. Соковнин якобы говорил Цыклеру: «Ездит государь около Посольского двора беспрестанно, одиначеством (т. е. в одиночку. – Е. А.) и в то-де время, ночью б стрельцы постерегли, и убивство можно им учинить...» Известны и другие раскрытые заговоры, которые можно интерпретировать как подготовку к покушению на Петра I. Так, в 1703 году в Черкасске арестовали 18 казаков. Их обвинили в намерении захватить царя, когда он появится на Дону.



*Арест Ивана Цыклера*

Из дела камер-лакея Александра Турчанинова и его сообщников – прапорщика-преображенца Петра Квашнина и сержанта-измайловца Ивана Сновидова, арестованных в 1742 году, видно, что, действительно, налицо были преступные «скоп и заговор» с целью свержения и убийства императрицы Елизаветы.

Сообщники обсуждали, как «собрать партию», причем Квашнин говорил Турчанинову, что он уже подговорил группу гвардейцев. Сновидов же «сказывал, что у него партии прибрано человек с шестьдесят». Был у них и конкретный план действий: «Собранных разделить надвое и ночным временем придти к дворцу и, захватя караул, войти в покои Ея и. в. и Его императорского высочества (Петра Федоровича. – Е. А.) умертвить, а другую половиною... заарестовать лейб-компанию, а кто из них будет противиться, – колоть до смерти». Ясно была выражена и конечная цель переворота: «Принца Ивана (свергнутого императора Ивана Антоновича. – Е. А.) возвратить и взвести на престол по-прежнему».

Считать эти разговоры обычной пьяной болтовней нельзя – среди десяти тысяч гвардейцев было немало недовольных как свержением 25 ноября 1741 года императора Ивана Антоновича и приходом к власти Елизаветы, так и тем, что лейб-компанцы – три сотни гвардейцев, совершивших этот переворот, получили за свой нетрудный «подвиг» невиданные привилегии. Турчанинов, служа лакеем во дворце, знал все входы и выходы из него и мог стать проводником к опочивальне императрицы. А это было весьма важно – ведь известно, что в ночь на 9 ноября 1740 года подполковник К. Г. Манштейн, вошедший по приказу Б. Х. Миниха с солдатами во дворец, чтобы арестовать регента Бирона, едва не провалил все дело: в поисках опочивальни регента он заблудился в темных дворцовых переходах. Раскрыть заговор Турчанинова позволила только случайность.

Другой заговорщик – подпоручик Иоасаф Батурин – был человеком чрезвычайно активным, фанатичным и психически неуравновешенным. Он отличался также



склонностью к авантюризму и умением увлечь за собой людей. Летом 1749 года Батулин составил план переворота, который предусматривал арест императрицы Елизаветы и убийство ее фаворита А. Г. Разумовского («на охоте изрубить или другим манером смерти его искать»). После этого Батулин намеревался вынудить высших церковных иерархов провести церемонию провозглашения великого князя Петра Федоровича императором Петром III.

Планы Батулина не кажутся бреднями сумасшедшего одиночки. Он имел сообщников в гвардии и даже в лейб-компани. Следствие показало, что он договаривался и с работными людьми московских суконных фабрик, которые как раз в это время бунтовали против хозяев. Батулин и его сообщники надеялись получить от Петра Федоровича деньги, раздать их солдатам и работным, обещая им от имени великого князя выдать тотчас после переворота задержанное им жалованье. Батулин предполагал во главе отряда солдат и работных «вдруг ночью нагрянуть на дворец и арестовать государыню со всем двором». Батулин сумел даже подстеречь на охоте великого князя и во время этой встречи, которая привела наследника престола в ужас, пытался убедить Петра Федоровича принять его предложения. Как писала в своих мемуарах Екатерина II, супруга Петра, замыслы Батулина были «вовсе не шуточные», тем более что Петр утаил от Елизаветы Петровны встречу с ним на охоте, чем невольно поощрил заговорщиков к активности – Батулин принял молчание великого князя за знак его согласия.

Но заговор не удался, в начале зимы 1754 года Батулина арестовали и посадили в Шлиссельбургскую крепость, откуда он в 1767 году, расположив к себе

охрану, чуть было не совершил дерзкий побег. Но и на этот раз ему не повезло: заговор его разоблачили и Батурина сослали на Камчатку. Там в 1771 году, вместе со знаменитым Беньовским, он устроил-таки бунт. Мятежники захватили судно и бежали из пределов России, пересекли три океана, но Батурин умер у берегов Мадагаскара. Вся его история говорит о том, что такой авантюрист, как Батурин, мог бы при благоприятном стечении обстоятельств добиться своей цели – совершить государственный переворот.

С подобными заговорами столкнулась и вступившая в июне 1762 года на престол Екатерина II. По многим обстоятельствам дело гвардейцев Петра Хруцова и братьев Гурьевых, начатое в октябре 1762 года, напоминает дело Турчанинова. Опять у власти был узурпатор – на этот раз совершившая государственный переворот Екатерина II, опять (причем – тот же самый) сидящий под арестом экс-император Иван Антонович, снова горячие застольные разговоры измайловских офицеров братьев Гурьевых. Они, участники успешной «революции» 1762 года, недовольны своим положением и завидуют братьям Орловым – те ведь сразу стали вельможами, а они по-прежнему не у дел и без денег. Власть, узнав о заговоре и арестовав заговорщиков, была встревожена как зловещими слухами в обществе о подготовке нового переворота, так и показаниями самих арестованных, говоривших, что «у нас-де в партии до тысячи человек есть», что «солдаты армейских некоторых полков распалены». Учитывая потенциальную опасность заговора, Екатерина II поступила для себя необычно сурово: братья Гурьевы и Петр Хруцов были приговорены к смерти, но потом сосланы в Сибирь. Однако не прошло и двух лет, как снова возникла

опасность государственного переворота. Подпоручик В. Я. Мирович пытался освободить из Шлиссельбургской крепости свергнутого в 1741 году императора Ивана Антоновича.

Список преступлений по рубрике «скоп и заговор» с целью захвата власти нужно пополнить и перечнем успешно осуществленных заговоров. Речь идет об упомянутом выше заговоре цесаревны Елизаветы Петровны и гвардейцев, вылившийся в переворот 25 ноября 1741 года и свержение императора Ивана Антоновича, а также о заговоре императрицы Екатерины Алексеевны и Орловых, который привел в июне 1762 года к свержению Петра III. Наконец, нужно упомянуть заговор, закончившийся убийством Павла I. Эти заговоры, естественно, не расследовались – вспомним знаменитые слова С. Я. Маршака:

**Мятеж не может кончиться удачей.**

**В противном случае его зовут иначе.**

Самозванство было тяжким государственным преступлением. Его не знали в России до начала XVII века. В эту эпоху оно принесло неисчислимыя беды стране, стало символом разрушения установленного Богом порядка, проявлением зла, беззакония и хаоса. К началу XVIII века казалось, что время самозванцев навсегда миновало, однако этот век принес такое их количество, какого не знало предыдущее столетие. Несколько самозванцев появилось уже при Петре I и сразу же после его смерти. В 1730-1750-х годах было выловлено восемь самозванцев, а в 1760-1780-е годы число «Петров Федоровичей» точно даже не подсчитали – около десятка. Последний лже-Петр III был выловлен в

1797 году. Власть весьма нервно относилась к малейшему намеку на самозванство. Все подобные факты тщательно расследовались и выловленных самозванцев жестоко наказывали.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Слова «царь», «государь», «император», поставленные рядом с именем любого подданного, сразу же вызывали подозрение в самозванстве. В 1728 году в Преображенском приказе оказался тамбовец Антон Любученников, сказавший: «Глуп-де наш государь, кабы я был государь, то бы-де всех временщиков перевешал». После пыток его били кнутом и сослали в Сибирь.

В 1739 году некий тамбовский крестьянин, сидя с товарищами в кабаке, возмущался многочисленностью и безнаказанностью воров и убийц и при этом сказал: «Вот, ныне воров ловят и отводят к воеводе, а воевода их свобождает, кабы я был царь, то бы я всех воров перевешал». Эти слова и привели его в Тайную канцелярию. Словом, плохо пришлось бы трем девицам из пушкинской сказки, мечтавшим вслух: «Кабы я была царица...», если бы их подслушал не царь Салтан, а кто-нибудь другой.

«Непристойные слова» («вредительные», «неистовые», «неприличные», «непотребные») были, пожалуй, самым распространенным видом государственных преступлений. Именно «непристойным словам» посвящено большинство дел сыска XVII-XVIII веков. По представлению того времени, слово могло приносить вред, подобно физическому действию. В этом

и состояла причина столь суровой оценки «непристойных слов» как государственного преступления.

Внимание тайного сыска в первую очередь привлекали такие «непристойные слова», в которых усматривался умысел к совершению покушения на жизнь и здоровье государя. Высказывание человека рассматривалось как выражение преступного намерения, поэтому преступлением считалось, например, неопределенное «желательство смерти Государевой». Так был интерпретирован разговор сидевших в пустозерской ссылке мужа и жены Щербатовых. Как сообщил доносчик, княгиня «говорила ему (князю. – Е. А.) о свободе», на что князь сказал: «Тогда нас освободят, когда Его и. в. не будет». Доносчик тотчас поспешил в караулку и заявил, что князь Щербатов «желает смерти Великому государю». Сурово допрашивали сотни людей, позволивших себе сказать в шутку, «из озорства», «недомысля», «спроста», «спьяну», «сглупа» (все это объяснения допрошенных) слова угрозы в адрес государя.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1703 году посадский Михаил Большаков тщетно пытался доказать в Преображенском приказе, что слова, сказанные им своему портному о «новоманирном» платье («Кто это платье завел, того бы я повесил»), к Петру I никакого отношения не имеют: «Слово «повесить» он молвил не к государеву лицу, а спроста, к немцам, потому что то-де платье завелось от немцев...» Но эти объяснения не были приняты, и Большакова сурово наказали. Монастырский крестьянин Борис Петров в 1705 году попал на дыбу за подобное же

высказывание, хотя имени государя он также не упоминал: «Кто затеял бороды брить, тому б голову отсечь».

В 1735 году в казарме Новгородского полка перед сном мирно беседовали солдаты, и один из них рассказал, как на его глазах императрица Анна Иоанновна остановила проходившего мимо дворцовых окон посадского человека и пожаловала ему два рубля на новую шляпу – старая ей почему-то не понравилась. Тут-то солдат Иван Седов и сказал роковые слова: «Я бы ее с полаты (т. е. с крыши. – Е. А.) кирпичем ушиб, лучше бы те деньги солдатам пожаловала!» Можно представить себе ту немую сцену, которая последовала за этими словами. Как говорится, брякнул, так брякнул! Седова схватили по доносу и обвинили в намерении покуиться на жизнь государыни. Все дело кончилось жестокими пытками и смертным приговором, замененным ссылкой в Сибирь. И таких примеров можно привести десятки.

В условиях безграничного самовластия всякое слово, сказанное подданным об этой власти, могло быть интерпретировано как «непристойное», «хулительное», оскорбляющее честь государя. Петр I окончательно расставил все по своим местам: преступлением были признаны все слова подданных, которыми они ставят под сомнение любые намерения и действия верховной власти, «ибо Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен». К государственному преступлению можно было при желании отнести (и относили) любое высказывание подданного о государе, всякие суждения, мнения,

воспоминания, рассказы о государе и его окружении, даже если в них упоминались общеизвестные факты или они были лишь безвредными сплетнями или слухами. Когда в приговоре сказано: «высочайшую Ея и. в. персону многими непристойными и зловредными словами оскорблял» (или «поносил»), то это вовсе не означает, что виновный ругал государыню непечатными словами. Люди лишь сплетничали о нравах и привычках императрицы.

Рассказать сказку или легенду о царях, их подвигах и любовных похождениях – значило для подданного рисковать головой. В 1744 году был бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь сержант Михаил Первов за сказку о Петре I и воре, который спас царя, причем оба – царь и вор – в пересказе сержанта отличались симпатичными, даже геройскими чертами. «Непристойными словами» считались воспоминания о правящем или уже покойных монархах, даже если они были вполне нейтральны.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1733 году сослали в Сибирь некоего Маликова, который передал товарищу анекдотичный рассказ своего деда о слабоумном царе Иване Алексеевиче – отце императрицы Анны Иоанновны: «Как... Иоанн Алексеевич здравствовал и изволил ис покоев своих выйти в нужник, и в то время вор и клятвопреступник стрелецких полков пятисотенный Ивашка Банщиков завалил ево, государя, дровами, и он, Антон, услышав ево, государя, крик, прибежав ко оному нужнику вскоре,

онье дрова разобрал и ево, государя, от смерти охранил».

Рассуждать о происхождении российских монархов нельзя было без риска остаться без языка или оказаться в Сибири. А между тем народ в своих рассказах изображал крайне неприличную картину происхождения своих правителей. «Роды царские пошли неистовые, – рассуждал в 1723 году тобольский крестьянин Яков Солнышков, – царевна-де Софья Алексеевна, которая царствовала, была блудница и жила блудно с бояры, да и другая царевна, сестра ее (вероятно, Марфа. – Е. А.) жила блудно... и государь-де царь Петр Алексеевич такой же блудник, сжился с блудницею, с простою шведкою, блудным грехом, да ее-де за себя и взял, и мы-де за таково государя Богу не молимся...»

Такие суждения в различных вариациях «записаны» политическим сыском в самых разных концах страны. Из уст в уста передавались легенды о том, как немецкого мальчика из Кокуя подменили на девочку, которая родилась у царицы Натальи Кирилловны, и из этого немецкого (в другом варианте – шведского) мальчика вырос Петр I. Естественно, толпе не нравилось, что императрица Екатерина I вышла в люди из портомой, что «не прямая царица – наложница». Петр II был плох тем, что родился от «некрещеной девки», «шведки», что «до закона прижит», да еще и появился на свет с зубами. Об Анне Иоанновне ходили слухи, что ее настоящий отец – немец-учитель и что вообще она – «Анютка-поганка». Об Елизавете Петровне говорили одно и то же лет сорок: «выблядок», «прижита до закона», что ей «не подлежит... на царстве сидеть – она-де не природная и незаконная государыня...». Не успел родиться в 1754



году цесаревич Павел Петрович, как и о нем уже говорили, что он «выблядок».

Земной облик и личная жизнь монарха – тема, которая была безусловно запретной для разговоров и приводила тысячи людей, которые ее касались, в застенки. Знакомство с делами политического сыска создает впечатление, что подданным было запрещено обращать внимание на возраст, пол, физические недостатки, болезни государя. Частная, а тем более интимная жизнь, и вообще всякие сведения о человеческой природе помазанника Божьего были для подданных под строжайшим запретом, являлись табу. Рассуждать о возрасте правящего государя, об естественных пределах, которые кладет небесный Бог жизни Бога земного, – значило совершать государственное преступление. Если люди касались темы неизбежной в будущем кончины самодержца, в этом видели намек на покушение.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В ноябре 1718 года одного из денщиков А. Д. Меншикова допрашивали о том, говорил ли он «недостойные слова такие, что по которых мест государь жив, а ежели умрет, то быть другим...».

В 1719 году был арестован приказчик Мартынов, который сказал: «А государю не долго жить!»

В 1729 году расследовали дело посадского Петра Петрова, сказавшего про Петра II: «Бог

знает долго ли пожить будет, ныне времена шаткие».

Проблема пола государя (государыни) в XVIII веке оказалась очень острой – ведь более 70 лет на престоле сидели преимущественно женщины. Общественному сознанию того времени присуще противоречие: общество, с одной стороны, весьма низко ставило женщину как существо нечестивое, неполноценное и недееспособное, но, с другой стороны, должно было официально поклоняться самодержице. Женщина, да еще незамужняя или вдовая, на священном престоле русских царей – тема неисчерпаемая для «непристойных» и непристойных без кавычек разговоров, за которые людей тащили в сыск, резали языки и ссылали в Сибирь. Можно выделить несколько блоков таких «непристойных слов», которые считались преступными. Во-первых, это уничижительные высказывания о государыне как о «бабе»: «У нас-де ныне баба царствует»; «Владеет государством баба и ничего она не знает»; «У бабы волос долог, а ум короток» (пословица эта часто применялась к императрицам); «Бабье ль дело – такое великое государство и войну содержать и корону иметь...». Сажали людей также за тост: «Здравствуй (Да здравствует! – Е. А.) Всемилостивейшая государыня, хотя она и баба, да всю землю держит!»

Во-вторых, это обсуждение интимной жизни государыни. В основном это разговоры и споры на следующие преступные темы:

1. Предшествующая и нынешняя «блудная история» самодержицы («Государь государыню прогвоздил в девках»; «Мы-де, матушка, знаем, как она, государыня, в девицах жила» – о Екатерине I). Такие или подобные

«речи» о том, кто государыню «попехивает», велись о каждой императрице.

2. Персональный состав любовников императриц, с кем они «блудно («телесно») живут». Среди этих счастливых молва числила самых разных людей. Особенно много грязи выливали на Елизавету Петровну. Образец: «Сначала ее князь Иван Долгорукой погреб (выговорил то скверно), а потом Алексей Шубин, а ныне-де Алексей Григорьевич Разумовский гребет».

3. Тайные «чреватства» и рождение детей у императриц, а также судьба этих детей. Это слухи о детях Анны Иоанновны («У государыни Анны Иоанновны есть сын в Курляндской земле»; «Слышал он в народной молве, будто у Ея и. в. имеетца сын»), о тайных детях Елизаветы Петровны, что способствовало появлению широко известной легенды о «Таракановых».

4. Различные альковные подробности, начиная с аборт (дело Ивана Айгустова, который объяснял успехи лейб-медика Лестока при Елизавете Петровне именно умением их делать) и кончая рассказами о закулисной, обычно непристойной с точки зрения народной морали, жизни двора.

Екатерина II, придя к власти и понимая, что ее воспринимают как жену-злодейку, вела себя крайне осторожно и отказалась не только от предложения принять официальный титул «Матери Отечества» (эти священные слова в разговорах ее подданных сплошь и рядом сочетались с непристойностями), но и от венчания с Григорием Орловым. Она поняла, что ее подданным будет трудно примириться с тем, что самодержица должна безропотно покоряться одному из своих подданных – государевых рабов, ибо в обществе

сохранялся библейский принцип «Да убоится жена мужа своего».



*Иван VI Антонович*

Прошлое династии и монархии, как и личность самодержца, входило в зону запретного, окруженного молчанием, табу. Одни исторические события и деятели прошлого чтились официально, другие события и люди (даже живущие) как будто бы никогда и не существовали. В царствование Елизаветы Петровны исчезло из истории целое царствование императора Ивана Антоновича (октябрь 1740 – ноябрь 1741 года). Все документы этого периода, а также изображения, монеты были изъяты из обращения. Держать их у себя с 25 ноября 1741 года стало преступлением. Об Иване Антоновиче нельзя было сказать ни единого слова, а тем более выразить сочувствие ему и его несчастной семье.

Место заточения узников держали в глубочайшей тайне. Имя свергнутого Елизаветой императора вообще избегали упоминать, а при необходимости называли его «Известная особа».

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1747 году пытали в застенке подмастерья Каспера Шраде, в бауле которого в таможене Нарвы нашли пять монет с профилем Ивана Антоновича. Шраде сослали в Оренбург на вечное житье.

В 1748 году псковский целовальник Недопекин был взят в Тайную канцелярию, так как он привез для сдачи в Соляное комиссарство две бочки денег и при счете среди 3899 рублевиков был обнаружен один с изображением профиля Ивана Антоновича.

Интересоваться историей России вообще в те времена было небезопасно. Самым ярким примером того, как любовь к прошлому привела на плаху, служит дело А. П. Волынского 1740 года, который в предисловии к своему проекту о государственных делах дал историческую ретроспективу от святого Владимира до петровских времен. Волынский очень интересовался русской историей, читал летописи. Из вопросов следствия видно, что попытка Волынского провести параллели с прошлым была расценена как опасное, антигосударственное деяние. Особое раздражение следователей вызвало то, что Волынский пускался в «дерзновенные» исторические аналогии, сравнивал «суетное и опасное» время императрицы Анны Иоанновны с правлением Бориса Годунова. Эти исторические экскурсии привели к тому, что кабинет-министра обвинили в оскорблении не только

честь императрицы, но и «Высочайшего Самодержавия, и славы, и чести Империи».

Под запрет попадали имена ряда исторических деятелей. Только одно упоминание в разговоре имен Отрепьева, Шуйского, Мазепы, Разина и некоторых других «черных героев» русской истории с неизбежностью вело к розыску и наказанию виновного. Примечательно, что только в явно негативном смысле упоминался царь Борис Годунов. В манифесте 14 апреля 1741 года с ним сравнивали свергнутого незадолго перед этим регента Бирона, претендовавшего на полную власть в империи. Иначе было с Иваном Грозным. Петр I считал его великим государем, и на триумфальных воротах в Москве зрители могли видеть портрет Ивана Грозного с надписью «Начал» и парный ему портрет Петра I с выразительной надписью «Усовершенствовал». На следствии в 1740 году Артемия Волынского обвиняли в том, что он называл Ивана IV тираном.

Данные политического сыска XVIII века убеждают, что для народа не существовало ни одного доброго, мудрого, справедливого монарха. А уж о моральном облике почти всех государей народ имел устойчивое отрицательное мнение. Люди, сами далекие от праведной жизни, были необыкновенно требовательны к нравственности своих повелителей. Процесс разрушения святости самодержавия резко усилился с того момента, когда в конце XVI века вымерла династия Рюриковичей и началась борьба за трон. Мне кажется, что пришедшая к власти после Смуты династия Романовых за 300 лет своего господства так и не сумела утвердиться в сознании народа как законная и авторитетная власть. В народе рождалось и жило множество легенд об «истинном царе», добром и справедливым. Они могли

возникнуть только потому, что правящего царя народ считал не «истинным», «не прирожденным». Поведение государей XVIII века как бы постоянно подтверждало «неистинность» происхождения членов династии Романовых. Петр I своим «плебейским» поведением, невиданными реформами и малопочтенными в глазах народа адюльтерами сильно разрушил святость восприятия самодержавия. Женщины, сидевшие после него на русском троне, окруженные любовниками и проходимцами, усугубили этот разрушительный процесс. Скабрезные истории, размножаемые слухами (как тогда говорили, «эхом»), разрушительно действовали на образ помазанника Божьего в сознании людей. Дворцовые перевороты силами гвардии и стали возможны благодаря тому, что гвардейцы, стоя на постах во дворце, видели «оборотную», закулисную сторону жизни монархов.

Словом, в XVIII веке от официальной доктрины о царе как земном Боге, кроме шлейфа непристойностей на эту тему, ничего не осталось. Подданные, особенно в узком кругу, да порой и публично, без всякого почтения высказывались о своих прежних и нынешних правителях как о земных, грешных людях, порой безапелляционно, цинично и грубо судили их поступки. Типичным было высказывание некоего старосты о Петре I: «Какой у нас царь? Царишка! Измотался весь. Оставил Москву, живет в Питере и строит город». Только просидевший всю свою жизнь в тюрьме Иван Антонович да убитый женой-злодейкой император Петр III вызывали народные симпатии. Впрочем, воцарившегося всего на полгода Петра III с самого начала окрестили «чертом» и «шпиёном»...

К «непристойным словам» относили и бранные слова – часто просто традиционный русский мат. Вообще

к нецензурным словам относились вполне терпимо до тех пор, пока в потоке выразительной русской речи бранное слово не оказывалось в опасной близости от имени государя (государыни) или рядом со словом «государь» («государыня»).

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1736 году велось дело придворного официанта Ивана Маркелова, который вбежал в дворцовый винный погреб и грубо потребовал у служителя Щукина бутылку вина, чтобы нести его «наверх». Щукин же, поставив бутылку на стол, «говорил тому Маркелову: "Что ж-де ты гневна, государыня моя?"», на что Маркелов, выходя из погреба, крикнул: «"Я государыню гребу!" (выговорил прямо)». Бывший в погребе солдат Кирилл Савостьянов донес на Маркелова. На следствии Маркелов безуспешно пытался объяснить следователям, что имел в виду якобы собственную жену: «У меня есть жена, государыня моя, так я ее гребу, и оные слова он, Маркелов, говорил с простоты своей». Сквернословца били плетьюми и записали в солдаты. Впрочем, пороли батогами и Щукина, который явно не к месту процитировал известную тогда песню о бары не-государыне и тем самым спровоцировал Маркелова на грубость.

Титул императора, то есть перечень всех подвластных ему царств и владений, как и его личное имя, считались священными. Оскорблением титула признавались различные физические действия, жесты и слова, которые каким-то образом принижали или оскорбляли значение титула. Оскорблением чести



государя считалось и упоминание его имени без официально принятого титула.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1732 году забрали в сыск столяра Никифора Муравьева, обещавшего пожаловаться на бюрократов, «волочивших» его дело в Коммерц-коллегии. Возмущенный волокитой, он в сердцах сказал, что намерен пойти «к Анне Ивановне с челобитной, она рассудит». Рассудила его не императрица, а Тайная канцелярия: за употребление имени государыни без титула Муравьева били плетями. В 1735 году сидевший в гостях дворянин Федор Милашевич расчувствовался от выпитого. Говоря о какой-то девке Анне, он взял рубль с изображением государыни Анны Иоанновны и сказал, что ему нет дороже имени, чем имя Анны. Обвинение было таким: сказал «продерзостные слова», а именно: «К простому имени Анны применил имя Ея и. в.».

Как оскорбление чести государя расценивалось небрежное или непочтительное обращение подданных с изображением государя на монетах, гравюрах, живописных портретах («парсунах»), которые с петровской эпохи стали вывешивать в присутственных местах и в домах подданных. В XVIII веке не раз издавали указы, запрещающие продавать парсуны государей, если высочайшее лицо оказывалось мало похожим на прекрасный оригинал, тем же, «которые такие портреты будут писать неискусно, чинить наказание плетями». Возможно, с этим отчасти связаны

успехи русского портретного искусства во второй половине XVIII века.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1718 году наказали пленного шведа Иоганна Старшин-та, который «ударил рукою по персоне Царского величества, которая написана при Полтавской баталии, и говорил... будто не так написана», а именно, что «государь при баталии был в сапогах, а на картине в чулках и чириках».

В 1720 году певчий Андрей Савельев был арестован за то, что, «держав у себя в руках трость, смотря на персону Царского величества, подняв тою тростью, указывая на оную персону Его в., махал тою тростью...». Сам же Савельев утверждал, что он «усмотрел на персоне Царского величества, которая в той избе его стояла на стене, [что] сидят мухи, а у него в руках была трость с лентою, и он тою лентою, которая в трости, обмахнул те мухи...». Ссылка на мух не помогла щеголю с тростью: он был сурово наказан.

«Непитие за здравие» – отказ поднять тост за здоровье государя – рассматривали как неуважение чести повелителя, как нанесение ущерба его здоровью. Не пить за здоровье государя значило показать непочтение, нелюбовь к нему. Нужно учитывать, что пить тост следовало до дна и при этом полный «покал», чарку, стакан или рюмку. Еще в 1625 году Григорий Федоров донес на Павла Хмелевского, который «про Государево многолетнее здоровье» пил недостаточно «честно, на землю лив». Лишь в середине XVIII века пришли наконец к такому трезвому выводу: если кто

откажется пить за здоровье государя, то «в вину этого не ставить и не доносить об этом», так как «здравья лишняго в больших напитках, кроме вреда, не бывает». Очевидно, при этом учли прямое и огорчительное следствие частого «пития за здравие»: чиновники нередко объясняли начальникам, что не смогли явиться на службу из-за того, что накануне их принуждали пить без меры за здравие государыни. Судя по делам сыска, это была не просто отговорка, а подлинная причина прогулов с тяжелого похмелья – ведь не пить «за здравие» государя было опасно.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1720 году на целовальника Никиту Дементьева донесли, что он «не любит государя, потому что не пьет за его здоровье».

В 1732 году поручик Алексей Арбузов донес на прапорщика Василия Уварова «в непитии за здравие» Анны Иоанновны, когда ему за обеденным столом у воеводы поднесли рюмку. Оправдываясь, Уваров утверждал, что крепкое вино у него душа не принимает.

Канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, сам большой любитель хмельного, в 1749 году донес императрице Елизавете о преступлении дворянина Г. Н. Те плова: тот, выпивая за здравие фаворита государыни А. Г. Разумовского, в «покал только ложки с полторы налил», тогда как канцлер «принуждал его оной полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека,

который Ея и. в. верен и в Ея высочайшей милости находится».

«Описка» – пропущенная, незамеченная переписчиком (а также его начальником) ошибка при написании титула или имени монарха – также считалась государственным преступлением. Никаких оправданий при описках следствие не принимало. Слова провинившегося канцеляриста, который в титуле «государыни императрицы» пропустил слог «го», что это ошибка небольшая и «кто не пишет, тот не опишетца», не спасли его от телесного наказания и денежного штрафа.

«Подчистка» была иным, чем «описка», преступлением. Чиновник, сделавший при написании титула помарку или орфографическую ошибку, порой ленился заново переписывать весь документ, брал нож и начинал выскабливать ошибку в строке, благо бумага тогда была плотная и позволяла почти незаметно удалить брак. Этим действием он совершал государственное преступление, ибо оскорблял прикосновением своей руки царский титул: с момента своего появления на бумаге эти слова считались священными.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Весной 1727 года-в пору высшего могущества А. Д. Меншикова – в одной из коллегий пороли канцеляриста, который сделал знаменательную описку: вместо слов «светлейший князь» написал «светлейший государь», что было, учитывая

амбиции Меншикова, правильно, но преждевременно.

Страшнее оказалась описка дьячка Ивана Кирилова из Тамбова, которого привезли в застенки за то, что он неверно переписал присланный из столицы в 1731 году указ о поминовении царевны Прасковьи, умершей сестры правящей императрицы Анны Иоанновны. Невнимательный дьячок перепутал имена и титулы (вместо «высочество» написал «величество», а вместо «Прасковья» – «Анна»). В результате получилось нечто ужасное: «Октября 9-го дня в первом часу по полуночи Ея императорское величество Анна Иоанновна от временного сего жития, по воле Божией, преселилась в вечный покой». Кнут и ссылка в Сибирь «на вечное житье» – цена этой описки.

Крестьянин Иван Латышев в челобитной сделал «в титуле Ея и. в. неисправность»: вместо слова «всепресветлейшая» написал «всепрестлейшая», то есть пропустил слог «ве». Пропущенные две буквы дорого обошлись Латышеву: его вздернули на дыбу и допросили с пристрастием: «С какова подлинно умыслу он написал?»

Пострадал в 1731 году и мастер Семен Сорокин, написавший в документе «Перт Первый». Несмотря на его оправдания, что «сделал это простотою своею и недосмотрением, а ни с какого

своего умысла», мастера приказали «за ту его вину, в страх другим» наказать плетями.

Следственные дела сыска показывают, что в России было немало «непристойных» песен, за которые резали языки, били кнутом и ссылали в Сибирь. Здесь нужно отличать так называемые «блядские песни» от «непристойных песен». Первые как раз являлись, по-современному говоря, непристойными. «Непристойные» же песни XVIII века – это лирические песни о печальной судьбе цариц и царевен. Эта «самодеятельность» приносила крупные неприятности певцам, так как рассматривалась как произнесение «непристойных слов». Одно из первых упоминаний такой песни (о царице Настасье Романовне) было зафиксировано сыском в 1618 году. Подобные дела встречаются и позже. В 1752 году открыли дело по доносу дьячка Делифовского на пристава Спиридонова, который пел песню с такими словами:

Зверочек, мой зверочек,  
Полунощный мой зверочек,  
Повадился зверочек во садочек  
К Катюше ходить...

Спиридонов при этом пояснил дьячку, «что-де государь [Петр I] с государынею Екатериною Алексеевною жил, когда она еще в девицах имелась, и для того-де ту песню и сложили». Были и другие песни, за которые люди оказывались в застенке: «Постригись, моя немилая» (о том, как Петр I принудил свою жену, царицу Евдокию, постричься в монахини); «Кто слышал слезы царицы Марфы Матвеевны» и другие. В 1739 году

началось дело о посадской женке Авдотье Львовой, которая очень некстати, в присутствии бдительных гостей, вспомнила и пропела давнюю песню о царевне Анне, племяннице Петра I, которую выдавали замуж за границу:

Не давай меня, дядюшка, царь-государь  
Петр Алексеевич,

В чужую землю нехристианскую,  
босурманскую,

Выдай меня, царь-государь, за своего  
генерала, князь-боярина...

После виски на дыбе и нещадного наказания кнутом Львову отпустили домой, а не отправили, как случилось с подобными певцами, без языка в Сибирь. В 1760-х годах «между простым народом в употреблении» появилась песня, вызвавшая гнев Екатерины II, о печальной судьбе брошенной жены-императрицы. Она начиналась словами:

Мимо рощи шла одиниоханька,  
одиниоханька, маладехонька.

Никого в рощи не боялася я, ни вора, ни  
разбойничка,

ни сера волка-зверя лютова,

Я боялася друга милова, своево мужа  
законнова,

Что гуляет мой сердешный друг в зеленом  
саду, в полусадничке,

Ни с князьями, мой друг, ни с боярами,  
ни с дворцовыми генералами,  
Что гуляет мой сердешной друг со  
любимую своею фрейлиной,  
с Лизаветою Воронцовой,  
Он и водит за праву руку, они думают  
крепку думушку,  
крепку думушку, за единое,  
Что не так у них дума зделалась, что хотят  
они меня срубить,  
сгубить...

Главнокомандующему Москвы П. С. Салтыкову императрица велела, чтобы тот приложил усилия, дабы песня «забвению предана была...».

Оценивая в целом дела политического сыска, невольно приходишь к выводу, что органы сыска были заняты не столько реальными преступлениями, которые угрожали госбезопасности, сколько по преимуществу «борьбой с длинными языками». Сыскные органы действовали в качестве грубой репрессивной силы для подавления всякой оппозиционности, в буквальном смысле выжигали каленым железом всякую критику действий власти. Падение авторитета власти, все больший страх самодержцев и их окружения потерять власть вели к ужесточению борьбы со всякими проявлениями оппозиционности.

К середине XVIII века реформы Петра Великого по укреплению режима самодержавия дали реальные



плоды, и власть уже могла обойтись без преследования каждого, кто произнес фразу «Кабы я был царь...». Многие государственные преступления вроде «бросания монеты с портретом государя просто, а не со злобы» в глазах даже суровых деятелей политического сыска стали казаться если не смехотворными, то уж во всяком случае не подлежащими наказанию кнутом и ссылкой в Сибирь. В знаменитой оде «Фелица» Г. Р. Державин хвалил императрицу Екатерину II за то, что в ее правление уже нет прежних ужасов и

Там можно пошептаться в беседах

И, казни не боясь, в обедах

За здравие царей не пить.

Там с именем Фелицы можно

В строке описку поскоблить

Или портрет неосторожно

Ее на землю уронить...

В царствование образованной, терпимой и умной государыни Екатерины II (1762-1796) свет Просвещения, выражаясь тогдашним языком, разогнал тени Средневековья. При ней стало действительно возможным «портрет неосторожно ее на землю уронить» и не пить за обедом «за здравие царей». И все же стихотворение Державина – льстивое сочинение. Возможно, литературная киргиз-кайсацкая княжна Фелица и позволяла своим подданным-ордынцам «пошептаться в беседах» о ней, но Екатерина II на такие шептания смотрела плохо и быстро утрачивала обычно присущую ей терпимость. Она очень ревниво относилась к тому, что

о ней говорят люди и пишут газеты, и была нетерпима к тому, что презрительно называла «враками», то есть недобрыми слухами, которые распространяли о ней и ее правлении злые языки.

Памятником борьбы со слухами стал изданный 4 июня 1763 года указ, который выразительно назван: «Манифест о молчании» или «Указ о неболтании лишнего». В этом указе весьма туманные намеки о неких людях «развращенных нравов и мыслей», которые лезут куда не следует и судят «о делах до них не принадлежащих», да еще заражают сплетнями «других слабоумных», сочетаются с вполне реальными угрозами в адрес болтунов. Думаю, что этот указ был вызван делом камер-юнкера Хитрово, который обсуждал с товарищами слухи о намерении Григория Орлова жениться на императрице. «Манифест о молчании» неоднократно «возобновлялся», то есть оглашался среди народа, а нарушители его преследовались тайным сыском.

Екатерина II стремилась не допустить в стране никакой гласной оппозиции. При ней, как и сто и двести лет до нее, оскорбляющие Величество «слова» и «письма» все-таки остались строго наказуемым преступным деянием. Виновных в этом, чаще без лишнего шума (как это бывало раньше), отправляли в Сибирь, на Соловки, в монастыри, в деревню, заставляли разными способами замолчать. Член Государственного совета адмирал Н. С. Мордвинов, известный своим либерализмом, признавая, что «слова наказуемы бывают наравне с делами» и что «слово произнесенное может быть преступным», все же настаивал на том, что это же слово «может быть и невинным: истинный смысл каждого слова зависит, как оно в речи помещено бывает и где стоит запятая, самое даже произношение дает словам

различное значение. Злобный донощик может самое невинное слово обратить в уголовное преступление и подвергнуть [другого] невинно мучению».

Перевирающий услышанные слова злобный доносчик, за спиной которого стояли поощрявшее его государство и политический сыск, был не риторической, а вполне реальной фигурой последних пяти сотен лет русской истории, и ниже, в главе о доносе, о нем будет сказано подробно.

# КОРОНОВАННЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ И ГЛАВНЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ

«Слово и дело государево!» – этими словами доносчик публично заявлял о том, что хочет сообщить властям о совершенном или готовящемся государственном преступлении. Это знаменитое выражение, появившееся в начале XVII века, говорит об особой важности политических дел. Государственные преступления были действительно «государевым делом». Только царь мог решить участь преступника, казнить его или помиловать, причем исходя не из законов (закон самодержцу был не писан) и не из реальной вины данного человека, а из собственных соображений, подозрений или капризов. Принцип самовластия, сформулированный еще Иваном Грозным: «Жаловать есь мы своих холопов вольны, а и казнить вольны же», – оставался в силе и столетия спустя.

Все самодержцы XVIII века (за исключением младенца-императора Ивана Антоновича и юного Петра II) лично ведали делами тайного сыска и любили это занятие. В принципе ни одно политическое дело не должно было миновать самодержца. Однако на практике рассматривать все дела царь не мог, поэтому он поручал своим доверенным людям провести расследование. Так было в течение всего XVIII века: органы политического сыска – Преображенский приказ (1690-е-1729), Тайная канцелярия (1718-1726, 1731 – 1762), Тайная экспедиция (1762-1801) – работали под полным контролем

самодержца, выполняя его поручения по расследованию государственных преступлений. «Важные» дела руководители сыска подносили государю, преступления «неважные» рассматривало само сыскное ведомство. Как писал о буднях Тайной канцелярии генерал А. И. Ушаков, «здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым також, яко и прежде, я доносил, что кнутом плутов посекаем да на волю выпускаем».

Впрочем, эта рутинная работа могла быть резко прервана. В любой момент самодержец мог взять к себе любое из дел и решить его так, как ему заблагорассудится. И тогда типично «неважное» дело вдруг становилось по воле разгневанного государя сверхважным. Тогда некую бабу Акулину, сказавшую в 1721 году в гостях нечто «непристойное» о государе, разыскивали по всей стране многие месяцы как особо опасную государственную преступницу. Поймав же, ее страшно пытали, заботливо лечили, чтобы опять пытаться, хотя никакого угрожающего целостности России и власти самодержца преступления за бабой Акулиной явно не числилось.

Сыск был не только важным государевым делом, но и делом тайным. Отсюда – названия сыскных органов: Тайная канцелярия, Тайная экспедиция. «Тайное», «секретное» – это то, что может знать только государь и верхушка сыска. «Тайное» всегда есть принадлежность высшего. Напротив того, у подданного не должно быть ничего тайного. Тайное подданного может быть только преступным, темным. Люди, собиравшиеся по ночам, уже только поэтому вызывали у власти подозрение и казались опасными. Приятелей А. П. Волынского, подолгу засиживавшихся у кабинет-министра, в сыске

спрашивали: что они «таким необычайным и подозрительным ночным временем, убегая от света, исправляли и делали?»...

Преображенский приказ с начала XVIII века стал главным органом политического сыска. Он был создан в Преображенском – подмосковном селе, которое было резиденцией юного царя Петра I, – как обычный приказ, то есть орган власти, выполняющий приказы (поручения) государя. В 1698 году Преображенскому приказу Петр I поручил вести Стрелецкий розыск. Расследование стрелецкого бунта затянулось на несколько лет, и постепенно сыскные функции приказа стали для него важнейшими. Образовался штат опытных в делах сыска чиновников, заплечных мастеров, были обустроены пыточные палаты и тюрьма. В 1702 году Петр указом закрепил за Преображенским приказом исключительное право ведения следствия и суда по «Слову и делу». Такое сосредоточение сыска в одном месте оказалось очень удобным для царя, который не доверял старой администрации и хотел держать политический сыск под контролем своего доверенного человека. Им стал князь Федор Юрьевич Ромодановский. Во многом благодаря именно ему Преображенский приказ занял столь важное место в управлении. В 1729 году, в царствование Петра II, Преображенский приказ был распущен, хотя его помещение использовалось в целях политического сыска еще лет семьдесят.

# Федор Юрьевич Ромодановский

Федор Ромодановский попал «в милость» к юному царю Петру I почти сразу же после его восшествия на престол. Уезжая в 1697 году за границу, именно ему и еще нескольким боярам царь поручил управление страной. Трудно понять истоки необыкновенного доверия Петра I к Ромодановскому. По-видимому, многое переплелось в их судьбах. В самые опасные для молодого царя годы Ромодановский доказал свою безусловную преданность ему. И за это Петр постоянно отличал Федора Юрьевича.

В карьере Ромодановского особую роль сыграл Стрелецкий розыск 1698 года, когда он хорошо организовал следствие и получил важные сведения о замыслах стрельцов, об их связях с царевной Софьей. Достиг этого Ромодановский благодаря открывшемуся у него пыточному таланту. Он был человек более жестокий и беспощадный, чем сам Петр. Порой царь даже выражал возмущение (возможно, показное) его кровопийством.



*Ф. Ю. Ромодановский*

В Стрелецком розыске Ромодановский превзошел себя. Особая жестокость его имела объяснение: в какой-то момент стрелецкого мятежа летом 1698 года он дрогнул. Его не было видно на поле боя после разгрома мятежников под Воскресенским монастырем. Первый розыск по делу стрельцов, причем неумелый, провел боярин А. С. Шеин, что вызвало недоумение Петра. Он писал Ромодановскому, что, узнав о подавлении бунта, «зело радуемся, только зело мне печально и досадно на тебя, для чего сего дела в розыске не вступил. Бог тебя судит! Не так было говорено на загородном дворе в сенях». Из этого вытекает, что перед отъездом за границу Петр поручил политический сыск Ромодановскому и задание царя тот не выполнил. Думаю, что руководитель Преображенского приказа попросту испугался и выжидал, на чьей стороне будет победа. По



этому поводу Петр писал ему: «Я не знаю, откуда на вас такой страх бабей». Зато потом, когда мятеж был подавлен, а Петр вернулся в Россию, Ромодановский лез из кожи вон, чтобы служебным рвением загладить свою трусость и странную растерянность.

На современников глава Преображенского приказа производил пугающее впечатление, он имел славу пьяницы и кровопийцы. Всю свою жизнь рядом с Петром I он играл роль «князь-кесаря Всепьянейшего собора». Царь демонстративно отбивал ему поклоны, писал «челобитные», именовал его государем и подобострастно благодарил за награды. Ромодановский был предводителем всех маскарадов и попоек с участием Петра. Он входил в тот узкий круг особо доверенных людей, сподвижников-собутельников, среди которых царь отдыхал.

Хотя в середине 1710-х годов Преображенский приказ перестал быть единственным органом сыска, Ромодановский до самой смерти оставался главным палачом державы.

Канцелярия тайных розыскных дел, более известная как Тайная канцелярия, была создана по приказу Петра I для расследования дела царевича Алексея Петровича, хотя указ об ее образовании не найден. 4 февраля 1718 года царь продиктовал П. А. Толстому «пункты» для первого допроса сына-преступника. Позже именно к Толстому стала сходить вся информация по начатому розыску.

Завершив дело царевича Алексея, Тайная канцелярия не закончила на этом свою деятельность: она находилась под боком у царя, в Петропавловской

крепости, и Петр, получив важный донос, поручал Толстому расследование очередного дела.

## **Петр Андреевич Толстой**

Выбор Петра Толстого на роль руководителя розыска по делу царевича Алексея можно объяснить тем, что он блестяще провел операцию по возвращению из-за границы блудного царского сына. Хитростью, лживыми обещаниями и угрозами он сумел выманить наследника престола из Италии в Россию. Толстой пытал царского сына в застенке, а потом участвовал в тайной казни несчастного царевича. За эти заслуги царь щедро наградил Толстого – он стал графом, тайным советником, президентом Коммерц-коллегии, сенатором, владельцем обширных вотчин.



*П. А. Толстой*

До этой истории Толстой не входил в круг ближайших сподвижников царя. Вообще, карьера трудно далась ему. В молодости он принадлежал к лагерю врагов Петра I – Милославских, но быстро понял, что просчитался, поставил не на ту лошадь, и постарался сменить знамя, как только Петр укрепился у власти. И вот он, человек уже немолодой (он родился в 1653 или 1654 году), в начале 1697 года отправился волонтером вместе с несмышлеными недорослями за границу – учиться морскому делу. Конечно, не морские приключения манили Петра Андреевича, а желание угодить царю-шкиперу, загладить свою вину. В 1701 году он стал посланником в Стамбуле и проявил там незаурядный талант дипломата.

Заслужить доверие государя было нелегко: Петр был злопамятен, и никто из родственников и сторонников Милославских – заклятых его врагов – при нем карьеры не сделал. Ради того чтобы преодолеть инерцию недоверия царя, Толстой не останавливался ни перед чем. Будучи послом в Стамбуле, он своими руками отравил служащего посольства, когда узнал, что тот захотел жениться на турчанке и покинуть миссию. Редко в письмах убийц мы читаем описание их преступлений. Толстой же такое описание оставил – ведь царь должен был знать, как верно служит ему «нижайший раб». И Петр это знал. Вернувшись в 1714 году в Россию, Толстой начал служить в Посольской канцелярии, и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не бегство царевича Алексея и последовавшие за этим события.

Петр ценил Толстого и как пыточного мастера, и как выдающегося дипломата, и вообще как умнейшего человека, изворотливого и беспринципного служаку, но никогда полностью не доверял ему. Как-то в застолье,

когда все перепились, Петр заметил, что Толстой только притворяется пьяным и подслушивает вольные речи собутыльников. Царь подошел к нему, похлопал его по лысой голове и сказал: «Эх, голова, голова! Не была бы ты так умна, я бы давно отрубить тебя велел!» Эпизод примечательный. Если это анекдот, то очень выразительный! Тиранам всегда нужны такие умные, ловкие исполнители, когда-то и в чем-то провинившиеся, запачканные. Они сидят «на крючке», их мучает страх за прежние грехи и нынешние преступления, они вынуждены вновь и вновь доказывать хозяину свою особую, исключительную преданность и любовь, готовность выполнить любое его задание, не задумываясь над моральной стороной дела.

Так и жил Петр Толстой, пока первый император не закрыл навсегда глаза. Тогда, в январе 1725 года, вместе с Меншиковым Толстой возвел на престол Екатерину I. Но не было покоя старику. Екатерина часто болела, и Толстой пуще всего боялся, что после ее смерти императором станет сын царевича Алексея великий князь Петр. А он-то уж разберется с палачом своего отца! Меншикову же, который решил выдать дочь за юного Петра II, приход к власти сына царевича был как раз выгоден. Толстой пытался воспрепятствовать этому браку. Однако светлейший князь знал, с кем имеет дело. Как-то он разоткровенничался с французским дипломатом: «Толстой во всех отношениях человек очень ловкий. Имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы в случае, если бы он вздумал кусаться».

И как только Толстой попытался помешать планам светлейшего, тот достал свой камень – и тут карьера, а потом и жизнь старого хитреца закончились. По

обвинению в государственной измене бывший начальник Тайной канцелярии угодил в страшную Головленкову башню Соловецкого монастыря и там, в холоде и темноте, умер в конце 1729 года – почти одновременно со своим гонителем Меншиковым, угасшим на другом пустынном конце империи – в Березове.

Петр I получил первые уроки сыского дела в августе 1689 года: тогда 17-летний царь допрашивал своего врага – начальника Стрелецкого приказа Федора Шакловитого. Интерес Петра I к сыску объясняется как личными пристрастиями царя, так и острой борьбой за власть, которую он выдержал в молодости. В этой борьбе он проявил решительность и жестокость. Петр участвовал в Стрелецком розыске 1698 года, сам допрашивал стрельцов, и это занятие увлекло его, захватило целиком. Один из важнейших документов розыска – «Вопросные статьи», которые определили весь ход расследования, – продиктовал сам царь, и они носят отпечаток его слога.

Помазанник Божий хорошо знал дорогу в застенки. Он и сам часто наблюдал за пытками, и приглашал своих гостей посмотреть на мучения, которым подвергали приближенных женщин царевен Софьи и Марфы. Царь лично допрашивал этих своих сестер. Занятия в застенке принесли Петру дурную славу. То, что царь «немилосердно людей бьет своими руками», воспринималось в народе как свидетельство его «неподлинности». Слухи о кровожадности Петра родились после 1698 года, когда царь и его приближенные участвовали в пытках и кровавых казнях стрельцов, а потом пировали с безудержным весельем на

безобразных попойках. Все это напоминало времена опричного террора Ивана Грозного.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕД

В 1698 году велось дело одной помещицы и ее крепостного, говоривших о царе: «Без тово-де он жить не может, чтоб ему некоторый день крови не пить». В подтверждение этой мысли помещицу и ее холопа казнили.

В 1701 году Петр I приказал наказать Евдокию Часовникову, которая сказала: «Которого-де дня Великий государь и... Ромодановский крови изопьют, того-де дни, в те часы они веселы, а которого дни они крови не изопьют и того дни им и хлеб не есца».

Летом 1718 года всюду говорили о казни царевича Алексея Петровича и осуждали Петра, которому «царевича не жаль, уморил-де ево в тюрьме... и не стыдно льде ему о том будет», что «царевича... потребил своими руками».

Судить о том, насколько опытным следователем был Петр, трудно. Конечно, он оставался сыном своего века, когда признание под пыткой считалось высшим и бесспорным доказательством виновности человека. В делах сыска, как и во многом другом, царь часто проявлял свой неуравновешенный характер, им руководил не хладнокровный расчет, а импульсы его необузданной природы, поэтому он нередко ошибался в людях. Это особенно заметно в деле Мазепы, которому он слепо доверял, и был глух ко всем доносам на него, многие из которых подтверждались фактами: гетман

давно встал на путь измены русскому царю. Но Петр выдавал доносчиков на Мазепу самому же гетману, который их казнил. Даже накануне перехода Мазепы к шведам Петр сообщал гетману, что доносчики на него – Кочубей и Искра – арестованы. Согласно легенде, единственным выводом Петра I, попавшего с этой историей впросак, была знаменитая сентенция: «Снявши голову, по волосам не плачут». Екатерина II в разговоре с потомком Искры выразила сочувствие судьбе его несчастного предка, на что тот дерзновенно ответил государыне, что, мол, монарху надобно лучше думать перед вынесением приговора, ибо голова – не карниз, заново не приставишь.

Для работы в Тайной канцелярии Петр даже выделил особый день – понедельник. В этот день он приезжал в Петропавловскую крепость, слушал и читал там доклады, выписки и приговоры по текущим делам, являя собой в одном лице и следователя, и судью. К приезду царя судьи готовили проекты приговоров, которые он либо утверждал традиционной фразой «Учинить по сему», либо собственноручно правил и даже заново переписывал. Порой он детально вникал в обстоятельства дела, вел допросы и присутствовал на пытках. Резолюции Петра I показывают глубокое знание им тонкостей сыскного процесса и дел, которые чем-то особенно привлекли его внимание.

Царь был свободен в выборе решения по делу. Все было в его воле: он мог дать указ арестовать, допросить, пытать, выпустить из тюрьмы. Он отменял уже утвержденный им же приговор, направлял дело на следствие или приговаривал преступника к казни. При этом царь, повторяю, исходил не из норм тогдашнего права, а из собственных соображений, оставшихся

потомкам неизвестными. Впрочем, ссылки на законы тогда не были обязательны – традиция и право позволяли самодержцу выносить любой приговор по своему усмотрению.

После смерти Петра Великого Тайная канцелярия продолжала свою работу. Но год спустя «в помощь» императрице Екатерине I был образован Верховный тайный совет, в который вошли «первейшие» вельможи. Верховники сразу стали «стягивать» к себе власть, в том числе и в делах политического сыска: на своих заседаниях они выслушивали записи допросов и выносили приговоры. 28 мая 1726 года указом Екатерины I Тайная канцелярия была ликвидирована.

Когда Екатерина I в мае 1727 года умерла и на престол взошел 11-летний Петр II, сыском стал ведать фактический регент при юном императоре – Александр Данилович Меншиков. После падения светлейшего князя политическим сыском стал снова руководить Верховный тайный совет. На этом примере видно, что центр высшей власти можно определить по тому, в чьем ведении состоит тайная полиция, политический сыск. За исключением одного случая, когда нужно было дать распоряжение о расследовании дела Меншикова, малолетний царь Петр II делами сыска не занимался. Основная тяжесть работы лежала на вице-канцлере А. И. Остермане и князе А. Г. Долгоруком, отце царского фаворита Ивана Долгорукого.

Тайная канцелярия возродилась при императрице Анне Иоанновне. Взойдя на престол после смерти Петра II в январе 1730 года, она ликвидировала Верховный



тайный совет. Почти год делами политического сыска ведал Сенат. Однако 24 марта 1731 года появился указ императрицы об учреждении новой Канцелярии тайных розыскных дел. В нем было сказано, что все «важные» дела по политическому сыску передаются генералу А. И. Ушакову. Думаю, что Анна Иоанновна не доверяла сенаторам, среди которых было немало ее врагов, и хотела держать политический сыск под своим контролем. Поэтому она и поручила сыскные дела своему доверенному человеку – Ушакову.

Новая Тайная канцелярия (или просто «Тайная», как называли ее в просторечии) разместилась в хоромах Преображенского приказа. Но в начале 1732 года двор вернулся из Москвы в Петербург и вместе с ним – и Ушаков со своей канцелярией.

## **Андрей Иванович Ушаков**

Воссоздание Тайной канцелярии стало настоящим триумфом Андрея Ивановича Ушакова, резким взлетом его карьеры. Он родился в 1670 году в бедной, незнатной дворянской семье. Согласно легенде, до тридцати лет он жил в деревне с тремя своими братьями, деля доходы с единственного крестьянского двора, которым они сообща владели. Ушаков ходил в лаптях с девками по грибы и, «отличаясь большою телесною силою, перенашивал деревенских красавиц через грязь и лужи, за что и слыл детиною». В 1700 году он оказался в Новгороде на смотре недорослей и был записан в Преображенский полк. По другим данным, это явление Ильи Муромца политического сыска произошло в 1704 году, когда ему было уже 34 года.



*А. И. Ушаков*

Как бы то ни было, Ушаков довольно быстро, благодаря своим способностям и усердию, сумел выслужиться. К середине 1710-х годов он уже входил в элиту гвардии и стал одним из десятка особо надежных и проверенных гвардейских майоров, которым Петр I давал самые ответственные задания, в том числе и по сыскным делам. Среди этих гвардейцев, бесконечно преданных своему Полковнику, Ушаков выделялся тем, что в свое время помогло Ромодановскому сделать карьеру: как и страшный князь, он любил и умел вести сыскные дела. Для этого недостаточно рвения, нужны какие-то особые способности, ими, вероятно, он и обладал. Очевидно, именно поэтому царь назначил Ушакова заместителем П. А. Толстого в созданной в 1718 году Тайной канцелярии.

Ушаков показал себя настоящим профессионалом сыска. Он с успехом заменял и самого Толстого, который,

завершив дело царевича Алексея, тяготился обязанностями начальника Тайной канцелярии. Многие сыскные дела он перепоручал своему заместителю, который делал все тщательно и толково. Ушаков много и с усердием работал в застенке, даже ночевал на работе, и всегда – и в дружеском кругу, и за обеденным столом – оставался в первую очередь шефом политического сыска.

Ушаков стал докладчиком Екатерины I по делам сыска. Гроза, которая в мае 1727 года разразилась над головой Толстого и других, лишь отчасти затронула его – он не угодил на Соловки или в Сибирь, его лишь послали в Ревель. Во время бурных событий начала 1730 года, когда дворянство сочиняло проекты об ограничении монархии, Ушаков был в тени, но при этом подписывал только те проекты, которые клонились к восстановлению самодержавия в прежнем виде. Возможно, в тот момент он угадал, за кем нужно идти. Позже, когда Анне Иоанновне удалось восстановить самодержавную власть, лояльность Ушакова отметили: в 1731 году императрица поручила ему ведать политическим сыском.

Ушаков, несомненно, вызывал у окружающих страх. Он не был ни страшен внешне, ни кровожаден, ни угрюм. Современники пишут о нем как о человеке светском, вежливом, обходительном. Люди боялись не его самого, а системы, которую он представлял, ощущая безжалостную мощь той машины, которая стояла за его спиной.

Следя за карьерой Ушакова, нельзя не удивляться его поразительной «непотопляемости». Несмотря на непрерывные перевороты и смены властителей, он сумел не только прожить всю жизнь в почете и богатстве, но и умереть в собственной постели. При этом, вероятно, он

не имел душевного покоя – так резко менялась в те времена ситуация в стране, а главное – при дворе. На пресловутых крутых поворотах истории в послепетровское время многие легко теряли не только чины, должности, свободу, но и голову. Вместе с Артемием Волынским Ушаков судил князей Долгоруких, а вскоре, по воле Бирона, он пытал уже Волынского. Потом Ушаков же допрашивал самого Бирона, свергнутого Минихом. Еще через несколько месяцев Ушаков уличал во лжи на допросах уже Миниха и других своих бывших товарищей, признанных новой императрицей Елизаветой врагами отечества.

Ушаков сумел создать себе имидж неприступного хранителя высших государственных тайн, стоящего над людскими страстями и борьбой партий. Он был ловок и, как тогда говорили, «пронырлив», мог найти общий язык с разными людьми и обращался за советом к тому, кто в данный момент был «в силе». Исполнительный, спокойный, толковый, Ушаков не был таким страшным палачом-монстром, как Ромодановский, он всегда оставался службистом, знающим свое место. Он не рвался на политический Олимп, не интриговал. Он умел быть для всех правителей, начиная с Петра I и кончая Елизаветой Петровной, незаменимым в своем грязном, но столь важном для самодержавия деле. В этом-то и состояла причина политической «непотопляемости» Андрея Ивановича Ушакова.

Анна Иоанновна, как и ее предшественники, была равнодушна к сыску. Появление генерала Ушакова в личных апартаментах императрицы с докладами о делах сыска вошло в обычай с самого начала работы Тайной

канцелярии. Доклады по особо важным делам, которые он составлял для императрицы Анны, отличались деловитостью и краткостью. Императрица либо писала свою резолюцию «Быть по сему докладу», либо – в зависимости от своих пристрастий – меняла проект приговора: «Вместо кнута бить плетьюми...»

Императрица и сама давала распоряжения об арестах, обысках, лично допрашивала некоторых колодников. Она порой внимательно следила за ходом расследования и интересовалась его деталями. Особенно это заметно в делах известных людей. 29 ноября 1736 года Анна Иоанновна открыла первое заседание Вышнего суда по делу князя Д. М. Голицына, а потом бывала и на других его заседаниях. 14 декабря того же года императрица (через А. П. Волынского) указывала, как допрашивать Голицына. Когда весной 1740 года пришел черед уже самого Волынского и его конфидентов, Анна внимательно следила за следствием, а 21 мая распорядилась начать пытки бывшего кабинет-министра.

Тут нельзя не отметить, что между самодержцами и руководителями политического сыска всегда возникала тесная и своеобразная деловая и идейная связь. Из допросов и пыточных речей они узнавали страшные, неведомые как простым смертным, так и высокопоставленным особам тайны. Перед ними разворачивалось все «грязное белье» подданных и все их грязные закулисные дела. Благодаря доносам и пыточным речам государь и его главный инквизитор узнавали, о чем думают и говорят в своем узком кругу люди, как они обделывают свои делишки. Там, где иные наблюдатели видели кусочек подчас неприглядной картины в жизни отдельного человека или общества в целом, им открывалось грандиозное зрелище

человечества, погрязшего в грехах. И все это – благодаря особому «секретному зрению» тайной полиции. Только между государем и главным инквизитором не было тайн и «непристойные слова» не облекались в эвфемизмы. И эта связь делала обоих похожими на сообщников, соучастников – ведь и сама политика не существует без тайн, добытых сыском с помощью пыток, изветов и донесений агентов. Иначе невозможно объяснить, как смог Ушаков, верный сыскной пес императрицы Анны, сохранить при ее антиподе – императрице Елизавете – такое влияние и по-прежнему пользоваться правом личного доклада у государыни, совсем не расположенной заниматься какими-либо делами вообще.

В царствование Елизаветы Петровны (1741-1761) в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В Тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, даже люди не сменились. А. И. Ушаков – верный слуга так называемых «немецких временщиков» и «душитель патриотов» вроде Волынского, рьяно взялся за дела врагов дочери Петра Великого. Он постоянно докладывал государыне о наиболее важных происшествиях по ведомству госбезопасности, выслушивал и записывал ее решения, представлял ей проекты приговоров.

Особенно пристрастно императрица занималась в 1742 году делом А. И. Остермана, Б. Х. Миниха и других высших сановников, усердно служивших Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне. Она присутствовала при работе назначенной для следствия комиссии, но при этом, не

видимая для преступников, сидела за ширмой (так в свое время поступала и Анна Иоанновна).

С увлечением расследовала государыня и дело Лопухиных в 1743 году. На материалах следствия лежит отпечаток личной антипатии Елизаветы к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки, особенно к одной из них – красавице Наталье Лопухиной, которая пыталась конкурировать с императрицей в бальных туалетах. Кроме того, Елизавета как самодержица начинающая, может быть, впервые из следственных бумаг Тайной канцелярии узнала, что о ней говорят в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и незлой императрицы.

Елизавета сама выслушивала некоторых доносчиков, изредка даже вела допросы. В 1745 году из доклада Ушакова она узнала, что некий дворянин Беклемишев и поручик Зимнинский восхищаются правлением Анны Леопольдовны и ругают ее, правящую императрицу. Оба были доставлены к допросу самой императрицы. В роли следователя выступила Елизавета и в 1746 году, когда допрашивала княжну Ирину Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия, и после распорядилась, чтобы Синод с ней «не слабо поступал». В 1748 году императрица следила за делом лейб-медика Лестока, писала заметки к вопросным пунктам, в которых упрекала его в предательстве. В 1758 году, когда вскрылся заговор с участием канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и великой княгини Екатерины Алексеевны, императрица лично допрашивала жену наследника престола.

Одно только упоминание Тайной канцелярии пугало подданных Елизаветы. Это видно из дел сыска и из «Записок» Екатерины II, которая пишет, что «Тайная канцелярия наводила ужас и трепет на всю Россию» и что любой человек «умирал от страху, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не привлекли его к делу». Екатерина вспоминает, что Елизавета, недовольная Петром Федоровичем, не раз угрожала ему «крепостью», и это вызывало трепет у молодого человека.

## **Александр Иванович Шувалов**

В течение пятнадцати лет начальником Тайной канцелярии был граф Александр Иванович Шувалов, двоюродный брат Ивана Ивановича Шувалова, фаворита императрицы. Александр Шувалов – один из ближайших друзей юности цесаревны Елизаветы – с давних пор пользовался ее особым доверием. Когда Елизавета Петровна взошла на престол, Шувалову стали поручать сыскные дела. Сначала он работал под началом Ушакова, а в 1746 году заменил заболевшего шефа на его посту.

В сыском ведомстве при Шувалове все осталось по-прежнему: налаженная Ушаковым машина продолжала исправно работать. Правда, новый начальник Тайной канцелярии не обладал галантностью, присущей Ушакову, а даже внушал окружающим страх странным подергиванием мускулов лица. Как писала в своих записках Екатерина II, «Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозой всего двора, города и всей империи, он был начальником



инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили, у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица от глаза до подбородка всякий раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью».



*А. И. Шувалов*

Шувалов не был таким фанатиком сыска, как Ушаков, на службе не ночевал, а увлекся коммерцией и предпринимательством. Много времени у него отнимали и придворные дела – с 1754 года он стал гофмейстером двора великого князя Петра Федоровича. И хотя Шувалов вел себя с наследником престола предупредительно и осторожно, сам факт, что его гофмейстером стал шеф тайной полиции, нервировал Петра и его супругу. Екатерина писала в своих записках, что встречала Шувалова всякий раз «с чувством невольного

отвращения». Это чувство, которое разделял и Петр Федорович, не могло не отразиться на карьере Шувалова после смерти Елизаветы Петровны: став императором, Петр III сразу же уволил Шувалова от его должности.

Правление Петра III(декабрь 1761 – июнь 1762) стало важным этапом в истории политического сыска. Именно тогда запретили «Слово и дело!» – выражение, которым заявляли о государственном преступлении, и была ликвидирована Тайная канцелярия, работавшая с 1731 года.

Решения императора Петра III, пришедшего к власти 25 декабря 1761 года, были подготовлены всей предшествующей историей России. К этому времени стали заметны перемены в психологии людей, их мировоззрении. Многие идеи Просвещения становились общепризнанными нормами поведения и политики, они отражались в этике и праве. На пытки, мучительные казни, нечеловеческое обращение с заключенными стали смотреть как на проявление «невежества» прежней эпохи, «грубости нравов» отцов. Внесло свою лепту и двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны, которая фактически отменила смертную казнь.

Опубликованный 22 февраля 1762 года знаменитый манифест о запрещении «Слова и дела» и закрытии Тайной канцелярии явился, несомненно, шагом власти навстречу общественному мнению. В указе откровенно признавалось, что формула «Слово и дело» служит не благу людей, а их вреду. Уже сама такая постановка вопроса была новой, хотя при этом никто не собирался отменять институт доносительства и преследования за «непристойные слова».

Большая часть манифеста посвящена пояснению того, как отныне нужно доносить об умысле в государственном преступлении и как властям следует поступать в новой обстановке. Это наводит на мысль, что речь идет не о коренных преобразованиях, а лишь о модернизации, совершенствовании политического сыска. Из манифеста следует, что все прежние дела по сыску запечатываются государственными печатями, предаются забвению и сдаются в архив Сената. Только из последнего раздела манифеста можно догадаться, что Сенат становится не только местом хранения старых сыскных бумаг, но учреждением, где будут вестись новые политические дела. Однако манифест все-таки очень невразумительно говорит о том, как же теперь будет организован политический сыск.

Все становится ясно, если обратиться к указу Петра III от 16 февраля 1762 года, которым вместо Тайной канцелярии учреждалась особая экспедиция при Сенате, куда перевели всех служащих Тайной канцелярии во главе с С. И. Шешковским. А шесть дней спустя появился манифест об уничтожении Тайной канцелярии.

Тайная экспедиция в царствование Екатерины II (1762– 1796) сразу заняла важное место в системе власти. Возглавил ее С. И. Шешковский, ставший одним из обер-секретарей Сената. Екатерина II отлично понимала важность политического сыска и тайной полиции. Об этом говорила императрице вся предшествовавшая история России, а также ее собственная история вступления на трон. Весной и летом 1762 года, когда проходила реорганизация ведомства, сыск оказался ослаблен. Сторонники Екатерины почти в

открытую готовили путч в ее пользу, а Петр III не имел точных сведений о надвигающейся опасности и поэтому только отмахивался от слухов и предупреждений на этот счет. Если бы работала Тайная канцелярия, то один из заговорщиков, Петр Пассек, арестованный 26 июня 1762 года по доносу и посаженный под стражу на гауптвахту, был бы доставлен в Петропавловскую крепость. Поскольку Пассек был личностью ничтожной, склонной к пьянству и гульбе, то расспросы с пристрастием быстро развязали бы ему язык и заговор Орловых был бы раскрыт. Словом, Екатерина II не хотела повторять ошибок своего мужа.

Политический сыск при Екатерине II многое унаследовал от старой системы, но в то же время появились и отличия. Все атрибуты сыска сохранялись, но применительно к дворянам их действие смягчалось. Дворянина отныне можно было подвергнуть наказанию, только если он «перед судом изобличен». Освобождался он и от «всякого телесного истязания», а имение преступника-дворянина не отбирали в казну, а передавали его родственникам. Однако закон всегда позволял лишить подозреваемого дворянства, титула и звания, а потом пытаться и казнить.

В целом концепция госбезопасности времен Екатерины II была основана на поддержании «покоя и тишины» – основы благополучия государства и подданных. Тайная экспедиция имела те же задачи, что и предшествовавшие ей органы сыска: собирать сведения о государственных преступлениях, заключать преступников под стражу и проводить расследование. Однако екатерининский сыск не только подавлял врагов режима,

«примерно» наказывая их, но и стремился с помощью тайных агентов «изучать» общественное мнение.

Наблюдению за общественными настроениями стали уделять особое внимание. Это было вызвано не только личным интересом Екатерины II, желавшей знать, что о ней и ее правлении думают люди, но и новыми представлениями о том, что мнение общества нужно учитывать в политике и, более того, нужно контролировать, обрабатывать и направлять его в нужное власти русло. В те времена, как и позже, политический сыск собирал слухи, а потом обобщал их в своих докладах. Впрочем, уже тогда проявилась характерная для тайных служб черта: под неким видом объективности «наверх» поставлялась успокоительная ложь. Чем выше поднималась информация о том, что «одна баба на базаре сказала», тем больше ее подправляли чиновники.

В конце 1773 года, когда восстание Пугачева взбудоражило русское общество и вызвало волну слухов, были посланы «надежные люди» для подслушивания разговоров «в публичных сборищах, как то в рядах, банях и кабаках». Главкомандующий Москвы князь Волконский, как каждый начальник, стремился, чтобы картина общественного мнения во вверенном его попечению городе выглядела для верховной власти по возможности более симпатичной, и посылал государыне вполне успокаивающие сводки о состоянии умов в старой столице, выпячивая патристические, верноподданнические настроения москвичей. Традиция подобной обработки агентурных сведений была, как известно, продолжена и в XIX веке. Думаю, что императрица не особенно доверяла бодрым рапортам Волконского. В глубине души государыня явно не имела

иллюзий относительно любви к ней народа, который называла «неблагодарным».

Влияние властей на общественное мнение состояло в утайке от него (впрочем, тщетной) фактов и событий и в «пускании благоприятных слухов». Следовало также вылавливать и примерно наказывать болтунов. Екатерина не упускала возможности выведать и наказать распространителей слухов и пасквилей о ней. «Старайтесь через обер-полицмейстера, – пишет она 1 ноября 1777 года о каком-то пасквиле, – узнать фабрику и фабрикантов таковых дерзостей, дабы возмездие по мере преступления учинить можно было». Петербургскими «вралями» занимался Шешковский, а в Москве это дело императрица поручила Волконскому.

Отчеты и другие документы политического сыска Екатерина читала в числе важнейших государственных бумаг. В одном из писем в 1774 году она писала: «Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами». И потом еще более двух десятилетий сыск оставался «под глазами» императрицы.

Екатерина II считала политический сыск своей первейшей государственной «работой», проявляя при этом увлеченность и страстность, которые вредили декларируемой ею же объективности. В сравнении с нею императрица Елизавета кажется жалкой дилетанткой, которая выслушивала краткие доклады генерала Ушакова во время туалета между балом и прогулкой. Екатерина же знала толк в сыске, вникала во все тонкости того, «что до Тайной касается». Она сама возбуждала сыскные дела, ведала всем ходом расследования наиболее важных из них, лично допрашивала подозреваемых и

свидетелей, одобряла приговоры или выносила их сама. Получала императрица и какие-то агентурные сведения, за которые исправно платила.

Под постоянным контролем Екатерины II шло расследование дела Василия Мировича (1764), самозванки «княжны Таракановой» (1775). Огромна роль императрицы при расследовании дела Пугачева в 1774-1775 годах, причем она усиленно навязывала следствию свою версию мятежа и требовала доказательств ее. Самым известным политическим делом, которое было начато по инициативе Екатерины II, стало дело о книге А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Императрица приказала разыскать и арестовать автора, прочитав только тридцать страниц сочинения. Она еще работала над своими замечаниями по тексту книги, ставшими основой для допроса, а сам автор был уже «препоручен Шешковскому». Направляла государыня и весь ход расследования и суда. Через два года Екатерина руководила организацией дела издателя Н. И. Новикова. Она давала указания об арестах, обысках, сама сочинила пространную «Записку» о том, что надо спрашивать у преступника. Наконец, она сама приговорила Новикова к 15-летнему заточению в крепости.

Екатерина, женщина образованная, умная и незлая, обычно следовала девизу «Будем жить и дадим жить другим» и весьма терпимо относилась к проделкам своих подданных. Но иногда она вдруг взрывалась и вела себя как богиня Гера – суровая хранительница нравственности. В этом проявлялась и традиция, согласно которой самодержец выступал в роли Отца (или Матери) Отечества, заботливого, но строгого воспитателя неразумных детей-подданных, и просто ханжество,

каприз, плохое настроение государыни. Сохранились письма императрицы разным людям, которым она, по ее же словам, «мыла голову» и которых предупреждала с нешуточным гневом, что за такие дела или разговоры она может заслать ослушника и «враля» куда Макар телят не гонял.

При всей своей нелюбви к насилию, Екатерина порою переступала грань тех моральных норм, которые считала для себя образцовыми. И при ней оказались возможны и допустимы многие жестокие и «непросвещенные» методы сыска и репрессий, к которым прибегали власти всегда, начиная с бесстыдного чтения чужих писем и кончая замуровыванием преступника заживо в крепостном каземате по указу императрицы-философа (об этом ниже). Это естественно – природа самодержавия, по существу, не изменилась. Когда Екатерина II умерла и на престол вступил ее сын Павел I, самовластие утратило благообразные черты «государыни-матушки», и все увидели, что никакие привилегии и вкоренившиеся в сознание принципы Просвещения не спасают от самовластия и даже самодурства самодержца.

## **Степан Иванович Шешковский**

Тридцать два года (1762-1794) Тайной экспедицией руководил Степан Иванович Шешковский, который стал благодаря этому личностью весьма знаменитой в русской истории. Еще при жизни имя его окружало немало легенд, в которых он предстает в роли искусного, жестокого и проницательного следователя-психолога.





*С. Н. Шешковский*

Степан Шешковский родился в 1727 году в семье приказного. В 1738 году отец пристроил 11-летнего мальчика в Сибирский приказ. Учреждение это, расположенное в Москве, считалось настоящими «серебряными копиями» для умелых крючковотворов. Два года спустя отрока взяли на время к «делам Тайной канцелярии», а потом вернули обратно в Сибирский приказ. И вот тогда-то Шешковский совершил неожиданный для нормального карьериста-подьячего поступок: в феврале 1743 года он без ведома своего начальства уехал в Петербург и вскоре вернулся с указом Сената о переводе его в Московскую контору Тайной канцелярии. Неизвестно, как ему удалось этого добиться, но без ведома А. И. Ушакова назначение 16-летнего юноши на это место кажется невозможным. Понравился он и преемнику Ушакова – А. И. Шувалову, тот дал ему такую характеристику: «Писать способен, и не

пьянствует, и при делах быть годен». В 1754 году Шешковский занял ключевой пост секретаря Тайной канцелярии, которому подчинялся весь штат сысского ведомства. К моменту реорганизации сыска в начале 1762 года он, не достигнув и 35 лет, уже имел огромный опыт сысской работы.

Глава Тайной экспедиции, несомненно, пользовался доверием Екатерины II, авторитет его у государыни был высок. Для допросов пойманного осенью 1774 года Пугачева она послала именно Шешковского, которому поручила узнать правду об истоках самозванства Пугачева и его возможных высоких покровителях. Шешковский по многу часов подряд допрашивал Пугачева и для этого даже поселился возле его камеры в Старом монетном дворе. Шешковского считали самым крупным специалистом по выуживанию сведений у «трудных», упрямых арестантов. Он знал, как нужно их убеждать, уговаривать, запугивать.

По-видимому, Шешковский умел выгодно подать себя государыне, держа ее подальше от многих тайн своего ведомства. В цитированном выше письме от 15 марта 1774 года к генералу А. И. Бибикову – руководителю одной из следственных комиссий – Екатерина ставила ему в пример деятельность Шешковского, возражая против расспросов «с пристрастием»: «При расспросах какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секла ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать».

И здесь мы возвращаемся к легендам о Шешковском. Из них неясно: пытали преступников в

Тайной экспедиции или все-таки нет? Екатерина II, как мы видим, писала, что пытки там не допускались. Сын же А. Н. Радищева, также не самый беспристрастный в этом деле человек, сообщал, что Шешковский «исполнял свою должность с ужасною аккуратностью и суровостью. Он действовал с отвратительным самовластием и суровостью, без малейшего снисхождения и сострадания. Шешковский сам хвалился, что знает средства вынуждать признания, а именно он начинал тем, что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают. Ни один обвиняемый при таком допросе не смел защищаться под опасением смертной казни. Всего замечательнее то, что Шешковский обращался таким образом только со знатными особами, ибо простолюдины были отдаваемы на расправу его подчиненным. Таким образом вынуждал Шешковский признания. Наказания знатных особ он исполнял своеручно. Розгами и плетью он сек часто. Кнутом он сек с необыкновенной ловкостью, приобретенною частым упражнением».

Сын Радищева никогда не видел Шешковского, и начальник Тайной экспедиции представлялся ему садистом, могучим кнUTOбойцем, каким он на самом деле не был. Наоборот, «как теперь помню,— говорил один ветеран екатерининских времен,— его небольшую мозглявую фигурку, одетую в серый сюртучок, скромно застегнутый на все пуговицы и с заложенными в карманы руками». Думаю, что Шешковский был страшен тем же, чем страшны были людям XVIII века все начальники тайного сыска: Ромодановский, Толстой, Ушаков, Шувалов. Точно известно, что самого автора «Путешествия» ни плеть, ни кнут не коснулись, но, по рассказам сына, он упал в обморок, как только узнал, что

за ним приехал человек от Шешковского. Когда читаешь признания Радищева, его покаянные послания Шешковскому, наконец, написанное в крепости завещание детям, то этому веришь: Радищевым в Петропавловской крепости владел страх, подчас истерическая паника. Вероятно, свои ощущения от встреч с Шешковским он и передал сыну.

Вполне возможно, что Радищев не был трусом и истериком. «Увещевая» узника, Шешковский грубил, угрожал, а возможно и давал легкие тумачи или действительно тыкал тростью в подбородок, как описал это сын Радищева. Для людей небитых (а Радищев вырос уже под защитой дворянских привилегий и учился за границей) такого обращения было достаточно, чтобы перепугать, заставить каяться и, прощаясь с жизнью, писать малым детям завещание. Радищев не был исключением. Драматург Яков Княжнин – человек интеллигентнейший и слабый – после того как его на исходе 1790 года допросил Шешковский, «впал в жестокую болезнь» и две недели спустя умер.

Думаю, что Шешковский, который из подьячих вышел в тайные советники и получил столь могущественную власть, не без наслаждения измывался над оробевшими столбовыми дворянами, либералами, «нашалившими» светскими повесами, писателями, от которых, как всегда считали в политическом сыске, «один вред и разврат». Эти нежные, избалованные люди никогда не нюхали воздуха казематов Петропавловской крепости и после недельного сидения там представляли перед Шешковским с отросшей бородой и со спадающими без пояса штанами (как их принимали в крепости, будет сказано ниже), и «мозглявый» начальник Тайной экспедиции казался им исчадием ада, символом той

страшной силы государства, которая могла сделать с любым человеком все что угодно.

Шешковский «везде бывал, часто его встречали там, где и не ожидали. Имея, сверх того, тайных лазутчиков, он знал все, что происходило в столице: не только преступные замыслы или действия, но даже вольные и неосторожные разговоры». В этих словах нет преувеличения, информация через добровольных и тайных агентов приходила в политический сыск всегда. Полученными сведениями Шешковский делился с императрицей, поэтому она была прекрасно осведомлена о личных делах многих придворных, хорошо знала о том, что говорят в столице, в народе, в высшем свете. Конечно, эти сведения она получала и от придворных сплетников, своих секретарей, прислуги, но также и от Шешковского. Он же, как все начальники политического сыска, любил копаться в грязном белье. В основе могущества Шешковского лежала зловещая тайна, окружавшая его ведомство, благорасположение государыни. К этому нужно прибавить непомерные амбиции выходца из низов.

Легенды приписывают Шешковскому также роль ханжи-иезуита, палача-морализатора, который допрашивал подсудимого в палате с образами и лампадками, говорил елейно, сладко, но в то же время зловеще: «Провинившихся он, обыкновенно, приглашал к себе: никто не смел не явиться по требованию». То, что Шешковский приглашал людей к себе домой, для внушений, было по тем временам делом обычным, многие сановники «вершили дела» дома. Подтверждаются документами и сведения о ханжеских

нравоучениях Шешковского, которые снискали ему среди петербуржцев кличку «духовник».

Одна из легенд рассказывает о том, что Екатерина II, возмущенная «невоздержанностью» генеральши М. Д. Кожиной, предписала Шешковскому высечь проказницу: «Она всякое воскресенье бывает в публичном маскараде, поезжайте сами, взяв ее оттуда в Тайную экспедицию, слегка телесно накажите и обратно туда доставьте, со всякою благопристойностью». Узнать наверняка, было ли такое происшествие на одном из петербургских балов, мы не можем. Но известно, что Шешковский по заданию государыни вел с дамами высшего света, как сказали бы в позднейшую эпоху, «профилактические беседы». При Екатерине усердно следили за нравственностью жителей обеих столиц, как из высшего света, так и из низов. Для этого в Тайной экспедиции и полиции собирали разнообразные сведения. Из дела Григория Винского следует, что при выяснении одной банковской аферы в 1779 году по всему Петербургу стали забирать в Петропавловскую крепость (в качестве подозреваемых) молодых людей, соривших деньгами и ведших «рассеянную жизнь». Первое, о чем подумал Винский, попав в каземат и увидев, что его начинают раздевать, был страх, что его хотят высечь.

Опасения Винского были небезосновательны. Легенда гласит: «В кабинете Шешковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресла и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предполагать того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковского, люк с креслом опускался под пол. Только

голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслом поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Но, несмотря на эту тайну, молва разносила имя Шешковского и еще увеличивала действия его ложными прибавлениями».

Сама техническая идея опускающегося под пол кресла была известна давно – подъемные столы использовались для поздних ужинов без прислуги. Так что у Шешковского вполне могло быть такое механическое кресло; вспомним, что Кулибин придумывал механизмы и посложнее. А вот записок тех, кого Шешковский «воспитывал» таким образом, не сохранилось. Правда, в мемуарах А. Н. Соковнина есть намек, который позволяет заподозрить, что мемуарист прошел такую процедуру: «Страшный человек был этот Шешковский, бывало подойдет так вежливо, так ласково попросит приехать к себе объясниться... да уж и объяснится!»

Когда в 1794 году Шешковский умер, новый начальник Тайной экспедиции А. Макаров не без труда привел в порядок расстроенные дела одряхлевшего ветерана политического сыска и особенно развернулся при Павле I – новый император сразу же задал сыску много работы.

# ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК

История взаимоотношений церковных и сыскных органов отражала то положение, в котором находилась в самодержавной России православная церковь: она была превращена в государственную контору, покорную служанку самовластия, полностью подчиненную самодержцу. Священник рассматривался властью как должностное лицо, которое служит государству наряду с другими чиновниками. Священнослужители действовали как помощники следователей, увещевали и исповедовали узников, а потом тщательно отчитывались об этом в Тайной канцелярии. Обычно роль следователей в рясе исполняли проверенные и надежные попы из Петропавловского собора.

В главе о доносе будет особо сказано о принятом в петровские времена законе, который принуждал духовного отца открывать тайну исповеди своего духовного сына. Подвиг чешского святого Иоанна Непомука, не открывшего даже под угрозой смерти исповедальные откровения своей духовной дочери и принявшего мученическую смерть, в России представить себе невысказано.

Когда устраивались судилища над важными государственными преступниками, то среди членов суда обязательно были высшие церковные иерархи, которые участвовали в рассмотрении дел. Правда, в одном отношении Русская православная церковь, несмотря на



давление светской власти, сохранила честь: включенные в суды церковники ни разу не подписали смертных приговоров, ссылаясь на запрет церковных соборов выносить приговоры в светских судах.



*Православный священник*

Светская власть не считалась со священным статусом монастырей и относилась к ним как к тюрьмам, ссылая туда преступников, часто больных и искалеченных пытками. Подобное пренебрежение к иночеству вызывало протест терпеливых ко многим унижениям членов Синода, которые жаловались, что от этого «монашескому чину напрасная тщета происходит».

Но и сами священники становились жертвами политического сыска: их арестовывали, пытали, казнили, как и любого из подданных государя. Монашество, ряса, клобук, епископский посох, преклонные года и общепризнанная святость не спасали даже высших церковных иерархов от дыбы и тюрьмы. В 1763 году Екатерина II, возмущенная просьбами о прощении архиепископа Ростовского Арсения Мациевича, вставшего на защиту церковной собственности, с раздражением писала А. П. Бестужеву-Рюмину, который просил государыню снизить к седидам и сану Арсения: «Не знаю, какую я б причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемонии и формы не по столь еще важным делам преосвященным головы секали...» В этом выражена позиция самодержавия в отношении церкви и ее деятелей, с которыми расправлялись так же, как с прочими государевыми рабами.

В сыскные органы попадали священники, которые не поминали в церкви имя правящего государя или забывали помянуть Синод, не признавали отмены древнего сана «митрополит», выражали сомнения в справедливости отмены патриаршества, осуждали церковную политику Петра Великого и т. д. Можно поражаться отчаянности тех священников и церковных иерархов, которые, находясь в здравом уме и твердой памяти, отказывались служить по «календарным дням», не присягали воцарившемуся государю, позволяли себе высказать нечто противоречащее указаниям Синода или царя.

Окруженные толпой прихожан – потенциальных доносчиков, завистливыми недругами-коллегами, готовыми тотчас известить «где надлежит», такие

иерархи страшно рисковали, причем они прекрасно знали, что доносчик на них обязательно найдется. Доносы в среде духовенства процветали: в Синод и Тайную канцелярию в обилии слали изветы и о «непристойных словах», и о простых нарушениях в отправлении треб, и по другим поводам. Сыск не считался с высоким саном священнослужителя, даже если на него был подан заведомо «бездельный» донос.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1725 году посадили в тюрьму архимандрита Иону. Синод вступился за него: «Знатные духовные персоны арестуются иногда по подозрениям и доносам людей, не заслуживающих доверия, от чего не только бывает им немалая тягость, но здравью и чести повреждение». Обращение это не помогло – Иона из тюрьмы не вышел.

В 1730 году воронежский епископ Лев Юрлов отказался читать в церкви указ о восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны и, наоборот, приказал молиться о «благочестивой нашей царице и великой княгине Евдокии Федоровне» – первой жене Петра I, сосланной им в монастырь. За это его по доносу арестовали, лишили епископского посоха и на десять лет заточили в дальний северный монастырь.

Тогда же архиерей Лаврентий подвергся ссылке за то, что «о здравии Ея величества [императрицы Анны] многолетия петъ не велел».

Единственной уступкой служителям культа было соблюдение правила, запрещающего их пытать. Но это

затруднение сыск преодолевал легко. Тайная канцелярия попросту требовала от Синода прислать попа для расстрижения преступника. Процедура эта занимала несколько минут. Священник или монах, которому срезали волосы и обрили лицо, становился «расстригой» (причем бывшему монаху возвращали его мирское имя), и дверь в застенок для него была широко открыта. «О нем объявить в Синоде... и когда с него то [сан] сымут, указал Е. в. накрепко пытаться» – так распорядился Петр I об архимандрите Гедеоне.

Приговоры сыскных органов о лишении сана и наказании церковников подлежали обязательному исполнению Синодом. Можно было считать милостью, если государь позволял наказывать преступника, не расстригая его, или отдавал его в руки церковного суда.

За покорность церковников государственная власть платила сторицей – без ее гигантской силы и могущества официальная церковь никогда бы не справилась со старообрядчеством. А именно старообрядцев (раскольников) считала православная церковь заклятыми врагами, недостойными пощады. Горделивое утверждение некоторых отечественных историков о том, что в России XVII-XVIII веков не было ужасов инквизиции Западной Европы, требует значительных оговорок. Действительно, церковных судов, подобных инквизиции католической церкви, у нас не было. Но их роль исправно исполняли органы политического сыска, как и все государство, взявшее на себя функции защиты православной веры в ее единственной официальной версии.

На страницах этой книги нет возможности подробно рассматривать весь многосложный инквизиторский процесс, который целое столетие велся над старообрядцами, но он был полностью скопирован со светского политического процесса и был так же пристрастен, несправедлив и жесток. Нераскаявшихся раскольников пытали, сжигали, подвергали позорным казням и ссылкам. В России не было такого количества костров для еретиков, как в Западной Европе, но их заменяли гари, к которым своими грубыми, бесчеловечными методами официальная церковь и власти понуждали старообрядцев.

Законодательство о старообрядцах неуклонно ожесточалось. Конец XVII – первая половина XVIII века прошли под знаком тотального преследования старообрядцев. На них, как на диких зверей, устраивались в лесах многолюдные облавы. Старообрядцы были выведены за грань человеческого и гражданского сообщества. Прощение мог получить только тот раскольник, который отрекался от своей веры и приносил унижительное покаяние. Остальных подвергали разнообразным репрессиям. Их принуждали платить двойные налоги, им запрещали заниматься торговлей и другими видами деятельности, а также свидетельствовать в суде. Их нельзя было приводить к присяге, им не разрешали издавать, переписывать, хранить книги, запрещали читать и писать. Мужчины должны были носить на платье специальные красные четырехугольники – «kozyри», а женщины – позорные шапки с рогами.



*Пропагандистский лубок петровского времени  
«Цырюльник хочет расколынику бороду стричь»*

Старообрядцы реально не угрожали царской власти. Не известно ни одного случая, чтобы они задумывали покушения на жизнь ненавистных царей и иерархов церкви, а отчаянные одиночки их бы совершали. Сопротивление старообрядцев почти всегда было пассивным. Они уходили в леса, подальше от власти государства и церкви, основывали там скиты, в которых сжигали себя при попытке их арестовать. Если бежать было невозможно, то старообрядцы были готовы платить налоги, большие, чем у простых прихожан. Они подкупали чиновников деньгами и подарками, пускались на всевозможные ухищрения, чтобы сохранить свою самостоятельность, что в условиях полицейского государства давалось нелегко.

Старообрядцы были сильны своей сплоченностью, умением поддержать друг друга в тюрьме, в застенке, на каторге и на эшафоте. Недаром каторжников-старообрядцев не ссылали в Сибирь, где они чувствовали себя как рыба в воде. Старообрядцы многим могли поступиться, но оставались стойки и непримиримы в обличении власти, в защите своей веры, а следовательно, в своей духовной независимости.

Конечно, люди остаются людьми во все времена, и старообрядцы, попавшие в застенки, порой не выдерживали пыток и отрекались от своих взглядов и веры, но все же изучение материалов сыска о раскольниках убеждает, что в руки палачей попадали не пьяные болтуны, безумцы, слепые фанатики, а серьезные идейные противники режима и церкви, вера для которых была подлинным оплотом их духовной свободы.

Это была особая человеческая порода, из нее было трудно вить веревки. Муки в застенке старообрядцы воспринимали как посланную от Бога муку, как испытание их веры и праведности, как Христов путь спасения через страдания. Идея страдания, мученичества во имя Бога была одной из главных идей старообрядчества в его сопротивлении государству и официальной церкви. Почти всеми старообрядцами, попавшими в застенки, владел проповеднический дух обличения наступившего, по их мнению, царства Антихриста, стремление открыть людям глаза, указать путь к спасению.

Таких отчаянных людей власть осуждала особенно сурово. После дела Варлаама Левина, который с готовностью шел на муки, был издан указ Синода от 16 июля 1722 года, который можно назвать законом о

порядке правильного страдания за веру. В указе утверждалось, что не всякое страдание законно, полезно и богоугодно, а только то, которое следует «за известную истину, за догматы вечных правды». В России же, истинно православном государстве, гонений за правду и веру нет, поэтому не разрешенное властью страдание подданным запрещается. Кроме того, власть осуждала страдальцев, которые использовали дыбу как своеобразную трибуну для обличения режима. Оказывается, страдать надлежало покорно, «не укоряя нимало мучителя... без лаяния властей и бесчестия».

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1737 году в Москве произошла необыкновенно драматичная история с двумя братьями-старообрядцами Иваном и Кондратием Павловыми. Хозяин квартиры Ивана Павлова, Синельников, показал на допросе, что когда он зашел к своему жильцу, тот сказал ему о своем намерении идти в Тайную канцелярию. Синельников спросил: «Для чего он идет?» И Павлов сказал, «что-де идет за старую веру пострадать... Он же Синельников на помянутые Павлова слова говорил: "Коли у тебя охота припала, это-де не худо – пострадать за Бога"». Отправившегося в крестный путь Ивана провожали его жена Ульяна и брат Василий. Кондратий Павлов в это время уже был в сыске. Своей подруге Ульяна сказала, что братья «пошли-де на труд в старом кресте», при этом обе женщины плакали. Братья Павловы погибли в застенке.

Своей жестокостью в многолетней борьбе с «расколом» официальная церковь способствовала, в



сущности, подлинному расколу русского общества, превращению его части в изгоев и одновременно к отторжению от официальной церкви верующих народных масс, втайне симпатизировавших старообрядческим мученикам. Вместе с тем наступление на раскольников как врагов веры и государства вело к идейному застою и усилению фанатизма старообрядцев.

Особо зловещую роль в преследовании старообрядцев сыграли три церковных иерарха петровского царствования: архиепископ Нижегородский Питирим, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович и архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосии Яновский. Они особенно тесно сотрудничали с политическим сыском. Питирим был настоящим фанатиком борьбы с расколом. Он пытался одолеть старцев в религиозной дискуссии, которую сочетал с шантажом и угрозами, умело вносил смуту в их среду, вылавливал самых авторитетных старцев и отправлял их в Петербург на допросы в Тайную канцелярию и Синод. Да и сам Священный Синод почти с первого дня работы в 1721 году стал фактически филиалом Тайной канцелярии. В Синоде была оборудована тюрьма, где людей держали столь же сурово, как в Петропавловской крепости: в оковах, в голоде, темноте и холоде.

Архимандрит Феодосии был близким приятелем начальника Тайной канцелярии П. А. Толстого и его заместителя генерала А. И. Ушакова. Они втроем и бражничали, и пытали узников в застенках Петропавловской крепости. Впрочем, у Феодосия в Александро-Невском монастыре была и своя тюрьма. Здесь архимандрит и его подчиненные допрашивали церковников, обвиненных в государственных

преступлениях, а потом отсылали их к Толстому. Одновременно из Тайной канцелярии в Александро-Невский монастырь присылали раскольников, которые раскаялись после пыток в застенке. Феодосии должен был установить, насколько искренним было раскаяние этих не выдержавших мучений людей, и затем сообщал об этом Толстому.



*Феодан Прокопович*

Можно с уверенностью сказать, что не было ни одной моральной преграды, через которую не переступил бы Феодосии. Он был одним из тех, кто стоял у истоков синодального периода истории Русской православной церкви, когда она превратилась в идеологическую контору самодержавия, духовную службу светской власти. Феодосии был первым человеком в Синоде, он послушно и даже с энтузиазмом исполнял волю Петра I, внося немислимые для православных перемены в обряды

русской церкви, превратив священника в доносчика, обязанного ради интересов госбезопасности раскрывать одно из священных таинств веры – таинство исповеди. Архимандрит отпускал Петру все тяжкие его грехи, в том числе сыноубийство: по некоторым сведениям, он был рядом с царем, когда тот посылал в Петропавловскую крепость надежных людей, чтобы под покровом тьмы убить несчастного царевича Алексея.

После ссылки и заточения самого Феодосия в 1725 году, к чему приложил руку Феофан Прокопович, последний занял место не только главы Синода, но и ближайшего сподвижника А. И. Ушакова в делах веры. Феофан был одним из постоянных консультантов Тайной канцелярии по вопросам литературы и веры. Он давал отзывы на изъятые у врагов церкви сочинения, участвовал в допросах, писал доносы. В 1732 году он сделал заключение по материалам допросов в Тайной канцелярии монаха грека Серафима, в котором так резюмировал свои наблюдения: «Серафим – человек подозрительный к шпионству и к немалому плутовству». В приговоре Серафиму это заключение стало главным обвинением, и он был сослан на вечное житье в Охотск.

Как и Феодосии, Феофан использовал могучую силу политического сыска для расправы со своими конкурентами в управлении церковью. До самой своей смерти в 1736 году Феофан тесно сотрудничал с политическим сыском. Впрочем, без услуг интеллектуалов сыск никогда не обходился. Феофан был умнее, изворотливее, удачливее, чем Феодосии, и кончил жизнь свою не как тот – в запечатанной подземной камере архангельского монастыря, – а в собственном доме в Петербурге.

Хотя после смерти Феофана в церкви не осталось таких, как он, умных, «пронырливых» и жестоких инквизиторов, дело, которое было начато Никоном, подхвачено Питиримом, Феодосией и Феофаном, продолжили чиновники специального Сысского приказа, который к середине XVIII века выполнял роль инквизиторского филиала Тайной канцелярии. Сюда передавали из Тайной канцелярии упорствующих в своих убеждениях старообрядцев «для изыскания истины пытками». В приказе была налажена целая система мучений людей. Старообрядец либо погибал там, либо выходил оттуда раскаявшимся в своих убеждениях изгоем и калекой.

Лишь со времен Петра III и Екатерины II можно говорить об ослаблении репрессий государства и церкви против старообрядцев. Главное направление борьбы изменилось – началась борьба с хлыстами и другими сектантами.

# «ДОЛЖЕН, ГДЕ НАДЛЕЖИТ, ДОНЕСТИ»

Как начиналось политическое дело? Ответ прост – чаще всего с доноса, или, как тогда говорили, извета.

Доносы в России имеют многовековую историю. Первые правовые нормы об извете (доносе) возникли во времена образования Московского государства. Служилый человек, перешедший к Великому князю Московскому, обязался доносить о замыслах против него. Соборное Уложение (1649 год) предусматривало наказание за недонесение: «А буде кто, сведав или услыша на царское величество в каких людях скоп и заговор или иной какой злой умысел, а... про то не известит... и его за то казнити смертию безо всякия пощады». Но в XVII веке закон об извете-доносе распространялся преимущественно на государственные преступления. Поскольку в царствование Петра I зона государственного преступления безгранично расширилась, практически все преступления попадали под действие закона о доносительстве. Можно сказать, что государство поставило перед собой цель искоренить преступность с помощью извета. Государство активно толкало людей к доносительству. Донести, «куда надлежит», стало не только обязанностью каждого подданного, но и профессией, за которую платили деньги: в 1711 году был создан институт штатных доносчиков – фискалов во главе с обер-фискалом.

Фискалы сидели во всех центральных и местных учреждениях, в том числе и в церковных. Им предписывалось «над всеми делами тайно надсматривать

и проведывать», а затем доносить о преступлениях. За верный донос фискал получал награду: половину конфискованного имущества преступника. Ложный донос в укор фискалу не ставился, «ибо невозможно о всем оному окурратно ведать». Больше, что ему грозило в этом случае, – «штраф лехкой», чтобы впредь, «лучше осмотряся», доносил. Фискалы с самого начала встретили враждебное отношение подданных царя, причем не только из числа воров и казнокрадов. В сознании поколений русских людей понятие «фискал» стало символом подсматривания и гнусного доносительства.

Хотя Петр I не сомневался, что отдельные фискалы грешны (в 1722 г. он казнил за злоупотребления генерал-фискала А. Я. Нестерова), но польза, которую они приносили стране, казалась царю несомненной – ведь, по его мнению, в России почти не было честных чиновников и только угроза доноса и разоблачения могла припугнуть многочисленных казнокрадов и взяточников, заставить их соблюдать законы. Неумолимая фискальская деятельность того же Нестерова позволила вскрыть колоссальные хищения государственных средств сибирским губернатором М. П. Гагариным и другими высокопоставленными казнокрадами.

Создание казенного ведомства по доносам имело большое значение для развития системы доносительства в России. Деятельность фискалов должна была служить образцом для всех подданных. Петр именно об этом и радел в своих указах. Так, в указе от 25 января 1715 года, возмущаясь распространением анонимных изветов, царь писал, что их авторы могут открыто и смело приходить с доносом, не только не боясь наказания, но и рассчитывая на награду. И далее Петр останавливается на «педагогическом» значении фискалитета: «К тому ж

могут на всяк час видеть, как учинены фискалы, которые непрестанно доносят, неточию на подлых (т. е. простолюдинов. – Е. А.), но и на самые знатные лица без всякой боязни, за что получают награждение... И тако всякому уже довольно из сего видеть возможно, что нет в доношениях никакой опасности. Того для, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, тот без всякого сумнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах».

Известы по форме были письменные (по-современному говоря, – заявление или в просторечье – «сигнал») и устные (явочные), которые были распространены больше, чем письменные. С устными известами связано знаменитое выражение «Слово и дело!» или «Слово и дело государево!». Такими словами известчик публично заявлял, что знает о государственном преступлении и желает сообщить об этом государю. Смысл этого знаменитого выражения можно объяснить так: «Я обвиняю вас в оскорблении государя словом и делом!»

Как же доносчик извещал власти о государственном преступлении? Известно несколько форм известа. Первую из них можно условно назвать «бюрократической»: известчик обращался в государственное учреждение или к своему непосредственному начальству и заявлял, что имеет за собой или за кем-то «Слово и дело». Само выражение при этом не всегда употребляли, хотя суть секретности, срочности и важности известа от этого не менялась. Известить власти о своем «Слове и деле» можно было и обратившись к любому часовому, а уж тот вызывал дежурного офицера. Особенно популярен среди доносчиков был «пост № 1» у царской резиденции.

Другой способ объявления «Слова и дела» был наиболее эффектен. Извешчик приходил в какое-нибудь людное место и начинал, привлекая к себе всеобщее внимание, громко кричать «Караул!» и затем объявлял, что «за ним есть Слово и дело». Одной из причин такого экстравагантного поступка было стремление доносчика вынудить власти заняться его извештом, чего не всегда хотелось местным начальникам.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Дело изуверки Салтычихи в 1762 году началось с того, что измученные издевательствами госпожи шестеро ее дворовых отправились в Московскую контору Сената доносить на помещицу. Узнав об этом, Салтычиха выслала в погоню десяток своих людей, которые почти настигли челобитчиков, но те «скорее добежали до будки [полицейской] и у будки кричали "Караул!"». Скрутить их и отвести домой слуги Салтычихи уже не могли – дело получило огласку, полиция арестовала челобитчиков и отвезла на съезжий двор. Через несколько дней Салтычихе удалось подкупить полицейских чиновников, и арестованных доносчиков ночью повели якобы в сенатскую контору. Когда крестьяне увидели, что их ведут к Сретенке, то есть к дому помещицы, то они стали кричать за собою «Дело государево!». Конвойные попробовали их успокоить, но потом, по-видимому, сами испугались ответственности и отвели колодников вновь в полицию, после чего делу о страшных убийствах был дан ход.

Но громогласные заявления доносчиков о государственном преступлении сыск не одобрял. В



Тайной канцелярии, «где тихо говорят» (термин, бытовавший в народе), шума не любили. Кричать «Слово и дело!» разрешалось лишь в том случае, если не было возможности донести «просто», без шума, как должно и где надлежит. Впрочем, не будем преувеличивать строгость сыска к форме доноса: чиновники соблюдали меру, радея о том, чтобы не спугнуть потенциальных изветчиков, дабы «доносители имели б к доношению ревность».

Анонимные доносы категорически запрещались. Каждый извет должен был быть персональным, то есть иметь автора-изветчика, который мог доверить содержание доноса властям. Писать, присылать или подбрасывать анонимные доносы – «подметные» (то есть подброшенные) письма – считалось серьезным преступлением. Авторов стремились выявить и наказать, а само подметное письмо палач торжественно предавал сожжению. Этот магический обряд, очевидно, символизировал уничтожение анонимного, то есть, возможно, происходящего от недоброго человека или вообще не от человека, зла.

Конечно, не стоит преувеличивать боязнь властей разбудить магические силы, скрываемые в анонимке. Несмотря на официальные заверения о том, что подметные письма являются преступлением, власти использовали сведения из них. В 1724 году на имя Петра I было получено подметное письмо с обвинениями в адрес ряда высших сановников. Это письмо дошло до нас в целости и сохранности с особыми пометами царя, а также с характерной припиской: «Письмо подлинное... вместо которого указал Е. и. в. положить в тот пакет

белой бумаги столько ж и сожжено на площади явно, а сие письмо указано беречь».

«Запоздалые изветы» вызывали недоверие властей. Изветчик был обязан донести сразу же после того, как он услышал о «непристойных словах», а именно – «того ж дни. А ежели в тот день, за каким препятствием донести не успеет, то, конечно, в другой день... по нужде на третий день, а больше отнюдь не мешкать». Традиция запрещала верить изветам приговоренных к казни, если к этому моменту они просидели в тюрьме больше года. Правда, в делах политического сыска срока давности не существовало. «Застарелые доносы» с неудовольствием, но все же принимались сыском. Игнорировать то, что относилось к интересам государя, было нельзя. Но при этом чиновники обязательно записывали, сколько времени пропущено изветчиком сверх указного срока («Оной Батуров... не извещал семнадцать дней», «Сказал за собою Государево слово... которое знает пятой год»). В одном из протоколов просрочка изветчика указана с необыкновенной точностью: «О помянутых непристойных словах не доносил многое время, а именно – чрез одиннадцать месяцев и двадцать один день». Изветчика обязательно спрашивали о причинах его нерасторопности. Обычно в оправдание он ссылался на свои отлучку, занятость, недогадливость, «несовершенство даров разума», необразованность или незнание законов («Нигде я не доносил простотою своею, от убожества»). За такой запоздавший донос изветчик или совсем не получал поощрения, или его награда уменьшалась.

Извет – дело государственной важности, секретное. Знать его содержание простой смертный не мог, да и не каждый из чиновников имел право требовать, чтобы изветчик ему раскрыл «непристойные слова», объявил «самую важность» доноса. Многие изветчики хранили содержание извета в тайне даже от местных властей и требовали доставить их в столицу, а иногда обещали рассказать о преступлении только царю. Заявления об этом в XVII веке записывали так: «Есть за мною государево слово всей земли, и то я скажу на Москве». За такими заявлениями, как правило, не стояло ничего, кроме желания изветчика – нередко уголовного преступника, «тюремного сидельца» – избежать пытки, потянуть время да еще попытаться по дороге в Москву сбежать.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Малолетний дворянский сын Александр Денисьев донес на дворовых людей (одному из них было 13, а другому – 11 лет), которые говорили «непристойные слова». Отец привел мальчика в Тайную канцелярию и заявил, что сын его знает за собою «Слово и дело» на дворовых, но какие «непристойные слова» говорили они, «того имянно тот ево сын не сказал, да и он, Денисьев, о том ево не спрашивал». В последнее верится с трудом, но поведение Денисьевых полностью отвечало букве закона. Отец и сын не повторили ошибки другого изветчика – приказчика Дмитриева, которого в 1732 году наказали за то, что в письме к своей помещице он изложил суть сказанных крестьянами «непристойных слов». А это, как отмечено в приговоре, писать ему в письме было нельзя, «а о

тех словах объявлять подлинно [надлежало] туда, куда следовало».

Почти во всех указах об извете подтверждалось, что изветчика ждет награда. Так было принято с давних пор. В случаях исключительных, связанных с раскрытием важного государственного преступления, сумма награды резко увеличивалась. Доносчик мог получить свободу (если он был крепостной или арестант), конфискованное поместье преступника, различные торговые льготы и привилегии. Обычно чиновники сыска исходили из сложившейся наградной практики, в случаях неординарных награду устанавливал сам государь.

«Ложный извет» («недельный», «бездельный») появился одновременно с «правым» изветом. Типичный пример. В 1730 году арестовывали набедокурившего солдата Пузанова, он «повалился на землю» и сказал, что «есть за ним Ея и. в. слово и дело». На следствии же оказалось, что никакого «Слова и дела» за ним нет и не было. Это и был «ложный извет». К ложному извету часто прибегали матерые преступники, которые пытались с помощью «бездельного», надуманного извета затянуть расследование их преступлений или увильнуть от неминуемой казни. Кричали «Слово и дело» и те, кто думал таким образом избежать наказания за какое-нибудь мелкое преступление. Кроме того, люди шли на ложный извет и для того, чтобы добиться хотя бы какого-нибудь решения своего дела, настоять на его пересмотре, привлечь к себе внимание.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1697 году в Кремле «закричал мужик караул и сказал за собой Государево слово». Это был

первый русский воздухоплаватель, который на допросе сказал, что, сделав крылья, «станет летать, как журавль», и поэтому просил денег на изготовление слюдяных крыльев. Однако испытание летательного аппарата в присутствии боярина князя И. Б. Троекурова закончилось неудачей, и «тот мужик бил челом», сказал, что слюдяные крылья тяжелы и нужно сделать кожаные, но «и на тех не полетел», за что его били батогами, а потом в счет потраченных на его замысел денег отписали в казну его имущество.

«Дурной извет» во время ссор, драк, побоев был весьма част. Следователи довольно быстро определяли, что за сказанным под пьяную руку изветом ничего не стоит. Протрезвевший гуляка или драчун с ужасом узнавал, что он арестован как изветчик важного государственного преступления. Два монаха – Макарий и Адриан – были посажены за пьянство на цепь и тут же объявили друг на друга «Слово и дело». Утром, протрезвев, они не могли вспомнить, о чем, собственно, собирались донести. Также не мог вспомнить своих слов пьяный беглый солдат, кричавший «Слово и дело» на подравшихся с ним матросов. А между тем кричал он о страшных вещах: матросы-де несколько лет назад хотели убить Петра I. Иногда в роковом крике видны признаки душевной болезни, невменяемости, белой горячки.

Даже явно «бездельные» изветы игнорировать было нельзя. Если приговоренный к казни на эшафоте кричал «Слово и дело», его уводили обратно в тюрьму и начинали расследование по его извету. В этот момент закон был на его стороне – ведь изветчик мог унести в могилу важные сведения о нераскрытом государственном

преступлении. В итоге у приговоренного к смерти появлялась порой призрачная возможность с помощью извета оттянуть на некоторое время казнь. Иногда же за счет доноса на другого, подчас невинного человека преступник-изветчик стремился спасти свою жизнь, облегчить свою участь.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Одним из самых известных случаев извета перед казнью стало объявление «Слова и дела» братом Степана Разина Фролом у эшафота в день казни 6 июня 1671 года. Как писал иностранный наблюдатель, Фрол, «придя на место казни, крикнул, что знает он Слово государево... Когда спросили, что он имеет сказать, Фролка ответил, что про то никому нельзя сказать, кроме государя. По той причине казнь отложили, и есть слух, будто открыл он место, где брат его, Стенька, зарыл в землю клад». На самом деле Фрол утверждал, что на предварительном следствии он якобы запомнил о спрятанных в засмоленном кувшине «воровских письмах» Степана Разина на острове посредине Дона, под вербой, «а та верба крива посередке». Выдумка эта помогла оттянуть казнь на пять лет – Фрола Разина казнили лишь весной 1676 года.

В 1728 году дьячок Иван Гурьев, сидевший в тюрьме в ожидании отправки на сибирскую каторгу, донес о «важном деле» на своего сокамерника – бывшего дьякона – и как доказательство предъявил письмо, якобы выпавшее из одежды дьякона. Письмо это было оценено как «возмутительное воровское». Но следователи легко

установили, что дьячок попросил дьякона написать несколько вполне нейтральных строк на листе бумаги, к которому затем подклеил им самим же написанные «возмутительные» слова. Приговор дьячку был суров: за написание «воровского злоумышленного возмутительного письма» и за то, что он «желал тем воровским умыслом привести постороннего невинно к смертной казни... казнить смертью – четвертовать».

Ложное доносительство было широко распространено, да и немудрено: борясь с ложными доносами, государство активно поощряло доносы вообще. В XVIII веке доносы оставались самым надежным «инструментом» контроля за исполнением законов. Доносчики извещали обо всем: о воровстве и разбое, об утаенных во время переписи душах, о нарушителях монополии на юфть, щетину, соль, о торговцах золотом в неположенных местах, о тайных продавцах ядов, о контрабандистах и т. д.

В 1720-е годы, когда государство, разоренное длительной Северной войной, отчаянно нуждалось в деньгах, возросло количество доносов, авторы которых ловко отзывались на злобу дня. Перед следователями являлись доносчики, готовые тотчас провести к тем местам, где закопаны клады Александра Македонского и Дария Персидского, сокровища разбойника Кудеяра, где стоят лишь присыпанные землей чаны с золотом и серебром, которые сразу же обогатят пустую казну. Если такой «рудознатец» говорил: «Мне явился ангел Божий во сне и, водя мя, показуя мне место», то, как с ним поступать, знали даже канцелярские сторожа – в монастырь, «до исправления ума». Иначе обстояло дело

с ворами, которые под пытками или перед казнью, вместо того чтобы покаяться, кричали «Слово и дело» и порой даже предъявляли образцы какой-то породы, утверждая, что это и есть найденное ими серебро, столь нужное Отечеству. Такого человека власти боялись без допроса отправить на тот свет. Но проходимцев было так много, что в 1724 году Сенат указом запретил верить рудознателям, которые объявляли о своих открытиях только тогда, когда их ловили на воровстве или забрасывали в рекруты, о подлинных же находках руд следовало доносить «заблаговременно, без всякой утайки».

Недоносительство в XVIII веке оставалось тяжким государственным преступлением, которое каралось более сурово, чем ложный извет. Согласно законам, неизветчик признавался фактически соучастником государственного преступления. В указе 1711 года о неизветчиках, знавших о фальшивомонетчиках, было сказано, что им «будет тож, что и тем воровским денежным мастерам». Обычно фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным металлом.

Угрозы не оставались на бумаге. Приговоры сыска были страшны и подводили неизветчика под кнут, к ссылке на каторгу и даже к смертной казни. Новгородский священник Игнатий Иванов по указу Петра I был казнен в 1724 году за недонесение слышанных им «непристойных слов». Многие участники дела царевича Алексея были жестоко наказаны за то, что не донесли о намерениях наследника престола бежать за границу. Одиннадцать священнослужителей Суздаля обвинили в недонесении и подвергли суровому наказанию: ведь они



часто видели, что бывшая царица Евдокия – старица Елена, сбросив монашескую одежду, ходила в светском одеянии, но не сообщили об этом куда надлежит.

На следствии в Тайной канцелярии довольно быстро выявлялся круг людей, которые знали, но не донесли о государственном преступлении, и они не могли ожидать от властей пощады. Страх оказаться неизветчиком гнал людей доносить друг на друга.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Посадский Матвей Короткий в 1721 году поспешил с доносом на своего зятя Петра Раева потому, что о его пьяных «непотребных» словах рассказал ему их холоп. Короткий испугался, что холоп донесет первым, а он в этом случае окажется неизветчиком.

В мае 1735 года Павел Михалкин, «отважа себя», подошел к часовому гвардейцу, стоявшему у Зимнего дворца, и объявил «Слово и дело», а затем донес на нескольких человек, обсуждавших в тесной компании сплетню о Бироне, который с императрицей Анной «телесно живет». Михалкин пояснил, что он донес из-за опасения, как бы «из вышеписанных людей кто, кроме ево, о том не донес».

25 декабря 1736 года – в Рождество – на рынок «для гуляния» шли четверо друзей, учеников кронштадтской гарнизонной школы: Иван Бекренев, Филипп Бобышев (им было по 14 лет), Савелий Жбанов (15 лет) и Иван Королев (13 лет). В общем разговоре один из них, Бобышев,

позволил себе неприличное высказывание о принцессе Анне Леопольдовне (племяннице императрицы Анны), в том смысле, что она недурна собой и что ей, наверное, «хочетца». После этого, согласно записи в протоколе Тайной канцелярии, между приятелями произошел следующий разговор. Бекренев «сказал Жбанову: "Слушай, что одной Бобышев говорит!", и означенной Жбанов ему, Ивану, говорил: "Я слышу и в том не запрюсь, и буду свидетелем" и [сказал] чтоб он, Иван, о том объявил, а ежели о тех словах не объявит, и о том, он [сам], Жбанов, на него, Ивана, донесет». После этого Бекренев пошел доносить на товарища.

Особо следует сказать о служащих, давших присягу. Их, как людей поклявшихся на кресте и Евангелии доносить, но не донесших, ждало более суровое наказание, чем обычных подданных. Этой причиной объяснял свой донос фельдмаршал Б. Х. Миних, который в 1730 году сообщил императрице Анне о том, что при вступлении ее на престол адмирал П. П. Сивере публично сказал: «Корона-де Ея высочеству царевне Елизавете принадлежит».

Тайна исповеди – одно из основополагающих христианских таинств – в петровские времена перестала быть тайной. 1 мая 1722 года Синод опубликовал указ, в котором священнику предписывалось без колебаний и сомнений нарушать таинство исповеди, если в ней будет замечен состав государственного преступления. Синод разъяснял, что это «не есть грех, но полезное хотящаго быть злодейства пресечение». Если на исповеди духовный сын скажет своему духовному отцу, что хочет

совершить преступление, «наипаче же измену или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь или здоровье государево и на фамилию Его величества», то священник обязан донести на него где надлежит, но сделать это должен не публично, а «тайно сказать, что такой-то человек... имеет злую на государя или на прочее... мысль».

Отныне ни один уголок в жизни и душе подданного не оставался тайной для государства. Законопослушный и богобоязненный человек оказывался в ужасном положении: он опасался не только упреждающего доноса тех, кто присутствовал при «непристойном» разговоре, но и доноса своего духовного отца.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

На допросе в Тайной канцелярии упомянутый выше Павел Михалкин сказал, что в Великий пост не ходил на исповедь потому, что «когда б он был на исповеди, то и об означенных непристойных словах утаить ему не можно, и потому в мысль ему пришло: ежели на исповеди о том сказать, [то] чтоб за то ему было [чего] не учинено, и оттого был он в смущении и никому об оных словах не сказывал», пока наконец не решился идти к Зимнему дворцу и донести.

Синод не только предупреждал священников об обязательном доносе под угрозой лишения сана, имущества, а также жизни, но и требовал от них принести специальную присягу, больше похожую на клятву тайного сотрудника политического сыска. После издания закона 1722 года православный священник оказывался в тяжелейшем положении. Донести на

духовного сына – значило нарушить закон веры, не донести – значило преступить не менее страшный закон земного владыки. Словом, вечная дилемма русского человека: либо Родину продать, либо душу. Положиться на духовного сына священник также не мог: ведь тот мог под пытками признаться, что сказал о своем преступлении на исповеди. Страшной стороной разглашения исповеди было то, что священник становился извечником, но без свидетелей. Поэтому на следствии его могли обвинить во лжи и в оговоре своего духовного сына.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1718 году попа Авраама – духовного отца подьячего Докукина – за недоносительство приговорили к смертной казни, которую заменили наказанием кнутом, урезанием языка, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу в вечную работу. Оказалось, что на следствии с помощью страшных пыток у Докукина вырвали признание в том, что на исповеди он сказал священнику о своем желании подать царю протест против порядка престолонаследия. Авраама тотчас арестовали.

В 1725 году астраханский священник Матвей Харитонов дал знать властям, что «был у него на духу солдат и сказывался царевичем Алексеем Петровичем». Когда «Алексея Петровича», который оказался извозчиком Евстифеем Артемьевым, схватили, то он показал, что называться царевичем Алексеем его «научал»... сам поп Матвей, которого тотчас же арестовали и заковали в колодки. И лишь на последующих пытках самозванец «сговорил», то есть снял, с попа обвинения. После этого

Артемьева увезли в Москву в Преображенский приказ, попа же по-прежнему держали под караулом. Так продолжалось целый год. Астраханский епископ Лаврентий, которому жаловались родственники попа-колодника, писал летом 1725 года в Синод, что попа Матвея нужно «освободить, понеже и впредь кто будет объявлять на исповеди священникам какие царственные дела, то священник, опасаясь такой же беды... о намеренной злобе доносить бояться будет». Матвея отправили в Петербург, в Синод, но совсем не за наградой, а с указом: «обнажить священничество» (то есть лишить сана), так как он обвинен «в важном Ея и. в. деле». Иначе говоря, подозрения с законопослушного попа так и не сняли.

В 1738 году на допросе в Тайной канцелярии князь Иван Долгорукий показал, что, живя в ссылке в Березове, он исповедовался у местного священника Федора Кузнецова и признался ему на исповеди, что в 1730 году, накануне смерти Петра II, он составил и подписал за умирающего императора завещание, на что священник, отпуская грех, сказал: «Бог-де тебя простит!» После признаний Долгорукого попа немедленно допросили, действительно ли он знал о фальшивом завещании, и, убедившись в этом, сурово наказали.

Доносы на влиятельных, «сильных» лиц были всегда чрезвычайно опасны для изветчика. Опасно было вставать, к примеру, поперек пути такого отъявленного вора, каким был А. Д. Меншиков. Даже когда генерал-фискал А. А. Мякинин сумел уличить Меншикова в утайке в течение двадцати лет налогов с одной из

своих крупных вотчин, светлейший нашел-таки способ расправиться с ним. Мякинина отдали под военный суд и приговорили к расстрелу, замененному ссылкой в Сибирь.



*Гетман И. С. Мазепа*

Всем известно, чем кончилась история Кочубея и Искры, донесших Петру I в 1708 году об измене гетмана Мазепы. Мог бы стать доносчиком на гетмана и его писарь Орлик, который знал все тайные планы и «пересылки» Мазепы со шведами. Но гетман не раз предупреждал писаря: «Смотри, Орлик, будь мне верен: сам ведаешь, в какой нахожусь я милости. Не променяют меня на тебя. Ты убог, я богат, а Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь!» И Орлик, у которого «шевелилось искушение» сделать донос на гетмана, все-таки удержался от этого. «Устрашила меня, – говорил он, – страшная, нигде на свете не

бывалая суровость великороссийских порядков, где многие невинные могут погибать и где доносчику дается первый кнут; у меня же в руках не было и письменных доводов».

Образ изветчика в русской истории – это образ огромной массы «государевых холопов». Именно в существовании рабства, во всеобщей и поголовной зависимости людей от государства и заключалась причина массового доносительства в России. Изветчиками были люди самых различных социальных групп и классов, возрастов, национальности, вероисповедания, уровня образования, служебного положения – от высокопоставленного сановника до последнего нищего. Доносчики были всюду: в каждой роте, экипаже, конторе, доме, застолье.

Полностью разделяю вывод, сделанный в 1861 году историком П. К. Щербальским: «Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков», впрочем, с одной оговоркой: так было и в других странах. На доносах строилась работа инквизиции Западной Европы. Средневековая Венеция была настоящей страной доносчиков. Во Дворце дождей на лестнице можно и теперь увидеть знаменитый «Зев льва» – окошечко в стене, через которое любой анонимный венецианец мог безбоязненно «сообщить» на своих сограждан невидимому дежурному инквизитору. Во Флоренции, в монастыре Сан-Марко, под окном кельи настоятеля есть узкое отверстие, в которое любой мог незаметно сунуть свернутый в трубочку донос на брата во Христе.

Зная сотни подобных фактов, приходишь к выводу, что донос – не национальная, но общечеловеческая черта, что это – особенность социальной природы человека. Более того, эта проблема актуальна до сих пор и в демократических обществах, ибо грань между гнусным по своей моральной сути доносом и исполнением своего долга сознательным гражданином весьма тонка или почти неуловима. Но все-таки доносительство особенно расцветает там, где существует режим всеобщей несвободы, который развивает и поощряет политический донос.

Конечно, люди были разные, некоторые сопротивлялись страшному нажиму власти. Среди таких людей были старообрядцы, они оказались самыми серьезными противниками политического сыска. Среди них почти не было доносчиков. Их предавали чаще всего случайные люди или изгои.

Особенно много доносчиков было, как уже говорилось, среди преступников, которые с помощью извета пытались облегчить свое положение, спасти жизнь, попросту потянуть время. Крепостные, доносящие на своих господ, – вторая после преступников значительная группа доносчиков. «Доведенный» извет позволял получить «вольную». К этой цели крепостные стремились разными путями, в том числе и через донос, нередко надуманный, ложный. Потом, после пыток и долгого сиденья в тюрьме, крепостные в огромном своем большинстве, повторяли одно и то же: «За своим господином никаких преступлений не знаю, а Слово и дело кричал, отбывая от того [имярек]... холопства». При этом некоторые крепостные тщательно готовились к доносу, заранее подговаривали свидетелей, но они не предполагали, что их уловки оболгать господина в сыске



легко разоблачат, а пытки сломают волю и заставят признаться в ложном доносе.

В ряде дел мы сталкиваемся с извещениями крепостных, по сути своей ложными, но не подготовленными заранее. Это – акты отчаяния замученных хозяином рабов. В 1702 году крестьянин помещика Квашнина признался, что кричал «Слово и дело», но «за помещиком своим иного государева дела, что он, помещик, ево, Василья, бивал плетьюми и кнутом и морил голодом, никакова не ведает». В 1733 году кричал «Слово и дело» другой крестьянин, которого помещик «смертно бил дубиной».

За ложный донос крепостного обычно били кнутом и возвращали помещику под расписку. Что его ждало, нетрудно предположить. Впрочем, власти понимали, что после ложного доноса на своего господина такому крепостному, может быть, и не жить на свете. Доносчика крестьянина Степана Иванова сослали в Охотск не только потому, что донос его оказался ложным, но и потому, что, по мнению Тайной канцелярии, возвращать помещику его не следует, ибо тот «будет иметь на него, Степана, злость». В извещениях крепостных на своих господ можно увидеть и месть жестокому или несправедливому хозяину.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1720-е годы повар сосланных в Пустозерск князей Щербатовых подслушал разговор князя Семена с женой о том, что их освободят, только если Петр I умрет. Повар тотчас побежал в караулку и донес, что господин «смерти желает Великому государю».

Княгиню А. П. Волконскую в 1727 году А. Д. Меншиков сослал в ее подмосковную деревню, откуда она тайно выезжала в Москву для встречи с друзьями. Княгине прислуживала крепостная – горничная Домна, которая во время обыска в петербургском доме госпожи незаметно подобрала отброшенное Волконской под стол письмо. Вернув после обыска это важное письмо хозяйке, Домна вдруг стала проситься на волю. Волконская же боялась, что горничная где-нибудь проболтается о своей находке, и поспешила выдать Домну замуж за своего верного человека – кучера, который тайно, вопреки указу о ссылке, и вывозил барыню из деревни. Этому кучера люто ненавидел лакей – брат Домны, знавший о письме и других проделках барыни. Брат Домны отправился в Москву и донес на Волконскую. В итоге княгиню сослали в монастырь, а изветчикам выдали «вольные».

В 1739 году Трофим Федоров – дворовый помещицы Аграфены Барятинской – донес на свою хозяйку следующее: «Ввечеру подошел он, Федоров, к спальне оной помещицы своей к окошку (которое было закрыто ставнем.

– Е. А.) и слушал... и в то время она помещица ево, взяв на руки... малолетнюю свою дочь Авдотью, говорила ей: "Ты, матушка моя, лучше Всемиловитой государыни, она многогрешна и живет с Бевернским"» – то есть с Бироном. Потом выяснилась истинная причина извета: Федоров «блудно жил» с дворовой девкой Натальей, которую помещица выдала замуж за другого крепостного, а Федорова посадила в

холодную, а потом продала канцеляристу Головачеву. Федоров к другому хозяину идти не хотел и, по-видимому, шантажировал хозяйку, обещая донести о сказанных ею «непристойных словах». Попав в трудное положение, Бяратинская и Головачев заперлись в спальне и обсуждали происшедшее. Дворовый, припав к замочной скважине, разобрал, как Головачев сказал его хозяйке: «Ты этих слов не опасайся, Всемилостивейшая-де государыня изволит жить с Бевернским и посылает ево в Курляндию вместо себя и тут ничего не опасаетца, а ты-де, опасайся холопа своего». После этого Федоров смело донес на свою госпожу.

Совет «Опасайся холопа своего!» оставался актуальным для многих помещиков, которые относились к крепостным как к живому имуществу и, не стесняясь, выражали при них свои чувства. Между тем каждое слово господина, где бы оно ни было сказано – в поле, в нужнике, за обедом, в постели с женой, – слышали, запоминали (иногда даже записывали) дворовые. Документы сыска рисуют подчас весьма выразительную картину того, как рождается донос.

Вот господин-помещик обедает в своей столовой. Вокруг него стоят прислуживающие ему холопы. Помещик что-то говорит родным, гостям, дворовым и вдруг произносит нечто по тем временам «непристойное». Дворовый – лакей, который стоит за спиной господина и все это слышит, – не только примечает сказанное барином, но потом записывает эти «непристойные слова» на четвертушке бумаги «для памяти». Когда же его хватают за какое-нибудь

преступление, он кричит «Слово и дело» и объявляет, что знает за своим господином «непристойные слова». Так началось в 1735 году дело по доносу крепостного Урядова на его помещика графа Скавронского. Но Урядов просчитался: записку о словах барина он случайно положил не в свой, а в чужой лакейский кафтан, и она пропала. За свою рассеянность он сильно пострадал, так как на допросе не смог в точности воспроизвести сказанное барином за обедом. Любопытно, что записку с «непристойным» он приготовил на всякий случай, впрок, и сразу доносить на помещика не собирался, говоря потом, что «не донес с простоты своей». Однако, чтобы записать «для памяти» крамольные слова господина, хитрости ему хватило.

Доносчиками нередко становились родственники, близкие друзья, приятели, соседи. Жены доносили на мужей, которых не любили и от которых долго терпели побои и издевательства. Мужья сообщали о «непристойных словах» своих неверных жен. Обычными были доносы братьев на братьев, отцов на детей, детей на отцов. Причины доносов самые разные, но все они были одинаково далеки от защиты государственной безопасности: распри из-за имущества, вражда, жадность, особенно – зависть, а также другие мотивы, которые заглушали родственные и христианские чувства.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

По доносу жены Варвары в 1736 году был арестован и сожжен как волшебник Яков Яров. На очных ставках она же с убийственной доказательностью уличала его в колдовстве.

Посадская женка Февронья кричала «Слово и дело» на собственного мужа и объясняла на допросе это тем, что «не стерпела от мужа побои».

По доносу жены, знавшей интимные подробности обрезания Александра Возницына, он был сожжен, как отступник от православия.

В 1761 году дворовый человек Сергей Алексеев был взят в Тайную канцелярию по доносу своей жены, которая «известила» сыск, что ее муж обозвал великого князя Петра Федоровича дураком.

Как изветчик узнавал о «непристойных словах»? Он подслушивал, припадая ухом к замочной скважине, тихо подходил к открытому окну, за которым господа вели разговор. Он сидел за соседним столом, за спиной говоривших «непристойное» собутельников, он дружески сдвигал бокалы со своей жертвой за одним праздничным столом. Он напряженно вслушивался в тихие беседы соседей, когда они, думая, что их не слышат «говорили, рассуждая собою», о самых разных вещах. Из сказанного окружающими доносчик вылавливал каждое казавшееся ему подозрительным слово.

Доносили о «непристойных словах», сказанных «один на один», без свидетелей. Ярославский столяр Григорий Скочков донес в 1727 году на конюха Фрола Блинова который, «наклонясь к нему на ухо, говорил: "За что ты императрице поздравляешь? Она-де растакая мать, была императору курва!"» При этом доносчик порой и не думал, что ставит себя в тяжелейшее

положение – «довести», доказать извет без свидетелей бывало весьма трудно.

Доносчик старался быть внимательным и внимательным, проявляя нередко склонности завязанного сыщика. Так, один из колодников, собиравших милостыню в 1734 году у архиерейского двора в Суздале, заглянул даже на помойку, чтобы донести: «Из архиерейских келей бросают кости говяжьи, никак он, архиерей мясо ест» – дело было в Великий пост.

Иными доносчиками двигало неутоленное чувство мести. Они хотели только одного – во что бы то ни стало отомстить за обиду. Доносчики были движимы и тем, что можно назвать «любовью» к доносам, неистребимым желанием делать зло ближнему. Такие люди просто искали случай «стукнуть». Доносчик Дмитрий Салтанов на следствии 1723 года уже по второму его ложному извету «о себе говорил, что-де мне делать, когда моя такая совесть злая, что обык напрасно невинных губить».

Но доносчиком становились не только раб, рвущий свои оковы, несчастная жена, обманутый муж, стяжатель, человеконенавистник, злодей, запуганный следствием человек. Доносчик – это еще и энтузиаст, искренне верящий в пользу своего доноса, убежденный, что так он спасает Отечество. Особо знаменит тобольский казак Григорий Левшутин – по словам П. К. Щебальского, «человек истинно необыкновенный, тип, к чести нашего времени (писано в 1861 г. – Е. А.), кажется, уже несуществующий. Мы знаем, что были на Руси люди, официально занимавшиеся доносами, мы видели доносчиков-дилетантов, но Григорий Левшутин всю жизнь свою посвятил, всю душу положил на это дело. С чутьем дикого зверя он отыскивал свою жертву, с

искусством мелодраматического героя опутывал ее, выносил истязания со стоицизмом фанатика, поддерживая свои изветы, едва окончив дело, начинал новое, полжизни провел в кандалах и на предсмертной своей исповеди подтвердил обвинение против одной из многочисленных своих жертв». Левшутин сам, по доброй воле ходил по тюрьмам и острогам, заводил беседы с арестантами, выпрашивал у них подробности, а потом доносил. В 1721 году он выкупил себе место конвоира партии арестантов. В итоге этой «экспедиции» он сумел подвести под суд всю губернскую канцелярию в Нижнем Новгороде.

Головной болью для сибирской администрации середины XVIII века был Иван Турченинов. Он, еврей Карл Левий, турецкоподданный, был взят в плен под Очаковым и сослан на Камчатку за шпионаж. Там перейдя в православие, он прижился в Сибири и стал одним из самых знаменитых доносчиков XVIII века. Он донес на всю сибирскую администрацию во главе с губернатором, убедительно вскрыл все «жульства» и чудовищные злоупотребления сибирских чиновников. За свои труды он удостоился чина поручика и награды в 200 рублей. Специальная комиссия разбирала доносы Турченинова на сибирскую администрацию двадцать лет!

Отношение людей к доносительству было неоднозначным. Несмотря на полное одобрение и поощрение изветчика со стороны государства, несмотря на то что, донося, люди поступали как «верные сыны отечества», червь сомнения точил их души. Они понимали безнравственность доноса, его явное несоответствие нормам христианской морали, хорошо

осознавали неизбежное противоречие между долгом, требовавшим во имя высших государственных целей донести на ближнего, и христианскими заповедями, устойчивым представлением о том, что доносчик – это Иуда, предатель, которому нет прощения.

Бывший фельдмаршал Б. Х. Миних в 1744 году писал канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину из пелымской ссылки, что в 1730 году, при вступлении Анны Иоанновны на престол, он как главнокомандующий Петербурга «по должности... донести принужден был» на адмирала П. И. Сиверса. Миних признавал, что донос его погубил жизнь адмирала, которого сослали на 10 лет, и только перед самой смертью он был возвращен из ссылки. Теперь, почти 15 лет спустя после извета, доносчик, сам оказавшись в ссылке, писал: «И потому, ежели Ея в. наша великодушнейшая императрица соизволила б Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оное бы и к успокоению моей совести служило».





*А. П. Волынский*

Конечно, доноительство не числилось в кодексе дворянина, и внедряемые Петром I принципы дворянской морали оказывались в очевидном противоречии с обязанностью российского служилого человека и «государева холопа» непременно донести на ближнего. Как известно, в 1730 году, сразу же после восшествия на престол Анны Иоанновны, была предпринята попытка ограничения самодержавной власти. Казанский губернатор А. П. Волынский написал своему дяде С. А. Салтыкову письмо в Москву. В нем он сообщал, что приехавший из Москвы в Казань бригадир Иван Козлов весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны и очень огорчился, когда узнал, что замысел этот не удался. Салтыков, приходившийся родственником новой императрице и быстро набравший при ней силу, попросил племянника прислать на имя государыни

официальный донос на Козлова. Оказалось, что Салтыков уже сообщил об этой истории самой императрице. Для того чтобы дело о «непристойных словах» могло начаться, требовался только донос. Но Волынский неожиданно заупрямился. Он отвечал дяде, что готов служить государыне по своей должности, но «понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а мне как с тем на свет глаза мои показать?., я... большую половину века моего прожил так честно, как всякому доброму человеку надлежало, и тем нажил нынешнюю честь мою, и для того лутче с нею хочу умереть... нежели последний мой век доживать мне в пакостном и поносном звании, в доносчиках...».

По этому письму Волынского мы можем судить об отношении к доносу как людей вообще, так и, в частности, нового русского дворянина с его представлениями о личной дворянской чести, заимствованными из Западной Европы при Петре I и уже довольно глубоко вкоренившимися в сознание вчерашних «государевых холопей». Одним словом, Волынский хочет сказать: доносить – неприлично, это противоречит нормам христианской и дворянской чести. Так действительно думали многие люди. П. И. Мусин-Пушкин, проходивший по делу самого Артемия Волынского в 1740 году, был уличен в недоносульстве на своего приятеля Волынского и на допросе в Тайной канцелярии отважно заявил: «Не хотел быть доводчиком».

Но в истории самого Волынского лучше не спешить с выводами. Столь высоконравственная, на первый взгляд, позиция племянника очень не понравилась его высокопоставленному дяде, который, поспешив с

письмом Волынского к императрице, попал в итоге впросак. Поэтому дядя требует довести дело до конца:

«...коли вступили, надобно к окончанию привести». Моральных же сомнений племянника и рассуждений насчет дворянской чести дядя не понял, счел их за отговорки. Из ответа Волынского на дядино письмо видно, что казанского губернатора от доноса удерживали не понятия чести, а банальные соображения трусливого царедворца и карьериста, который в принципе не прочь сообщить при случае куда надлежит, но при этом не хочет подавать официальный донос и нести за него ответственность. Волынский не отрекается от своих обвинений, но желает, чтобы его донос рассматривали «только приватно, а не публично». То есть донести я всегда, мол, рад, но только тайно, публичный же, по закону, донос противоречит дворянской чести.

В другом письме Волынский раскрыл последний и, вероятно, самый серьезный аргумент в защиту своего недоносительства. Когда началась вся история с Козловым, в Казани об ошеломляющих событиях в Москве после смерти Петра II знали явно недостаточно, и, отказываясь посылать новой государыне формальный донос, Волынский в тот момент не был уверен, что группировка Анны Иоанновны достигла полной победы, («...донести имел к тому немалый резон, но понеже и тогда еще дело на балансе (т. е. неустойчиво. – Е. А.) было, для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть»). Когда же через некоторое время стало известно об окончательной победе Анны Иоанновны, то казанский губернатор уже пожалел о своей чрезмерной осторожности.

Как видим, честь дворянская по Волынскому – понятие гибкое: в одном случае она вообще не допускает доноса, в другом – она его допускает, но лишь тайно или только тогда, когда извет не несет опасности для доносчика-дворянина. Дядя же Волынского исходил из представлений о чести, которые диктовались не абстрактными нормами дворянского поведения, а законами Российской империи. Они же говорили яснее ясного: доносить необходимо, этого требует безопасность государства, долг подданного. Этой идеей пронизаны все законодательство и вся сыскная практика.

К мукам человека, который, услышав «непристойные слова», колебался: «Донести или нет?» – присоединялось чувство страха при мысли о неизбежных при разбирательстве его доноса допросах и пытках. Каждый донос был сопряжен с огромным риском. Опытный, хитрый доносчик никогда не забывал, что после извета ему нужно еще доказать обвинение, «довести» его с помощью показаний свидетелей. Многие изветчики не представляли, как трудно это сделать. Только хладнокровные и «пронырливые» люди умели в нужном месте «подстелить соломки».

В 1702 году в Нежине капитан Маркел Ширяев донес на старца Германа. Оказалось, что как-то раз Герман обратился к капитану на базаре с «непристойными словами» о Петре I, даже увел офицера в укромный уголок, где описал весь ужас положения России, которой управляет «подмененный царь» – немец. Вместо того чтобы кричать «Караул!», хватать Германа (разговор был один на один) и тащить на съезжую, а потом сидеть в тюрьме и «перепробоваться» с

фанатичным старцем, Ширяев пошел иным путем. Он притворился, что увлечен словами проповедника, узнал его адрес и на другой день пришел к Герману в гости. Он вызвал старца на улицу, а пока они прогуливались, двое солдат – подчиненных Ширяева – незаметно пробрались в дом старца и спрятались за печкой. Когда хозяин и гость вошли в избу, то Ширяев, якобы для того чтобы «взять в розум» сказанное старцем на базаре, попросил того повторить «непристойные слова». Сделано это было исключительно для ушей запечных свидетелей. И только после этой операции Ширяев донес на старца «куда надлежит».

Люди страшно боялись доносов и доносчиков. Тот, кто опасался доноса или знал наверняка, что на него донесут, стремился предотвратить извет во что бы то ни стало. Проще всего было подкупить возможного изветчика, умиловить его подарками и деньгами.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕД

В 1734 году брянский помещик Юшков, сидя за столом с портным Денисом Бушуевым, высказался весьма критично об императрице Анне. Бушуев решил ехать в Петербург и донести на хозяина застолья. Чего только ни делал Юшков, чтобы Бушуев отказался от своего верноподданнического порыва: сажал его под арест, приказывал бить батогами, поил водкой, уговаривал, угощал обедом, предлагал помириться. В конце концов Юшков вызвал дворовых и приказал посадить Бушуева «в холопью светлицу», но портной «вырвался у оных людей из рук и, прибежав оной светлицы к дверям и ухватя быв-шаго у того Юшкова во оное время... прикащика Ивана Самойлова, при... крестьянине

Звяге, и при людех того Юшкова (следует список дворовых. – Е. А.) говорил, что он, Бушуев, знает за оным Юшковым некоторые поносные слова, касающиеся к чести Ея и. в. и подтверждал, чтоб оные Самойлов и Звяга слышали и дабы ево, Бушуева, не дали тому Юшкову убить».

Примечательно здесь то, что ни Самойлов, ни Звяга, ни другие холопы Юшкова не спешили поддержать Бушуева и не доносили властям о кричании им «Слова и дела». Еще несколько недель Бушуев прятался от Юшкова по имениям разных помещиков, которые также не доносили о происшедшем властям, пока наконец храбрый портняжка не добрался до Рославля и не донес на Юшкова воеводе. Тот арестовал Юшкова, Бушуева и свидетелей и выслал их в Петербург.

Знакомясь с десятками дел, начатых по доносам, нельзя не поражаться смелости одних, легкомыслию других, простодушию третьих – всех, кто произносил «непристойные слова». Конечно, психологический фон жизни общества XVIII века ныне восстановить сложно, но можно утверждать, что тогда, как и позже, люди страшно боялись политического сыска. Страх преследовал всех без исключения подданных русского государя. Они опасались попасть в тюрьму, дрожали от мысли, что их будут пытаться, они не хотели заживо сгнить в земляной яме, на каторге или в сибирской ссылке. Люди, конечно, знали, что доносчики всюду, но удержаться от «непристойных слов» не могли. Так уж устроена природа человека как общественного существа, которое всегда испытывает острую потребность высказаться, поспорить с другими людьми о своей жизни, о власти, обсудить

«политический момент», пересказать слух или вспомнить подходящий к случаю смешной анекдот. Доверять собеседнику, тем более симпатичному, делящему с тобой кусок хлеба и штоф водки, было вполне естественно даже в те опасные времена. Старообрядцы Варсонофий и Досифей, схваченные в 1722 году по доносу Дорофея Веселкова, говорили о нем своему попутчику Герасиму Зубову, что «их везут в Москву по доношению его, Дорофееву, мы-де, на душу [его] понадеялись и говорили ему спроста непристойные слова, и Зубов говорил, что им тех слов говорить было ненадобно». Естественно, что было немало таких, как Зубов, которые никому не доверяли и всегда держали язык за зубами, зная заранее, чем могут кончиться разговоры на запретные темы. Но все-таки больше было тех, кто об этом не думал, или, зная о всех опасностях, подстерегавших болтуна, не мог удержаться от разговоров о политике. По складу характера, темперамента такие люди не могли молчать, к тому же неизбежный спутник русского человека – вино – развязывал язык. Многие сыскные дела начинались с откровений за стопкой водки, стаканом браги, «покалом» венгерского.

Если оценить в совокупности все, что говорили люди о власти, монархии, династии, политическом моменте и за что они потом (по доносам) оказались в сыске, то можно утверждать, что общественное сознание того времени кажется очень, по-современному говоря, политизированным. Ни одно важное политическое событие не проходило мимо внимания дворян, горожан, крестьян порой самых глухих деревень. Темы, которые живо обсуждали люди, извечны: плохая власть, недостойные правители, слухи и сплетни об их происхождении, нравах и пороках.

Портной Иван Грязной в 1703 году донес на нескольких мужиков нижегородского уезда. Он подошел к крестьянам, когда они сидели, отдыхая после рабочего дня, и говорили о политике. Вот запись доноса: «И той деревни крестьяне Фотка Васильев с товарищами человек пять или с шесть, сидели на улице при вечере, и он-де Ивашко, пришед к ним, молвил: "Благоволите-де православные крестьяне подле своей милости сесть?" и они ему сказали: "Садись!" и он-де подле них сел. У них-де, у крестьян шла речь: "Бояре-де князь Федор Юрьевич Ромодановский, Тихон Никитич Стрешнев – изменники, завладели всем царством", а к чему у них шла речь, того [он] не ведает. Да те же крестьяне про государя говорили: "Какой-де он царь – вертопрах!" и Фотка-де учал Великого государя бранить матерно: "В рот-де его так, да эдак, какой-де он царь, он-де вор, крестопреступник, подменен из немец, царство свое отдал боярам и сам обосурманился, и пошел по ветру, в среды, и в пятки, и в посты ест мясо, пора-де его и на копыя, для того идут к Москве донские казаки"».

Подобные речи доморощенных политиков были слышны по всей стране – от Киева до Охотска, от Колы до Астрахани. Конечно, можно возразить, что в Тайную канцелярию люди попадали как раз не за то, что они хвалили государей, а за то, что их ругали. Но это не так. Как я уже говорил, всякое, даже благожелательное, но неофициальное высказывание о монархе вызывало подозрение власти, и употребление царева имени всуе преследовали как «непристойное слово» о государе. Но таких благожелательных высказываний известно крайне мало. По делам сыска видно, что люди осуждали политику власти, поведение монархов не только под воздействием винных паров, но и потому, что в



обществе, лишенном свобод, выразить свое несогласие с тем, что не нравится, можно было только пьяным криком, бесшабашным поступком, нелепым матерным словом, когда всего бояться становилось невмоготу.

Зная, что бывает с теми, кто говорит «непристойные слова», люди все равно думали, что их эта горькая чаша минует. Они не понимали, что шутят под носом у дракона. В 1722 году началось дело по доносу школяра Григория Митрофанова на старца Иону и четверых своих приятелей, которые говорили «непристойные слова» о Петре I. Из дела видно, что задолго до явки «куда надлежит» Митрофанов угрожал своим приятелям доносом. В отместку они его избили, обещая еще добавить, если он действительно соберется на них донести. Издеваясь, они кричали ему вслед: «Ты-то, доносчик! погоди, уж мы тебя, доносчика, в школе розгами побьем и из школы вон выгоним». При этом юноши не понимали, насколько дело серьезно: в тот же день раздосадованный Митрофанов, встретив на дороге какого-то майора, кричал «Слово и дело», и через несколько часов все шестеро сидели в тюрьме, а ноги их уже заложили в колодки.

С помощью законодательства и полицейской практики государство создало такие условия, при которых подданный не мог не доносить без риска потерять свободу и голову, поэтому «извещали» тысячи людей. Система всеобщего доносительства поднимала со дна человеческих душ все самое худшее, грязное. Дела тайного сыска свидетельствуют о растлении людей самим государством. Общественная атмосфера была пронизана стойкими миазмами доносительства, доносчиком мог быть каждый, и все боялись друг друга.

Страх стать жертвой доноса был так силен, что приводил даже к доносам... на самих себя. В 1762 году был арестован солдатский сын Никита Алексеев, который явился автором оригинального самоизвета. Он «на себя показывал, что будто бы он, будучи пьяным, в уме своем поносил блаженные и вечной славы достойныя памяти государыню императрицу Елизавету Петровну». По-видимому, следствие оказалось в некотором затруднении и потребовало от Алексеева уточнений. Но он лишь прибавил, что кроме императрицы еще и Бога бранил, «а какими словами – не упомнит». А именно последнее и интересовало следователей больше всего – в этом деле свидетелей, которые бы «помогли» вспомнить «непристойные слова», быть не могло. Однако так как за Алексеевым числились и другие грехи, разбираться в этом странном самоговоре в Тайной канцелярии не стали – преступника высекли кнутом и сослали в Сибирь.

# «ЦАРЕВ ГНЕВ – ПОСОЛ СМЕРТИ»

Как вели себя люди накануне ареста? Что они чувствовали, о чем думали? О простолюдинах, не оставивших воспоминаний, сказать что-либо определенное трудно. Конечно, они боялись ареста, если оказывались участниками или свидетелями разговора, в котором прозвучали «непристойные слова». Страх давил всех и каждого. Человек маялся в ожидании ареста, не спал ночами. Но для многих арест становился полной неожиданностью – ведь они говорили «непристойные слова» без задней мысли, «спроста», в кругу близких людей и не предполагали, что уже есть на них извет и приближается их роковой час. Аресту же человека известного, знатного предшествовали события и действия, которые принято с древних времен называть опалой.

Опала – это гнев, немилость, нерасположение государя к своему подданному. Именно опала становилась часто исходным толчком для возбуждения политического дела, истинной причиной гонений, репрессий и даже террора. Недаром существовала выразительная пословица: «Царев гнев – посол смерти». Подчас царский гнев обрушивался на головы подданных внезапно. Но все же чаще опала надвигалась медленно.

Судьба попавших в немилость людей бывала решена еще тогда, когда они даже не знали об опале. Обычно повод для гонений на сановника искали тайно от него. Было несколько традиционных предлогов, поводов,

чтобы начать «опальное дело». Как правило, жертвы опалы состояли на службе, поэтому власти старались найти их служебные огрехи и злоупотребления. Поводом для опалы А. П. Волынского стало поднятое из архива дело о его злоупотреблениях в бытность казанским губернатором. Как известно, Волынский был отъявленный вор, самодур и взяточник, но в 1731 году императрица Анна Иоанновна простила ему все «от него самого объявленные» взятки. Почти десять лет спустя старые дела пригодились сыску.



*Заседание кабинета А. П. Волынского*

Обвинение (подчас голословное) в измене, в попытках связаться с заграницей было также весьма распространенным предлогом для опалы. Так, чтобы окончательно утопить сосланного в свое имение, но еще опасного власти А. Д. Меншикова, верховники осенью 1727 года использовали депешу Николая Головина –

российского посла в Стокгольме. Он сообщил, что, по слухам, Меншиков вошел в тайную сделку со шведами и собирался якобы вернуть им завоевания Петра I. Тотчас верховники нарядили следствие, и начался новый цикл допросов Меншикова, после чего светлейшего сослали в Сибирь. Удачным поводом для опалы всегда являлся донос, о чем сказано выше. Можно проследить несколько этапов опалы.

Запрет ездить ко двору свидетельствовал о начале опалы. Это был старинный обычай запрещать государеву холопу, вызвавшему гнев повелителя, «видеть государевы очи». Нарушить этот запрет значило оскорбить честь государя. В 1740 году с запрета ездить ко двору Анны Иоанновны началась опала кабинет-министра А. П. Волынского. С запрета входить в ранее всегда для него открытые апартаменты императрицы Елизаветы началась в 1748 году опала лейб-медика И. Г. Лестока.

Человек, почувствовавший приближение опалы, увидевший несомненные ее симптомы, оказывался в ужасном, неестественном для себя положении. Мир вокруг него сразу менялся. Как тут не вспомнить пушкинское: Не смерть страшна. Страшна твоя немилость...

Узнав о запрете ездить ко двору, Волынский впал в унынье. Приятели и знакомые стали избегать его гостеприимный дом. По городу поползли слухи, что на друзей Волынского «кладены были метки». Лишь несколько человек остались верны дружбе с ним и пытались как-то его приободрить.

Секретарь великого князя Александра Павловича майор Массой, который много лет жил и служил в России, был в 1796 году выслан за границу вместе со своим старшим братом – полковником русской армии. В своих мемуарах Массон-младший подробно описывает состояние опалы, в котором он внезапно оказался. Массой был свой человек при дворе, водил знакомство с первейшими вельможами империи, имел много влиятельных друзей и покровителей. Дома его ждала молодая, красивая жена и новорожденная дочь. И вдруг все переменялось. Конечно, перемены эти зрели давно. Массой и не подозревал, что недавно взошедший на престол император Павел I с давних пор недолго любил секретаря своего сына. 13 декабря 1796 года утром Массой собирался во дворец, но к нему внезапно вошел гвардейский офицер и приказал следовать к генерал-директору полиции Н. П. Архарову. Причину вызова к начальнику полиции ему не объяснили, в приемной Архарова вскоре оказался и брат мемуариста, Архаров отсутствовал. Так в тревоге и томлении братья просидели до позднего вечера. Когда наконец явился Архаров, на недоуменные вопросы Массонов он отделался какими-то общими фразами, ссылаясь на волю государя, и приказал им явиться завтра. Расправа же последовала через несколько дней.

Оказавшись в подобном странном положении, человек начинал метаться и искать содействия у друзей, знакомых, сослуживцев. В 1727 году А. Д. Меншиков, почувствовав близость опалы, пытался избежать гибели. Он безуспешно искал встречи с императором Петром II, писал просительные письма вице-канцлеру А. И. Остерману (который втайне и подготовил крушение всемогущего фаворита). Когда же 8 сентября 1727 года

светлейшему объявили домашний арест, то он подал жалобную челобитную царю, прося освободить его из-под ареста, «памятуя речение Христа-Спасителя: да не зайдет солнце во гневе Вашем». Потом он послал во дворец свою дочь Марию – невесту царя, а также жену, написал письма сестре царя Наталье Алексеевне, своим коллегам-верховникам. Да и позже он неустанно слал знакомым письма с просьбой о помощи. Стоит ли говорить, что никто ему не помог. Почувствовав приближение опалы, устремился по «благодетелям» и Артемий Волынский. Временщик Бирон – главный его погубитель – кабинет-министра не принял, а фельдмаршал Миних в помощи отказал.

Каждый думал о себе, и все, как прокаженного, сторонились вчерашнего счастливец. Поддерживать опального человека, ходатайствовать за него, даже встречаться с ним считалось крайне опасным. Для этого требовалось большое мужество и даже самопожертвование, на которые царедворцы в большинстве своем способны не были. К опальному Волынскому по-прежнему ездил только граф Платон Мусин-Пушкин. Потом в Тайной канцелярии его с пристрастием допрашивали: зачем он, зная об опале кабинет-министра, к нему все-таки ездил, «не для заговора ли»? Простые человеческие чувства – дружба, верность, сочувствие как возможные мотивы поведения человека – сыску всегда были непонятны.

Тревожные мысли терзали человека, над головой которого нависла гроза царского гнева. Он напряженно анализировал все обстоятельства своей жизни, перебирал в уме тех, кто мог бы ему навредить, припоминал каждое свое неосторожно сказанное слово,

но мог до конца своей жизни так и не узнать истинную причину государева гнева.

Домашний арест обычно становился следующей стадией опалы. К дому опального ставили караул, который не позволял хозяину выходить из дома и принимать гостей. 16 апреля 1740 года в доме Волынского заколотили все окна, заперли и опечатали все комнаты, кроме одной. В ней и держали опального кабинет-министра, как в камере тюрьмы, при свечах. Все это делалось для того, чтобы арестант «отнюдь ни с кем сообщения иметь... не мог и для того в горнице его быть безотлучно и безвыходно двум солдатам с ружьем попеременно». Дети Волынского находились в том же доме, но отдельно от отца. К ним был приставлен особый караул.

Посаженного под домашний арест канцлера А. П. Бестужева-Рюмина «раздели донага и отняли у него бритвы, ножички, ножи, ножницы, иголки и булавки... Четыре гренадера с примкнутыми штыками стояли безотходно у его кровати, которой завесы были открыты». Следователи приезжали в дом арестованного и допрашивали его. Иногда домашний арест длился несколько дней, но бывало и по-другому. Бестужев, к примеру, маялся под «крепким караулом» четырех гренадер целых четырнадцать месяцев. После домашнего ареста чаще всего следовала ссылка или перевод в крепость, в тюрьму. Впрочем, попадали туда и сразу, домашний арест не был обязательной стадией опалы.

Внезапность считалась главным условием ареста. Преступника надо было ошеломить, деморализовать, не дать ему времени подготовиться к аресту и следствию.



На внезапности было построено задание, которое Петр I дал Г. Г. Скорнякову-Писареву 10 февраля 1718 года. Ему предстояло нагрянуть в суздальский Спасо-Покровский монастырь, зайти в келью бывшей царицы Евдокии (старицы Елены) и, арестовав ее, произвести обыск и захватить все ее бумаги и письма. Точно так же хватали и других соучастников царевича Алексея.

Бестужева-Рюмина арестовали по обвинению в заговоре 25 февраля 1758 года. Он был болен, но именем императрицы Елизаветы ему предписали прибыть во дворец. «Приближаясь к подъезду дворца, он изумился, когда увидел, что гвардейский караул (обыкновенно отдававший ему честь) окружил его карету... Майор гвардии арестовал его как государственного преступника и сел с ним в карету, чтобы отвести его домой под стражею. Каково было его удивление, когда он увидел дом свой занятый четырьмя батальонами (думаю, что это преувеличение. – Е. Л.), часовых у дверей своего кабинета, жену и семейство в окопах, а на бумагах своих печати». В 1762 году так же внезапно был арестован Ростовский архиепископ Арсений Мациевич. К нему ночью нагрянули посланные сыском гвардейцы. 13 апреля 1792 года Екатерина II предписала князю А. А. Прозоровскому: «Повелеваем вам, выбрав... людей верных, надежных и исправных, послать их нечаянно (неожиданно. – Е. А.) к помянутому Новикову как в московский его дом, так и в деревню, и в обоих сих местах приказать им прилежно обыскать...» Так началось знаменитое дело Н. И. Новикова.

Обманный арест под видом приглашения в гости, на дружескую пирушку, под предлогом срочного вызова на службу также применялся нередко. Такой арест описывает в мемуарах Григорий Винский. Мемуарист

сидел дома, когда «в 9 вечера послышался стук в передней». «Я, – пишет Винский, – пошел осведомиться, кто тут? Человек, стоявший в тени, берет мою руку и говорит тихо: "Чтоб не испугать Елеонору Карловну (жену Винского. – Е. А.), я скажу, что заехал звать тебя на вечеринку – потом громко: – А я тебя везде искал, был в двух трактирах, да вздумал и сюда заехать, чтоб взять тебя к Ульрихше"». Так назывался известный петербургский трактир. Оказалось, что за Винским приехал знакомый полицейский офицер, иногда бывавший у него в гостях.

«Жена моя, – продолжает Винский, – встревоженная, удерживает меня: "Как, теперь поздно – извозчика не найдешь". Офицер отвечает: "У меня карета, пожалуй, проворнее поедем". – "Надобно одеваться?" – "Что за одеванье? Довольно сюртука!" И так торопливо накинувши сюртук, обнявши милую невинность, вышел я на улицу, где увидел карету, четвернею запряженную, и двух верховых. Спрашивать было не о чем...»

Обманные вызовы из-за границы также практиковались сыском. Особенно знаменита история задержания «принцессы Владимирской» («княжны Таракановой»). По приказу Екатерины II ее обманом вывез из Италии находившийся в Ливорно с эскадрой Алексей Орлов. Он прикинулся влюбленным в «принцессу». Позже в отчете Орлов писал Екатерине II: «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, милостивая государыня, что

я оное исполнил бы, лишь только достичь бы до того, чтобы волю Вашего величества исполнить».



*А. Г. Орлов*

Орлов заманил самозванку и ее свиту на корабль «Три иерарха», стоявший на рейде Ливорно. Здесь ее арестовали, а затем отвезли в Петербург. При этом Орлов послал ей якобы тайную записку, в которой писал, что он тоже арестован, просил возлюбленную потерпеть, обещал при случае освободить. Вся эта ложь нужна была, чтобы самозванка не умерла с горя и была доставлена в Россию в целости и сохранности. После ухода корабля Орлов вернулся на берег и написал Екатерине, что самозванка «по сие время все еще верит, что не я ее арестовал».

Стремление сыскных чиновников обмануть жертву объяснялось их желанием не поднимать лишнего шума, не вызвать паники среди родных и соседей. Опасались и возможной при аресте потасовки. В 1722 году офицер, посланный арестовать коменданта Нарыма Ф. Ф. Пушкина, столкнулся с вооруженным сопротивлением, и в завязавшейся стычке даже пролилась кровь. В 1739 году, когда пришли арестовывать белгородского губернского секретаря Семена Муратова, он заперся в доме и «людям своим кричал, чтобы били в колокола». В 1740 году при аресте отчаянно сопротивлялись герцог Бирон и его брат Густав. Солдатам пришлось «успокаивать» их тумаками.

Естественной реакцией людей, которые узнавали о предстоящем аресте, чувствовали его приближение или уже были схвачены, было желание бежать как можно дальше, скрыться от преследования. Когда в феврале 1718 года Г. Г. Скорняков-Писарев внезапно нагрянул к бывшей царице Евдокии в Покровский монастырь, запер ворота монастыря и стал хватать всех находившихся там людей, протодьякон Дмитрий Федоров с женою «через ограду ушел». Можно догадаться, какая нечеловеческая сила перенесла протодьякона и его жену через высокую каменную стену монастыря. Этой силой был Великий государственный страх, ужас перед застенками Преображенского приказа.



*Арест Э. И. Бирона*

Была еще одна, весьма важная, причина для внезапного ареста: о происшедшем как можно дольше не должны были узнать неизвестные еще следствию сообщники преступника. Нельзя было допустить, чтобы он как-то предупредил их об опасности. Внезапность ареста, суровое обращение при этом с арестантом, быстрый и суровый допрос, да еще перед лицом высокого начальства, а то и государя – все это обычно выбивало людей из седла, и они терялись.

Слежка – наружное наблюдение – велась за некоторыми подозреваемыми задолго до ареста. Об этом сообщал голландский дипломат де Би. Его переписка с Гаагой летом 1718 года, во время дела царевича Алексея, перлюстрировалась, а за самим дипломатом следили. Де Би впоследствии писал: «Я узнал от слуг моих, что... в течение трех недель, с самого раннего утра,

безотлучно находилось в саду моем неизвестное лицо, которое записывало всех, приходивших ко мне... я ни разу не выходил из дому без того, чтобы за мной не следили издали двое солдат, чтобы видеть, с кем я буду разговаривать дорогою». Слежка за иностранцами и верноподданными была делом обычным в России с незапамятных времен. Шпионами были, как правило, люди из полиции, переодетые солдаты, мелкие чиновники, торговцы, мелкие преступники, которых выпустили, чтобы они таким образом «отрабатывали» свои прегрешения перед законом.

В документах XVIII века часто встречается выражение «под рукой», что означает секретный сбор сведений. За цесаревной Елизаветой Петровной, которую императрица Анна Иоанновна, а потом и правительница Анна Леопольдовна опасались как возможной претендентки на престол, был установлен постоянный тайный присмотр. После того как Елизавета оправдала-таки опасения своих предшественниц и стала императрицей, фельдмаршала Миниха обвинили в том, что он шпионил за цесаревной. Оправдываясь на следствии, он говорил, что организовать слежку за Елизаветой приказала ему еще в 1731 году сама императрица Анна. Возле дворца цесаревны установили особый тайный пост – «безвестный караул». По приказу Миниха шпионы нанимали извозчиков, чтобы всюду следовать за экипажем Елизаветы Петровны. По-видимому, власти внедрили шпионов-соглядатаев и в число слуг цесаревны. Когда весной 1741 года возникла опасность сговора Елизаветы с Минихом, то и за домом фельдмаршала установили тайный надзор. Сведения о подготовке дворцового переворота правительство Анны Леопольдовны получало из самых различных источников,

как из-за границы, так и в самом Петербурге. Ни одно тайное свидание заговорщиков не ускользало от секретных агентов. Однако Анна Леопольдовна не использовала их донесения с пользой для себя.

К услугам шпионов постоянно прибегали и другие правители России. Шпионов посылали в кабаки выведывать суждения народа о власти и хватать для острастки всякого, кто позволит себе критику в адрес правителей. Сразу после установления регентства Бирона осенью 1740 года французский посол Шетарди сообщал в Париж: «Кабаки, закрытые в продолжение многих дней, открыты. Шпионы, которых там держат, хватают и уводят в темницу всех, кто, забывшись или в опьянении, осмелится произнести малейший намек» о правлении Бирона. С помощью шпионов, которые, по тогдашнему выражению, «лежали на ухе» у герцога Бирона, он узнавал многие придворные тайны, мнение армии и жителей Петербурга о его регентстве. Впрочем, помогло это Бирону, как известно, мало – он был лишен власти и сослан.

Перлюстрация почты, в том числе дипломатической, существовала с петровских времен. В июле 1718 года голландского резидента де Би вызвали в Коллегию иностранных дел. Там под угрозой ареста его допросили канцлер Г. И. Головкин и вице-канцлер П. П. Шафиров о содержании и источниках отправленных им в Гаагу депеш. Оказалось, что все его депеши в Голландию вскрывали на петербургской почте и переводили на русский язык для Головкина. В то время как де Би допрашивали в коллегии, секретарь Федор Веселовский с солдатами приехал в его дом и арестовал все его бумаги.

По его приказу солдаты взломали замки в дверях кабинета и выпотрошили секретер голландского дипломата.

Перлюстрация писем и обыски домов иностранных дипломатов не были редкостью в России, как, впрочем, и в других странах. Это было одним из распространенных способов добывания информации в политической борьбе. По приказу канцлера А. П. Бестужева-Рюмина перлюстрировали все письма французского посланника маркиза Шетарди. Из них составили выписки, которыми страшно оскорбилась императрица Елизавета. В июне 1744 года она приказала выслать своего ранее ей весьма близкого друга из России за 24 часа. К перлюстрации дипломатической переписки часто прибегали и во времена Екатерины II. Императрица с большим интересом читала все, что о ней и ее правлении думают иностранные посланники.





*Маркиз де ла Шетурне*

Если власти не стеснялись распечатывать дипломатическую почту и обыскивать дипломатов, то естественно, что с собственными подданными церемонились еще меньше. Отметим, что интерес к личной переписке был вызван не только попечением о государственной безопасности. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна любили совать нос в интимные тайны своих подданных. Из заурядного любопытства читала чужую переписку и Екатерина II.

Провокация – детище департамента полиции второй половины XIX века – использовалась и раньше. В 1718 году Петру I донесли, что тихвинский архимандрит по ночам «певал молебны тайно» перед образом Богородицы (надо понимать – знаменитой Тихвинской

Божией матери). Царь приказал доносчику Каблукову пойти к святому отцу и просить его как бы от себя, чтобы «пред помянутым образом Пресвятыя Богородицы отпеть ему молебен тайно ж». И когда архимандрит начал ночную службу, тут-то и нагрянул сам царь, который забрал сам образ и архимандрита с его людьми в Тайную канцелярию. Впрочем, материалы следствия не помогают понять, в чем же состояла суть ночных бдений – то ли архимандрит служил панихиды по царевичу Алексею, то ли считал, что ночная молитва лучше доходит до Богородицы.

Захват преступника с поличным являлся важным моментом ареста. При аресте старообрядцев и других противников официальной церкви власти стремились прежде всего захватить старинные рукописные книги и «тетрадки». Они служили самой надежной уликой для обвинения в расколе. При аресте колдунов забирали прежде всего подозрительные предметы: сушеные травы, кости, корни и т. п. Особо важным поличным в то время считались письма, записки, деловые бумаги. Смертельно опасно было хранить различные «причинные письма» – запрещенные бумаги и листовки, бывшие причиной мятежей, «прелестные письма» с призывом к сопротивлению или бунту. В XVIII веке было небезопасно вообще писать что-либо вроде дневника и тем более переписываться: за письмами шла настоящая охота. Кроме того, в почтовой переписке всегда видели способ связи шпионов.

Тщательно изучали следователи и отобранные при обыске книги, даже разрешенные к чтению и хранению, конспекты, выписки. А затем владельца книг вопрошали:

зачем он читал эти книги? для чего делал выписки? что значат пометы на полях? Поэтому нет сомнений, что все, кто ждал ареста, старались избавиться от своего архива.

Перед арестом в 1740 году жег в камине свои бумаги и письма Артемий Волынский. В 1748 году по ночам перебирал и уничтожал свои бумаги и почувствовавший близость опалы лейб-медик И. Г. Лесток. Жег документы или передавал их друзьям накануне ареста в 1757 году и погубивший ранее Лестока канцлер А. П. Бестужев-Рюмин. Но не всем это удавалось, и тогда любая строчка, невинные личные, интимные записи, глухие пометки становились серьезнейшей уликой «для изыскания истины», вели людей к смерти на эшафоте и на каторгу.

Итак, наш герой выслежен, спровоцирован, арестован, и его нужно препроводить в узилище, по-современному говоря – этапировать. В столице с доставкой «куда следует» арестованных преступников особых проблем не было – как уже сказано выше, за нужным человеком из Тайной канцелярии посылали на извозчике гвардейского или гарнизонного офицера с двумя-тремя солдатами, которые и привозили его в Петропавловскую крепость. Почти так же поступали с людьми познатнее, только для них нанимали закрытую карету да усиливали конвой.

Намного сложнее было доставить арестанта из провинции. Инструкции требовали от охраны соблюдения нескольких важных условий. Везти преступника нужно было быстро («с великою борзостью»), тайно. Кроме того, конвою нужно было не допустить его контактов с окружающими, переписку, упредить побег, самоубийство,

не дать перехватить арестанта возможным сообщникам. За благополучную доставку арестованного отвечал начальник охраны – при побеге преступника его ждали разжалование, пытки и каторга. По инструкции арестанта надлежало сразу же заковать в кандалы и так везти в столицу «под крепким караулом». Наиболее надежным средством от «утечки» в дороге считались «колоды», или «колодки» (отсюда столь распространенное название узников тогдашних тюрем – «колодники»).

Однако колоды были очень неудобны и тяжелы, поэтому чаще прибегали к ручным и ножным кандалам. Везли арестанта обычно либо в открытой телеге, либо в закрытом возке. Для людей знатных находили вместительные кареты – берлины.

Перевозку знатных арестантов организовывали, естественно, тщательнее, окружали особой секретностью. Так, в полной тайне везли в 1744 году семью свергнутого Елизаветой императора Ивана Антоновича (Брауншвейгскую фамилию) на север, вначале предположительно на Соловки. Никто из арестованных не должен был знать, куда его переправляют. О конечном пункте не всегда знала даже охрана. В город конвой с арестантом въезжал ночью, под покровом темноты. Доставив преступника в столицу, начальник конвоя сразу же сдавал его под расписку либо коменданту Петропавловской крепости, либо чиновникам Тайной канцелярии.

Арестованного следовало привезти к месту назначения «в невредном сохранении», поэтому охрана должна была заботиться о его здоровье и еде. Конвою следовало особенно внимательно следить, чтобы их поднадзорный не предпринимал никаких попыток

самоубийства. Зная, что их ждут в пыточной камере страшные муки, иные арестанты пытались любыми способами покончить с собой. В 1739 году брат князя И. А. Долгорукого Александр бритвой вспорол себе живот, но был спасен охраной, а вызванный врач зашил рану. В 1720-х годах старообрядцу Петру Байгичеву удалось подкупить судью, и он дал возможность узнику зарезаться.

Побеги арестантов все же случались. В мае 1736 года чуть было не сбежала из тобольской тюрьмы старообрядческая старица Евпраксия. По совету братьев и сестер с воли старица в течение семи дней не пила и не ела, так что местный полковой лекарь (неподкупленный!) зафиксировал смерть колодницы. Ее обмыли, положили в гроб (специально надколотый, чтобы она в нем не задохнулась) и затем вывезли за город на кладбище. Поднятая там из гроба своими товарищами, она пришла в себя, переоделась. Но вскоре ее случайно обнаружил и арестовал гулявший вдоль Иртыша драгун.



*Привал арестантов*

Такие побеги были загодя тщательно спланированы. Так, в декабре 1736 года старообрядцы подготовили побег из Тобольского кремля Ефрема Сибиряка. Когда его вели по кремлю, он вырвался от охранника, прямо в ножных и ручных кандалах, вылез в заранее открытую, но тщательно замаскированную его сообщниками бойницу и затем скатился по снегу с высокого кремлевского холма туда, где его уже ждали сани, которые тотчас умчались из Тобольска.

Бежали арестанты и с дороги. Зимой 1733 года на конвой, который сопровождал старообрядческого старца Антония, было совершено внезапное нападение. Как показали конвойные, «нагнали их со стороны незнаемо какие люди, три человека... в одних санях, захватили у них вперед дорогу и, скача с саней, один с дубиной ударил крестьянина, с которым ехал Антоний, от чего

крестьянин упал, а другого, рагатину держа, над ним говорил: "ужели-де станешь кричать, то-де заколю!", а старца Антония, выняв из саней, посадили они в сани к себе скованного и повезли в сторону, а куда – неизвестно». Добравшись до ближайшего жилья, охранники подняли тревогу и организовали погоню, «только ничего не нашли»: старец навсегда ускользнул от инквизиции.

Часто арестантам удавалось «утечь» именно с дороги, воспользовавшись малочисленностью охраны, усталостью, беззаботностью и корыстолюбием конвойных солдат. Как это происходило, видно из протокола 1752 года о побеге арестанта из партии, следовавшей в Калугу. Все конвоируемые были закованы в кандалы, однако один из них «на большой дороге, в лесу, разобувшись, скинув потихоньку кандалы и соскоча с телеги, ушел в лес, а часовой не видал, понеже он сидел к нему спиною с обнаженной шпагою».

Поиски беглого государственного преступника были довольно хорошо отлажены. Как только становилось известно о побеге, во все местные учреждения из центра рассылали грамоты с описанием примет преступника и требованием его задержать. В «погонных грамотах» (от слова «погоня») отмечались главные приметы преступника: рост, полнота, цвет глаз, волосы на голове и в бороде, форма и величина бороды, форма бровей, носа, форма и цвет лица, особые приметы (шрамы и т. п.), манера говорить, возраст, вид и цвет одежды, за кого себя выдает, с кем едет и т. д. Вот пример: «Таскающийся по миру бродяга Кондратей, сказывающийся киевским затворником, росту средняго,

лицем бел, нос острой, волосы светлорусые, пустобород, отроду ему около тридцати пяти лет, острижен по-крестьянски и ходит в обыкновенном крестьянском одеянии, а притом он и скопец». Таким был в 1775 году словесный портрет знаменитого основателя скопческого движения Кондратия Селиванова. По этим довольно выразительно указанным приметам поймать беглого преступника было возможно. Знаменитая сцена в корчме на литовской границе из пушкинского «Бориса Годунова» вполне исторична и достоверна.

Кроме того, беглых преступников ловили особые агенты – сыщики. Для поисков бежавшего перед арестом проповедника Григория Талицкого летом 1700 года сыщиков из Преображенского приказа разослали по всей стране. За его поимку была обещана колоссальная по тем временам награда – 500 рублей. Талицкого поймали уже через два месяца. Больше пришлось повозиться с поисками другого беглого преступника – стрельца Тимофея Волоха. Необыкновенную энергию в его поимке проявил сам Ф. Ю. Ромодановский. Из дела видно, что всеильный глава Преображенского приказа был уязвлен побегом Волоха и сам многократно допрашивал его родственников, сам осматривал всех задержанных подозрительных людей. И в конце концов, через два года, Ромодановский все-таки достал, словно из-под земли, дерзкого стрельца. Его удалось захватить на Волге, в Саратове.

Скрыться в городе (кроме Москвы, изобиловавшей притонами) или в деревне беглецу было довольно сложно. В сельской местности появление каждого нового человека становилось заметным событием, чужак сразу попадал на заметку начальству. В людных городах была своя система контроля. В Петербурге каждый домохозяин



обязывался сообщать в полицию о своих постояльцах, по ночам всякое хождение по городу было невозможно из-за караулов и постов.

В петровское время внутри страны установили довольно жесткий полицейский режим. С 1724 года запрещалось выезжать без паспорта из своей деревни дальше, чем на 30 верст. Все часовые на заставах и стоявшие по деревням солдаты тотчас хватали «беспашпортных» людей. Действовать так им предписывали инструкции. В каждом беглом подозревали преступника. А если у задержанного находили «знаки» – следы наказания кнутом, клеймами или щипцами, разговор с ним был короток, что бы арестованный ни говорил в свое оправдание.

Бежать на Урал и в Сибирь в одиночку было очень трудно. Для успешного побега через «Камень» – Уральские горы – нужен был опытный проводник. По дороге в Сибирь власти зорко следили за «шатающимися» беглыми и гулящими. В воротах городов и острогов стояла стража, проверяя каждого пешего и конного. Бежать на юг или юго-восток, к донским, яицким казакам нужно было по рекам, переправляться предстояло через броды и перевозы, кишевшие шпионами. Опасно было идти и по открытой степи, где беглеца легко замечали разъезды пограничной стражи. Поэтому-то беглые на Дон стремились пристроиться к возвращающимся из России казакам – в одиночку пересечь или обойти все заставы в степи было непросто. Почти всюду до беглого дотягивались длинные руки власти. Одним словом, велика Россия, а бежать некуда!

Бежать за границу было также непросто. Беглецу предстояло быстро, не мешкая, опережая разосланные во

все концы грамоты с описанием его примет, добраться до западной границы (польской или шведской) и перейти ее. Без подорожной для передвижения внутри страны и без заграничного паспорта сделать это было почти невозможно. Даже сам царь Петр I при выезде из столицы получал подорожную. Поэтому власти, послав сыщиков и нарочных с грамотами о поимке беглеца, успевали предупредить о нем местные власти, пограничную стражу и даже посольства России за рубежом. Добыть же паспорт беглецу без связей было нереально. С начала XVIII века, когда побеги крестьян за границу и на Дон резко возросли, власти постоянно усиливали наблюдение как за разрешенными выездом и въездом, так и за нелегальным переходом рубежа, что, как уже сказано, считалось изменой. Вдоль польской границы, куда бежали сотни тысяч людей, приходилось размещать целые полки, устанавливать густую цепь застав. Чтобы нелегально перейти границу, нужно было хорошо знать местность или брать с собой проводников из приграничных жителей, которые требовали денег, и немалых, а порой и выдавали беглеца пограничной страже.



*Паспорт П. Лефорта, подписанный Петром I*

Даже оказавшись за границей, беглец, особенно знатный, не мог быть спокоен. Русские агенты всюду его разыскивали, а Коллегия иностранных дел рассылала официальные ноты о выдаче беглого подданного. Особенно хорошо работа русской агентуры видна в деле царевича Алексея, который инкогнито бежал в 1717 году по дороге из России в Данию и укрылся во владениях австрийского императора. И тем не менее его убежище было раскрыто русскими агентами во главе с П. А. Толстым, который угрозами и ложными обещаниями вынудил сына царя вернуться в Россию.

Знатный беглец не без основания опасался не только выдачи его в Россию, но и попыток выкрасть его или убить. Поэтому становится понятно поведение русских дипломатов – братьев Авраама и Федора Веселовских, которые, не желая страдать за близость с

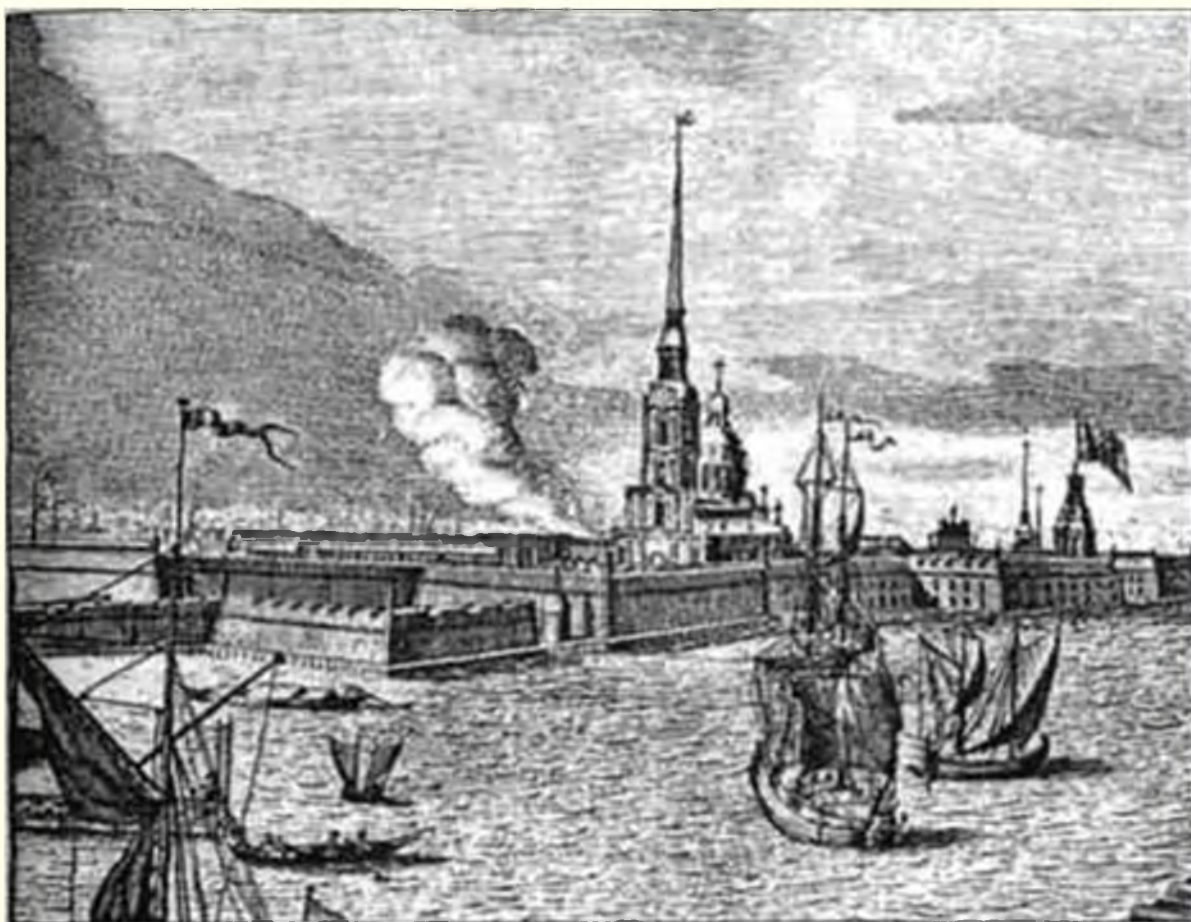
опальным царевичем Алексеем, остались за границей и сделали все, чтобы там «раствориться», исчезнуть. Первым скрылся («пропал безвестно») Авраам Веселовский. В 1720 году Федор Веселовский – русский посланник в Англии – получил указ немедленно прибыть в Копенгаген к русскому посланнику А. П. Бестужеву-Рюмину. Но в Данию Веселовский не поехал и из Марбурга написал Бестужеву: «Очевидно вижу я, что отзыв мой от сего двора (английского. – Е. А.) и посылка в Копенгаген ни для какой причины, ниже в иное намерение чинится токмо для моего брата Аврама, за которого определен быть страдателем, и вижу явно, что намерение положено по прибытии моем в Копенгаген бросить меня на корабль и отвезти в С.-Петербург и чрез жестокое и страдательное истязание о брате моем, хотя сведом или не сведом, спрашивать. Ныне, государь мой, откровенно объявляю, что страх сей видимой и бесконечной моей беды привел меня в такое крайнее отчаяние, что я, отрекшись от всех благополучей сего миру, принял резолюцию ретироваться в такой край света, где обо мне ни памяти, ни слуху не будет, и таким образом dokonчаю последние бещастные дни живота моего, хотя в крайнем убожестве и мизерии (нищете. – Е. А.), но [со] спокойною совестью и без страдания».

Тем временем Петр I рвал и метал, он требовал, чтоб братьев достали хоть из-под земли и привезли в Россию. Для того чтобы поймать их, была создана специальная группа агентов. Ей удалось выследить Авраама Веселовского под Франкфуртом-на-Майне. За операцией следил сам Петр I. Он приказал захватить Веселовского так, чтобы не вызвать подозрения немецких властей. Предполагалось обвинить беглеца якобы в неуплате им крупного долга и на этом основании

задержать. Но Веселовский счастливо избежал расставленных ему ловушек и укрылся в Швейцарии. Федор Веселовский вернулся в Россию лишь при Елизавете Петровне в 1743 году, Авраам же остался за границей навсегда. Согласно легенде, уже будучи глубоким стариком (он умер в 1782 году), он не мог без страха проходить мимо висевшего на стене портрета Петра Великого, длина рук которого ему была хорошо известна.

# «РУССКАЯ БАСТИЛИЯ» НА ЗАЯЧЬЕМ ОСТРОВЕ

Петропавловская крепость стала главной следственной тюрьмой политического сыска с того дня, когда сюда весной 1718 года перебралась Тайная канцелярия. До этого государственных преступников содержали в колодничьих палатах приказов и канцелярий. В Преображенском приказе узников сажали в высокие срубы без крыши и пола. Назывались они очень выразительно: «бедность», или «беда». «Попасть в беду» означало на языке тех времен быть «вкинутым» или «посаженым» в тюрьму.



*Петропавловская крепость*

То, что Петропавловская крепость стала резиденцией Тайной канцелярии и следственной тюрьмой, объясняется очевидным удобством этого мощного оборонительного сооружения на острове, отделенном от города с одной стороны Невой, а с другой – протокой. Еще до переезда сюда Тайной канцелярии тюрьма в крепости уже была. Первыми заключенными стали 22 моряка с корабля «Ревель», погибшего в 1717 году при невыясненных обстоятельствах. Из политических узников Петропавловской крепости первым был, по-видимому, племянник гетмана Мазепы Андрей Войнаровский, схваченный русскими агентами в 1717 году на улице Гамбурга, тайно привезенный в Петербург и впоследствии ставший героем поэмы Кондратия Рылеева. Перед тем как сгнать в Сибирь, Войнаровский просидел в крепости пять лет. В казармах крепости держали и пленных шведских офицеров. Крепость стала последним земным пристанищем для царевича Алексея Петровича: 14 июня 1718 года его посадили «в роскат (бастион. – Е. А.) Трубецкой, в полату». Возможно, для содержания царевича использовали освобожденную для этого гарнизонную казарму. Пытали же его в каземате Трубецкого бастиона.

«Русской Бастилией» иностранцы стали называть Петропавловскую крепость с тех пор как в ней разместился политический сыск. Тюрьмы Тайной канцелярии размещались в казармах гарнизона. В 1722 году колодники сидели в семи-восьми местах по всей крепости, а в 1737 году Тайная канцелярия имела уже 42 «колодничьи палаты».

Когда возникла самая страшная тюрьма в Алексеевском равелине, точно сказать невозможно. Историки города считают, что ее деревянное здание построили либо в середине, либо во второй половине XVIII века. Возможно и так, но известно, что в равелинах содержали узников и раньше. В одном из документов Тайной канцелярии за 1722 год отмечено, что колодник Игнатий Иванов сидел за «особым караулом в равелине, в офицерской» казарме. Равелин был особенно удобен для тюрьмы, так как представлял собой «остров на острове»: он отделялся от остальной территории крепости каналом, по берегам которого со стороны равелина возводили высокие деревянные заборы с воротами. Бастионы были также удобны для узилища тем, что их почти замкнутые пятиугольные дворы легко отгораживались забором от внутреннего пространства самой крепости.

Ощущения человека, впервые оказавшегося в тюрьме Петропавловской крепости, были ужасны. Пастор Теге, попавший в крепость в 1750-х годах, с содроганием писал об этом памятном дне своей жизни: «Сердце мое сжалось... При входе в каземат меня обдало холодом, как из подвала, неприятным запахом и густым дымом. У меня и так голова была не своя от страха, но тут она закружилась, и я упал без чувств».

Почти четверть века спустя сходные чувства испытал и Григорий Винский. Он описывает процедуру, которой его подвергли сразу же при входе в каземат: «Не успел я, так сказать, оглянуться, как услышал: "Ну, раздевайте!" С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и тащить с меня сюртук и камзол. Первая мысль: "Ахти, никак сечь хотят!" заморозила мне кровь (напомню, что с 1762 года телесные наказания дворян



были отменены. – Е. А.); другие же, посадив меня на скамейку, разували; иные, вцепившись в волосы и начавши у косы разматывать ленту и тесемку, выдергивали шпильки из буколь и лавержета, заставили меня с жалостью подумать, что хотят мои прекрасные волосы обрезать. Но, слава Богу, все сие одним страхом кончилось. Я скоро увидел, что с сюртука, камзола, исподнего платья срезали только пуговицы, косу мою заплели в плетешок, деньги, вещи, какия при мне находились... все у меня отняли, камзол и сюртук на меня надели. И так без обуви и штанов повели меня в самую глубь каземата, где, отворивши маленькую дверь, сунули меня в нее, бросили ко мне шинель и обувь, потом дверь захлопнули и потом цепочку заложили... Видя себя в совершенной темноте, я сделал два шага вперед, но лбом коснулся свода. Из осторожности простерши руки вправо, я ощупал прямую мокрую стену; поверотясь влево, наткнулся на мокрую скамью и, на ней севши, старался собрать распавшийся мой рассудок, дабы открыть, чем я заслужил такое неслыханно-жестокое заключение».



*Алексеевский рavelин*

Винский, молодой и здоровый мужчина, в отличие от пастора Теге упал в обморок не при входе в каземат, а при выходе из него, когда его повели на первый допрос: «Накинувши сюртук и подпоясавшись носовым платком, я побрел за унтером. Но лишь только отворили наружную дверь и меня коснулся свежий воздух, глаза мои помутились и я, как догадываюсь, впал в обморок... Не знаю, как меня втащили в мою лачугу, но опамятовшись, я видел себя опять в темноте».

То, что Винский оказался в каком-то мокром смрадном углу без света, было либо сознательным шагом следователей, решивших «подготовить» столичного щеголя к первому допросу, либо произошло из-за нехватки мест: как раз в это время по городу шли повальные аресты, и камеры тюрьмы были заполнены. Через три дня его перевели в обычную для Петропавловской крепости камеру с окном и печью.

Каждую колодничью палату, как одиночку, так и многоместную, охраняли, как правило, три солдата. Охранники раз и навсегда прикреплялись к «своим» колодничьим палатам. Режим охраны был таков: день и ночь караульные, сменяя друг друга, находились в помещении с заключенным и непрерывно наблюдали за ним. Обычно один часовой с оружием в руках стоял или (в нарушение устава) сидел на посту в течение суток, а подчасок сидел или (тоже в нарушение устава) спал на скамье рядом.

Постоянное присутствие солдат, их разговоры или их молчание – все это было весьма тягостно для интеллигентного узника. Пастор Теге вспоминал, что с ним в каземате сидели непрерывно четверо гвардейцев во главе с сержантом, причем один держал шпагу наголо, и все вместе «ели» глазами «прусского шпиёна». Девять недель, писал пастор, «гвардейцы были немые, как рыбы, и на все мои расспросы не отвечали мне ни слова... Кто привык жить с людьми, тот представит себе, что я вытерпел».

Сущей пыткой становилось постоянное присутствие охраны для женщины-колодницы, особенно если она принадлежала к высшему классу. В тяжелых условиях больше года провела в крепости графиня Аврора Мария Лесток, жена опального лейб-медика императрицы Елизаветы. Солдаты и офицеры обращались с ней грубо, как-то раз дежурный офицер даже плюнул ей в лицо. На глазах солдат ей приходилось отправлять свои естественные потребности. На невозможность жить под взглядами солдат жаловалась самозванка «княжна Тараканова», сидевшая в крепости в 1775 году: «Днем и ночью в моей комнате мужчины, с ними я и объясниться не могу». Однако это, как и лишение ее прислуги, теплой

одежды, привычной еды, входило в ужесточение режима, определенное следователями для упорствующей в своем преступлении самозванки.

Вообще, охрана имела довольно много прав в отношении колодника. Если он начинал буяннить, дерзить, не подчиняться распорядку, то солдаты избивали арестанта, связывали его, сажали на цепь. При нападении на стражу, при попытке бегства или освобождения колодников посторонними солдаты имели право применять оружие.

Окна камер закрывали решетками и деревянными щитами, поэтому в них постоянно горели свечи. Отапливались палаты печками, на них же готовили еду для колодников. Камеру часто осматривали, у колодников отбирали все острые и режущие предметы. Если узник все же сумел себя поранить, часового подвергали допросу и пытке. Его ждало разжалование и суровое наказание. Но прежде всего охранник должен был предотвратить побег узника. Это было главным в его деле. Причину побегов арестантов начальство, не без оснований, видело в «слабом смотреии» солдат за колодниками. Из архивных документов мы узнаем, что был «особый караул», так называемое «крепкое смотрение» за арестантами. «Обыкновенное смотрение» было мягче и гуманнее: узник мог принимать посетителей, его отпускали на церковную службу в Петропавловский собор, некоторых посылали под конвоем «за город» (т. е. из крепости) просить милостыни.



*Камера декабриста в Петропавловской крепости*

За провизией для арестантов свободные от службы караульные солдаты отправлялись на рынок, а потом стряпали еду для заключенного и для себя. Вместе, за одним столом, охранники и узники ели. Караульным предписывалось как можно меньше разговаривать со своим «хозяином» – так на тогдашнем языке у «Петра и Павла» (т. е. в тюрьме Петропавловской крепости) называли солдаты своего поднадзорного. Но застолье, как известно, – повод для разговоров, причем формально не запрещенных инструкцией, ведь от пищи зависела жизнь «хозяина». Знатные узники угощались не только кулинарными произведениями своих сторожей, но и блюдами из близлежащей австории на Троицкой площади или еду готовили им собственные повара. В меню знатных арестантов бывали разносолы и напитки. Простолюдинам приходилось много труднее. На

отпускаемые казной деньги (2-3 копейки на день) прокормиться было невозможно, и если арестанту не удавалось «на связке» с товарищами по несчастью собрать милостыню на улицах города, а родственники или доброты не приносили передач, то его ожидала голодная смерть.

Заключенным категорически запрещалось иметь перо и бумагу и вести переписку. Но в жизни было иначе: узники находились друг с другом в постоянной «пересылке» – письменной связи именно через свою охрану. Хлеб (калач, пироги) чаще всего служил «капсулой» для передач, таким способом пересылали деньги, записки, даже ключи от кандалов.

По традиции в тюрьмы (в том числе и в Петропавловскую крепость) имели почти свободный доступ женщины (монашки, жены, родственницы и знакомые), которые приносили заключенным милостыню: еду, одежду, деньги и лекарства. Часто они подкупали охрану, которая без обыска пропускала их внутрь «бедности» и в колодничьи палаты. Одно политическое дело было начато по доносу колодника, подслушавшего разговор своего сокамерника с пришедшей к нему женой, которая сидела рядом с мужем и «в голове у него искала».

Из воспоминаний, доносов и протоколов о происшествиях в крепости мы узнаем, что конвойные пили с колодниками, давали им полную свободу играть на деньги в шашки, карты, зернь, устраивать «гонки» вшей. Охрана как бы не замечала грубейших нарушений режима, а фактически получала с майдана (карточного круга) дань и поэтому больше заботилась о том, как бы

не пропустить появления внезапно нагрянувшего с проверкой дежурного офицера.

Солдаты и колодники происходили в основном из одного «подлого» класса, их объединяли общие, весьма приземленные интересы, схожие взгляды на жизнь. Несмотря на различие положения, в котором они оказались, это были люди одного круга. Когда из казармы уходил дежурный офицер, им всем становилось легче и веселее. Арестанты и охранники вели душевные беседы, спорили, выпивали, играли в карты. По дружбе или за деньги с охранниками можно было о многом договориться. Арестантам удавалось вовлечь солдат в разные авантюры, сыграть на стремлении подневольных служивых сбросить солдатскую лямку, поймать их на жадности к деньгам или к выпивке.

Такие же простые и вопреки инструкциям даже сердечные отношения складывались порой между охраной и высокопоставленными узниками. Пастор Теге пишет, что секрет его хороших отношений с солдатами-в деньгах, которые он давал им на водку. Молчание солдат, карауливших его, прекратилось через девять недель, когда закончилось следствие по делу пастора, и гвардейцы «прыгали от радости, получив позволение двигаться и говорить по-прежнему». Пастор выучился у солдат русскому языку и часто разговаривал с ними: «Добрые и услужливые, как вообще все русские, они старались развлечь меня разными рассказами. Так проходил не один бурный зимний вечер, и я жалел, что не мог записать некоторых в самом деле прекрасных рассказов, состоявших по большей части из русских сказок».

Прекрасные воспоминания об охране остались и у шведского аристократа графа Гордта. Он вспоминал: «Мало-помалу офицеры и стража привязались ко мне и почувствовали жалость к моей доле. В двух гренадерах я заметил особенно искреннее участие, они дали мне понять, что готовы на все, что только может облегчить мои страдания. Однажды вечером один из них сказал мне, что офицер ушел с дежурства и что если я хочу выйти прогуляться на воле, то увижу весь город иллюминированным – то был один из праздничных дней... Я был в восторге... и мы отправились вокруг крепости». За подобную прогулку солдата могли казнить, как соучастника побега опасного государственного преступника. Но из этого и других описаний видно, что такие «вольности» не были редкостью. «Патриархальные», точнее – человеческие отношения узников и охраны – характерная особенность Петропавловской крепости как тюрьмы XVIII века.

В 1761 году часовой Дмитрий Алексеев был обвинен в том, что принес колоднику Ивану Зубареву бумагу, чернильницу и перо, чтобы тот мог написать письмо наследнику престола Петру Федоровичу. А потом товарищ Алексеева, Иван Пронсков, подошел к карете великого князя у театрального подъезда и со словами: «Пожалуй, батюшка, милостивый государь, прими!» передал ему письмо Зубарева, чем совершил тяжелое должностное преступление.

Здесь мы касаемся весьма интересного явления, которое можно назвать «эффектом Нечаева» – по имени знаменитого революционера XIX века, сумевшего распропагандировать в свою пользу солдат охраны. Часовые, эти простые крестьянские или необразованные дворянские парни, невежественные и легковерные,



поддавались обаянию личности своего «хозяина», нередко человека незаурядного, яркого проповедника или опасного авантюриста.

Иван Зубарев, подведший под суд своих охранников, известен как редкостный проходимец и мистификатор. Он начал свою «карьеру» с того, что заявил о якобы найденной им серебряной руде, и во время пробы образцов «руды» в химической лаборатории М. В. Ломоносова сумел обмануть ученого, незаметно подбросив в тигель кусочек настоящего серебра. Потом разоблаченный в своем жульничестве авантюрист после серии побегов и приключений оказался в Пруссии и даже попал во дворец Сан-Суси, где его принял сам Фридрих II, который не устоял перед обаянием авантюриста и его рассказов. Получив от короля деньги, Зубарев отправился в Россию, чтобы поднять восстание старообрядцев, а потом организовать побег из Холмогор узника-императора Ивана Антоновича и всего Брауншвейгского семейства, но попался при переходе через границу. Неудивительно, что яркая личность Зубарева и его фантастические автобиографические рассказы зачаровали охранников, которые и стали действовать по его указке.

Сильное воздействие на простоватых солдат опытного узника, знавшего человеческую природу и умевшего убедительно говорить, становилось почти неизбежным потому, что многомесячная жизнь охранников и «хозяина» бок о бок делала свое дело. Времени у всех участников бесед под вой метели и в светлые летние вечера было много: у одного шел срок, у остальных тянулась такая же долгая казенная служба.

Впрочем, принцип: «Дружба – дружбой, а служба – службой» действовал почти без исключений, и охранник хорошо знал, что в случае побега «хозяина» его ждут пытки, военный суд, а то и каторга. Доносами друг на друга сокамерники и охранники также не брезговали. Кроме того, рано или поздно задушевный собеседник мог прийти за своим «хозяином», чтобы отвести его на казнь.

Несомненной легендой является утверждение о том, что из Петропавловской крепости не бежал ни один заключенный, хотя обычных для других узилищ помет типа: «Из-под караула бежал и без вести пропал» – в документах сыска не очень много.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В декабре 1719 года из крепости бежали узники-старообрядцы Иван Золотов и Яков Григорьев. Они сидели в казарме у Васильевских ворот вместе с несколькими другими колодниками. Получилось так, что из троих охранявших их гренадер двое пошли по делам: один повел колодника в канцелярию, а другой «пошел для покупки на рынок редьки». Третий же гренадер, Пахом фомин, так объяснял на следствии обстоятельства «утечки» узников: «И из оных раскольников один выпросился у него, Пахома, на сторону (т. е. в отхожее место. – Е. А.), и он его из караула выпустил, а другой [колодник] пошел за тем раскольником без спросу и, вышед они из той казармы, дверь затворили, а он-де у оставшихся колодников в той казарме остался один, того же часа вышел он из казармы за ними и куда они пошли, того он и не усмотрел». Гренадер Фомин сразу же попал под следствие, его пытали, чтобы

выяснить, не подкуплен ли он раскольниками, он же утверждал, что упустил их «простою своею и недознанием».

Так же бежали и некоторые другие арестанты. Дело в том, что ночные судна стояли в камерах только самых секретных узников. Обычных же заключенных выводили из камер в отхожее место, находившееся неподалеку. Выводили их в тяжелых кандалах или на длинной цепи. Беглый солдат Петр Федоров в 1721 году рассказывал на допросе о своем побеге: «Пошел он ис колодничей избы в нужник, которой на дворе за колодничью избыю и был на цепи и, не ходя в нужник, за колодничью избыю за углом цепь с себя скинул для того, что замок был худ и отпирался, а часовой солдат за ним смотрел из сеней и как цепь с себя скинул, тот часовой салдат того не видал, и без цепи он с того двора сошел в ворота».

Смерть узника в крепости была таким же важным для сысского ведомства событием, как и побег, поэтому ее тщательно документировали. По решению Тайной канцелярии к умирающему допускали врача или священника. Если узник отказывался от услуг пастыря, то посмертно его наказывали: закапывали где-нибудь на окраине без всякой погребальной церемонии. Зато исповедовавшиеся преступники получали милость: их хоронили в ограде кладбища. В Петропавловской крепости из-за ее ограниченных размеров и близости подпочвенных вод кладбища (кроме Комендантского) не было. Единственное известное захоронение тела преступника прямо в крепости совершилось 5 декабря 1775 года. Тогда глубоко в землю на территории

Алексеевского рavelина закопали тело самозванки «княжны Таракановой».

Обычно тела узников вывозили из Петропавловской крепости и хоронили за оградой какого-нибудь православного кладбища, где было принято закапывать утопленников и самоубийц. Чаще всего как место погребения умерших и казненных политических преступников упоминается кладбище у церкви Сампсония Странноприимца на Выборгской стороне. Там похоронили в 1726 году Ивана Посошкова, в 1740 году – Артемия Волынского, Петра Еропкина, Андрея Хрущова и других политических преступников.

# РУССКИЕ ТОРКВЕМАДЫ, ИЛИ «УВЕЩЕВАНИЕ С ПРЕЩЕНИЕМ»

Идя с доносом в ближайшую канцелярию или крича «Слово и дело!» на площади, доносчик порой не подозревал, что его ожидает. Его сразу же арестовывали и сажали в тюрьму, где он проводил подчас несколько месяцев в компании отпетых преступников. Такая же участь ждала ответчика и свидетелей: пока велся розыск, все они сидели в колодничьих палатах сыскного ведомства. Первая стадия розыска, которая проводилась до применения пыток, называлась «роспросом».

Рассмотрим традиционное, рутинное начало обычного сыскного дела по политическому доносу. Первым на «роспрос» приводили изветчика. Вначале он давал присягу: клялся на Евангелии и целовал крест, обещая говорить только правду, а за ложные показания нести ответственность вплоть до смертной казни. Затем изветчик отвечал на пункты своеобразной анкеты: называл свое имя, фамилию (прозвище), отчество (имя отца), социальное происхождение («из каких чинов») и состояние, возраст, место жительства, вероисповедание (раскольник или нет). Далее в протокол вписывалась суть извета, начинавшаяся словами «Государево дело за ним такое...».

Было бы ошибкой думать, что изветчика принимали в сыском ведомстве с распростертыми объятиями. За ним устанавливали тщательный присмотр, рекомендовалось обходиться с ним внимательно, но без

особого доверия. Изветчик был необходимейшим элементом сыска (без него дело могло полностью развалиться, что и бывало не раз), но, вместе с тем, власти изветчику не доверяли. До самого конца положение изветчика оставалось крайне неустойчивым. С одной стороны, его защищал закон, но, с другой стороны, при неблагоприятном для изветчика повороте расследования, закон из щита для него превращался в меч. Доказать («довести») извет – вот что являлось главной обязанностью изветчика, поэтому он еще назывался «доводчиком». За «недоведение» извета по государственным преступлениям доносчику в начале XVIII века грозила смертная казнь.

Изветчик должен был доказать извет с помощью фактов и свидетелей, причем от него требовалась особая точность в описании преступной ситуации и при передаче сказанных ответчиком «непристойных слов». Неточный, приблизительный их пересказ рассматривался не просто как ложный извет, а как новое преступление – произнесение «непристойных слов» уже самим изветчиком. Поэтому всякая интерпретация изветчиком якобы слышанных им «непристойных слов», различные дополнения и уточнения их смысла («прибавочные слова») категорически запрещались – изветчик должен был сказанные ответчиком «непристойные слова» излагать точно, «слово в слово», «подлинно». При воспроизведении ситуации, в которой были сказаны «непристойные слова», также не было места мелочам и неточностям.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1762 году рассматривалось дело, заведенное в тюрьме по доносу одного колодника (конокрада

Егора Пронина) на другого (церковного вора Прокофия Дегтярева), который, как сообщает изветчик, «встав ото сна, сидя на печи [в тюрьме], говорил слова такие: "Вот-де ныне стала Великому государю [Петру III] присяга, это-де шпион сядет на царство, так-де будет нам головы рубить..."». Однако Дегтярев опроверг извет Пронина. Он сказал, что тех слов, лежа на печи, говорить утром не мог, так как в это время там грелся «питаной колодник Иван Тюрин, а он, Дегтярев, лег на печь только вечером. Эти расхождения привели к тому, что следователи выясняли по преимуществу только одно обстоятельство: колодник Дегтярев лежал на печи утром или вечером? Изветчик пытался уточнить, что, мол, Дегтярев лежал на печи «после обеда в полдни, а не поутру на рассвете», а о том, что с утра на печи лежал Тюрин, он забыл. Но было уже поздно. Извет был поставлен под сомнение, и изветчик наказан.

Колодница Степанида Ильина (дело 1726 г.), напротив, оказавшись памятлива и сумела точно передать подслушанный ею преступный разговор шести караульных солдат. На пытках они все подтвердили правильность нижеследующего извета Ильиной, который был «зашифрован» (из-за обилия матерщины) в протоколе Тайной канцелярии таким образом: «Оные салдаты, стоя у нее на карауле, между себя говорили: "Под растакую-де мать, мать-де их в рот, что к Москве поитить, что тут (в Петербурге. – Е. Л.) не к кому нам голову приклонить, а к ней, государыне (Екатерине I. – Е. А.), есть кому со словцами подойтить, и она-де их слушает, что не молвят; так

уж они, растакие матери, сожмут у нас рты, тьфу!, растакая мать, служба наша не в службу, как-де, вон, растаких матерям, роздала деревни по три трети и больше, растакой-де матери..."» и так далее в таком же роде. За «непристойные слова», точно переданные изветчицей, солдаты были сурово наказаны.

Нелегко было изветчику, если он слышал «непристойные слова» без свидетелей, «один на один», особенно когда ответчик на следствии «не винился», то есть не признавал правильность доноса. В гораздо лучшем положении был тот изветчик, который мог указать на свидетелей. Но и здесь позиция изветчика могла стать уязвимой: отказ даже одного из свидетелей подтвердить извет порой приводил его к катастрофе. Если изветчик пытался уточнить свой донос, то новые его показания называли «переменными речами», их признавали «подозрительными», что вело изветчика к пытке. А наказанием за ставший, таким образом, ложным извет могли быть плети, кнут и даже смертная казнь.

«Недоведенный» извет означал только одно: изветчик, извещая власти о преступлении, не просто солгал, а сам затеял {«вымыслил собой») те самые «воровские затейные слова», которые он приписал в своем извете ответчику. Именно так расценили в 1721 году в Тайной канцелярии «недоведенный донос» матроса Сильвестра Батова. Его приговорили к наказанию кнутом и к ссылке на каторгу. В 1732 году казнили некоего Немировича, который донес на Жукова, но «о важных непристойных словах не доказал и затеял те важные непристойные слова, вымысля собою».



Что же ждало счастливого изветчика, то есть того, чей донос оказывался «доведенным», подтвержденным свидетелями и признанием ответчика? Когда по ходу следствия становилось ясно, что извет «небездельный», изветчик получал послабления: его освобождали от цепи, на которой он мог, как участник дела, сидеть, сбивали ручные или ножные кандалы или заклепывали в кандалы полегче. Через некоторое время его выпускали на волю под «знатную расписку» или на поруки. Он обещался «не съехать» из города и регулярно отмечаться в Тайной канцелярии. Перед выходом на свободу изветчик давал расписку (и даже иногда присягал на Евангелии) о своем гробовом молчании «под страхом отнятия ево живота» о том, что он видел, слышал и говорил в стенах сыска. Перед освобождением изветчика о нем на всякий случай наводили справки, «не коснулось ли чего до него»: не числится ли за ним каких старых преступлений, не был ли он раньше ложным изветчиком, не подозрительный ли он вообще человек? И после этого следовала резолюция, подобная той, что мы встречаем в деле 1767 года доносчика монаха Филарета Батогова: «Нашелся правым, и по делу ничего до него, Батогова, к вине его не коснулось».

При выполнении всех этих весьма непростых условий удачливый изветчик выходил из процесса, поэтому с таким счастливецем простимся еще до окончания всего сыска дела. По закону и решению начальника сыска он получал свободу и награду «за правой донос». Как сказано выше, награды были самые разные и, чаще всего, в виде денег. Хотя в среднем количество сребреников составляло 5 рублей, четкого определения на сей счет не было. Из документов сыска известны самые разные суммы награды доносчику от 2-3

до 1000 рублей. Иногда деньги сочетались с иными видами поощрения. В одних случаях доносчики получали часть имущества преступника, в других – повышение по службе, новые чины и звания.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Самую большую денежную награду в истории сыска получила неверная подруга царевича Алексея Петровича Ефросинья Федорова. В журнале Тайной канцелярии сохранилась запись именного указа Петра I: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублей из взятых денег блаженные памяти царевича Алексея Петровича».

Посадский Федор Каменщиков оказался единственным доносчиком из всей толпы, слушавшей на пензенском базаре 19 марта 1722 года «возмутительную» речь монаха Варлаама Левина. За свой донос он получил награду в 300 рублей и право пожизненной беспошлинной торговли своим товаром.

Сотни дворов с землями удостоилась в 1736 году Елена Возницына в награду «за правый донос» на своего мужа Александра, обратившегося в иудаизм.

В 1739 году получил большую награду извечник по делу князей Долгоруких березовский подьячий Осип Тишин, донос которого привел нескольких членов семьи Долгоруких на плаху. Тишин был определен на очень «хлебное» место

секретаря Сибирского приказа. Сверх того ему выдали 600 рублей.

200 рублей получил первый доносчик на Емельяна Пугачева крестьянин С. Ф. Филиппов. Именно по его доносу самозванец был схвачен как опасный болтун еще в 1772 году, но сумел позже бежать из казанской тюрьмы. Этой наградой, выданной доносчику уже после подавления мятежа, власть хотела подчеркнуть важность и нужность подобных доносов, которые, будь они вовремя услышаны, могли бы предотвратить общественную катастрофу.

После извetchика в «роspрос» попадал ответчик, то есть человек, на которого был подан донос. На первом допросе его, как и ранее извetchика, сурово предупреждали об особой ответственности за дачу ложных показаний и брали с него расписку-клятву. Иногда ответчик сразу подтверждал поданный на него извет. Но это бывало достаточно редко. Ответчик прекрасно понимал, что последует за его безусловным признанием, – ведь, согласно закону, признание являлось главным доказательством виновности. Более того, даже если ответчик сразу признавал извет, его все равно пытали, чтобы он подтвердил свое признание. Поэтому ответчик часто «запирался» («не винился») или признавал обвинения лишь отчасти, с оговорками. Бывало, что ответчик признавался в произнесении «непристойных слов», но при этом уточнял, что он имел в виду что-то другое, не то, о чем донес изветчик, неверно интерпретируя его безобидные слова как оскорбление чести государя. Порой ответчик, соглашаясь в целом со смыслом переданных извetchиком

«непристойных слов», настаивал на том, что сказано это было не в столь грубой и оскорбительной форме, как это подает в своем доносе извetchик. Все эти уточнения следователи называли «выкрутками».

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1718 году киевлянин Антон Наковалкин сказал своему спутнику подьячему Алексею Березину: «По которых мест государь жив, а ежели умрет, то-де быть другим». Березин донес на Наковалкина в Тайную канцелярию. И на допросе Наковалкин объяснил свою фразу так: «Ныне при Царском величестве все под страхом и мо[гут] быть твердо, покамест Его ц. в. здравствует, а ежели каков грех учинится и Его ц. в. не станет, то может быть, что все не под таким будут страхом, как ныне при Его величестве для того, что может быть, что он, государь царевич Петр Петрович будет не таким, что отец его». Так ответчик формально признал извет, но трактовал сказанное им как нечто весьма похвальное Петру I. Но «выкрутка» мало помогла Наковалкину: его пороли за саму тему разговора – рассуждать о сроке жизни государя было запрещено.

В декабре 1722 года было начато знаменитое дело о «полтергейсте» в Троицкой церкви в Санкт-Петербурге. Когда дьякон Федосеев узнал о страшном ночном шуме и грохоте на запертой колокольне, он не только согласился с протопопом Герасимом Титовым, сказавшим, что на колокольне возится «кикимора», черт, но добавил фразу, которая живет уже три столетия: «Питербурху пустеть быть». На следствии в Тайной канцелярии

дьякон стал «выкручиваться», и смысл его «выкрутки» свелся к следующему: «А толковал с простоты своей в такой силе: понеже-де Императорского величества при С.-Петербурхе не обретається и прочие выезжают, так Питербурх и пустеет». Федосееву, конечно, не поверили, стали допрашивать о возможных сообщниках, намеревавшихся опустошить столицу: «Не имел ли ты с кем вымыслу о пустоте Питербурха?», а затем били кнутом и сослали навечно в Сибирь.

В 1723 году пытался «выкрутиться» швед Питер Вилькин, сказавший при многих свидетелях, что царю Петру I никак больше трех лет не прожить. В роспросе он утверждал, что «три года жить Его и. в. таких слов я, Питер, не говаривал», а якобы говорил, что царь проживет еще лет десять. Видно, он рассчитывал, что, «накинув» 51-летнему царю еще семь лет жизни, он спасет себя – прожить 61 год, по тем временам, мог желать себе каждый. По-видимому, «версия» Вилькина о десяти отпущенных царю годах жизни вполне устроила Петра I. Царь приказал болтуна только «сечь батоги нещадно» и выпустить на свободу.

Все эти «выкрутки» затягивали процесс, а следователи между тем стремились по возможности быстрее достичь результата – признания ответчиком своей вины. Этой цели соответствовала вся обстановка «роспроса», который велся при сильном психологическом давлении на человека. Предварительно ответчика долго «выдерживали» (нередко – в цепях) в душной, грязной колодничьей палате, в компании со страшными

безносыми и безухими ворами, нередко в полной неизвестности относительно причины ареста.

Как уже сказано выше, Григория Винского без предъявления каких бы то ни было обвинений неделю продержали в темной, сырой камере. Эту одиночку использовали для «подготовки» подследственного, который от ужаса и тоски три дня ничего не ел и все время напряженно думал о возможных причинах ареста и заточения. Приведенный на допрос Винский, грязный, небритый, с беспорядком в одежде, увидел сидящих за столом чиновников во главе с обер-прокурором Терским, известным в народе под прозвищем Багор.

Терский встретил узника грозной речью: именем императрицы он предупредил его, что целью расследования является намерение власти «возбудить в каждом преступнике раскаяние и заставить его учинить самопроизвольное, искреннее признание, обнадеживая чистосердечно раскаивающемуся не только прощение, но и награждение, [тогда] как строптивым и непокорным Ея (императрицы. – Е. А) воле, за утаение малейшей вины – жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние». Это был типичный для сыска прием: действуя от имени верховной власти, следователи стремились запугать допрашиваемого.

Напугав ответчика, следователи применяли другой, также весьма распространенный прием – они заявляли, что им и без допроса все хорошо известно, что от ответчика требуется только признание вины: «Прибавлю еще, – сказал Терский, – что укрывательство с твоей стороны будет совершенно тщетным, ибо все твои деяния, до малейших, комиссии известны». После этого начался допрос.

Первый допрос строился на расчете сбить ответчика с толку, привести в замешательство, запутать. Винский вины своей не признал, и, убедившись в тщетности своих угроз, Терский приказал писцу не записывать оправдательные ответы Винского. После этого обер-прокурор изменил тактику. Между ним и Винским произошел такой диалог:

«— Посему ты святой? Ась?

— Святой, не святой, да не очень и грешен.

— Ты еще и пошучиваешь... Я тебе говорил, что комиссии все твои дела известны.

— Говорили, но я знаю, что нечему быть известным.

— А как я разверну сию бумагу, тогда уж поздно будет.

— А разверните.

— О! Ты, брат, видно, хват, тебе смерть копейка.

— Смерти я не боюсь, а сказать напраслину не хочу.

— Посмотрим (понижив голос). Теперь пойдим!

Так закончился мой страшный допрос».

Допускаю, что Винский не вел себя на допросе так спокойно и даже с вызовом, как он это описывает в мемуарах, но в приведенном отрывке хорошо видны приемы, к которым прибегали следователи при допросах. Само обращение на «ты» заведомо унижало честь дворянина. Учтем при этом, что в 1779 году Россией правила гуманная Екатерина II, а Винского обвиняли в хотя и важном преступлении – банковской афере, но все-таки это не оскорбление чести государыни или измена. Винский был дворянин, его без особого на то

именного указа не могла тронуть палаческая рука, да и пытки тогда формально не существовали. Сам хамоватый Терский не был так страшен, как Шешковский, одно имя которого вызывало ужас у современников. Что же было с теми людьми, которые в другую эпоху – при Петре I – попадали в палату, где за столом сидел страшный князь Ромодановский или сам государь? Легенда гласит, что когда в 1724 году к царю ввели Виллима Монса – разоблаченного любовника императрицы Екатерины, то этот мужественный человек, встретившись глазами с царем, упал в обморок.

В рассказе Винского примечателен момент, когда Терский запрещает писцу записывать его явно невыгодные для следствия ответы. Действительно, знакомство с делами сыска показывает, что записи допросов в большинстве своем отличаются необыкновенной гладкостью и не содержат ничего, что противоречило бы замыслу следствия. Они никогда не фиксируют сколько-нибудь убедительных аргументов подследственных в их пользу, зато часто ограничиваются дежурной фразой отказа от признания вины: «Во всем том заперался».

Допрашивали ответчика по заранее подготовленным «вопросным пунктам». При ведении крупных политических дел «вопросные пункты» составляли сами монархи или наиболее влиятельные при дворе люди. В делах же ординарных, «неважных» вопросные пункты составляли в Тайной канцелярии. Письменные (собственноручные) ответы ответчик писал либо в своей камере (для этого ему выдавали обычно категорически запрещенные в заключении бумагу, перо и чернила), либо (чаще), сидя перед следователями, которые, несомненно, участвовали в составлении ответов,



«выправляли» их. Часто ответы со слов ответчика писали и канцеляристы.

«Увещевать», «устрашать», «порядочно допрашивать» – такие выражения часто встречаются в протоколах «роспроса». Это синонимы морального давления следователей на допрашиваемого, которые старались уговорить его покаяться, припугнув пыткой и пригрозив, в случае его молчания или «упрямства», страшным приговором. Под понятием «увещевать» можно понимать и ласковые уговоры, обращения к совести, чести преступника, и призывы следовать доводам логики, здравого смысла.

Чаще всего увещевателями выступали священники. Они «увещевали с прещением (угрозой. – Е. А.) Страшного суда Божия», чтобы подследственный говорил правду и не стал виновником пытки невинных людей. Для верующего, совестливого человека, знающего за собой преступление, увещевание становилось тяжким испытанием, но многие, страшась мучений, были готовы пренебречь угрозой Божиего суда.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В июле 1790 года при разборе дела Радищева судьи постановили подвергнуть его (в своем присутствии) «увещанию священническому». Это была, в сущности, процедура открытой, публичной исповеди, на которой священник уговаривал подсудимого сказать правду. Таким образом судьи пытались выяснить, действительно ли при написании своей книги Радищев не имел иного намерения, как «быть известному между

сочинителями остроумным» (так он показал о причинах издания «Путешествия») и что у него не было сообщников.

В качестве внештатных следователей священники использовались и позже. Как вспоминал декабрист Михаил Бестужев, сидевший в Петропавловской крепости, он под воздействием обстановки и мыслей о страдании оказался «в экзальтированном настроении христиан-мучеников в эпоху гонений». «Я,— пишет Бестужев,— совершенно отрешился от всего земного и только страшился, чтобы не упасть духом, не оказать малодушия при страдании земной моей плоти, если смерть будет сопровождаться истязаниями. В одну из таких минут отворяются двери моей тюрьмы. Лучи ясного зимнего солнца ярко упали на седовласого старика в священническом облачении, на лице которого я увидел кротость и смирение. Спокойно, даже радостно, я пошел к нему навстречу — принять благословение и, приняв его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уносился в небо! Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью. "Ну, любезный сын мой,— проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, — при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание..." С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрызг...»

Следователи применяли и разные специфические приемы и «подходы», чтобы вырвать у человека нужные

показания. П. В. Долгоруков приводит семейное предание о том, что на допросе Александра Долгорукого в Тобольске в 1739 году следователи напоили его допьяна и «заставили рассказывать вещи, губившие семью», после чего молодой человек пытался покончить с собой.

Не брезговали в политическом сыске и шантажом, особенно если речь шла о родственниках упорствующего преступника. В ноябре 1748 года императрица Елизавета повелела бывшего лейб-медика Лестока, сидевшего под домашним арестом, «как злодея, спрашивать и в город (т. е. в Петропавловскую крепость. – Е. А.) посадить с женою и разыскивать». Уже само по себе заключение в крепость, как мы видели выше, было серьезным испытанием для человека. Но тут Елизавета недвусмысленно предупреждала, что розыск коснется и жены Лестока. Это был умело рассчитанный, болезненный удар – все знали, что 56-летний Лесток безумно любит свою молодую жену Аврору Марию. И в крепости он действительно жестоко страдал и беспокоился о жене. Охрана перехватила письмо Лестока к Авроре Марии, в котором он умолял ее послать о себе весточку. После этого следователи допустили к Лестoku жену, но только для того, «чтобы она тово своего мужа увещала, дабы он, о чем был в Тайной канцелярии спрашивай, показал сущую правду».

По-разному вели себя люди в сыске, когда шла речь об их родных. Многие стремились выгородить, «очистить от подозрений» своих детей, жен, родственников, просто – более юных и слабых, тех, «кого жалче». Так, несмотря на жестокие допросы и пытки в 1697 году, А. П. Соковнин стоял до конца, «очищая» своих сыновей и брата, замешанных в заговоре против Петра I. В конечном счете

он своего добился: брата Федора сослали «в дальнюю деревню», а дети попали в провинциальные полки, а не в сибирскую каторгу.

Во время дела 1704 года товарищи по тюрьме извечика крестьянина Клима Ефтифеева рассказали следователям: как только он увидел, что в приказ привезли его жену и молоденькую сноху, то сказал, что готов отказаться от извета: «Теперь-де мне пришло, что приносить повинную. Пропаду-де я один, а жену и сына не погублю напрасно».



*Н. Ф. Лопухина*

Обвиненная в 1743 году в заговоре с австрийским посланником де Ботта Н. Ф. Лопухина на очной ставке со

своим мужем выгораживала его, ссылаясь на то, что обо всех делах с посланником она разговаривала по-немецки, а с этим языком ее муж не знаком. В том же положении оказался участник процесса по делу Столетова, князь Сергей Гагарин. Не без мрачного юмора исследователь этого дела М. И. Семевский писал, что незнание иностранного языка «спасло его, может быть, от урезания собственного».

Выше уже сказано о старообрядце Иване Павлове, который в 1737 году добровольно пошел на муки. До Тайной канцелярии его провожала жена Ульяна, и по дороге Иван уговаривал ее пойти с ним до конца, «а им-де от Бога мзда будет», но когда жена отказалась, то ругал ее и «что с ним не пошла, плакал». На допросе же Иван утверждал, что жена его давно умерла. Когда следователи отыскиали женщину и заставили ее признаться в том, что муж звал ее с собой, Иван стал выгораживать Ульяну. Он сказал, что он ее не звал, что она – пьяница, «старую веру хотя содержала, да некрепко, потому, что пивала хмельное, чего ради делами своими она умерла», но следом признался о главном: «Более-де думал он, Павлов, ежели о жене своей он покажет, что она жива, то-де возмут ее за караул и так же-де, как и он, Павлов, будет неповинно страдать». С Павловым сыску было непросто: он, по словам следователей, «весьма стоит в той же своей противности и в том и умереть желает». Конец его трагичен: в январе 1739 года караульный донес, что Павлов «сделался болен». Попытки увещания священником результата не дали – старообрядец был упорен и исповедоваться отказался. Но умереть ему спокойно не дали: кабинет-министры Остерман, Черкасский и Волынский приказали тайно казнить его в

застенке, а тело бросить в реку, что и сделали 20 февраля 1739 года.

Но не всегда жалость и любовь могли устоять перед моральными и особенно физическими муками. В 1707 году Сергей Портной только с пытки сказал, что слышал «непристойные слова» о Петре I от своего племянника Сергея Балашова, однако не объявил о них ранее «из жалости к племяннику своему». Другие на пытках признавались, что не донесли на родственников и друзей, «жалея их...». Осуждать этих людей нельзя – ужасы пытки ломали самых сильных и мужественных.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1699 году в Преображенском приказе развернулась настоящая драма. Тогда Ромодановский начал расследовать дело стрельца Стремянного полка Тимофея Волоха. На него донес его квартирант Матвей Самопальщиков, который сообщил о «непристойных словах» хозяина. Своей свидетельницей он назвал жену Волоха Марфу. Поначалу, в очной ставке с изветчиком Марфа признала извет, но вскоре, убедившись, что сам Волох полностью отрицает вину, заявила: мужа «поклепала напрасно... со страха». Ее трижды пытали, дав ей 20, 15 и 24 удара кнута, но на всех пытках Марфа утверждала, что муж «непристойных слов» не говорил. С этими показаниями она прошла три пытки и тем формально «очистилась». Но ее пытали в четвертый раз и с прежним результатом – женщина «заперлась». После пытки изветчика Самопальщикова (он также твердо стоял на своем извете) и пытки самого Волоха (упрямо отрицал извет) Марфа была поднята на дыбу в пятый раз и

«зжена огнем», но и «с огня говорила те же речи». Мучения пошли по новому кругу: пытали изветчика и Волоха, они от своих показаний не отреклись. Так продолжалось и в следующем 1703 году. Дело обрывается на том, что к 1704 году мужчины выдержали по шесть пыток на дыбе, а Марфа семь (!), да еще была «зжена огнем». По всем обстоятельствам дела видно, что если бы Марфа вернулась к своему первому показанию и подтвердила извет, дело было бы закончено даже при полном запирательстве ее мужа и женщину освободили бы от дальнейших нечеловеческих мук. Однако Марфа избрала другой, поистине крестный путь...

Протоколы «ропросов» редко передают все своеобразие «бесед», которые вели следователи и ответчики. Лишь временами мы соприкасаемся с живой речью на допросах. Так, эту речь можно «услышать» через века из записи допроса в 1777 году самозванца Ивана Андреева генерал-прокурором Вяземским. Андреев – «сын герцога Голштинского» – утверждал, что о своем знатном происхождении ему якобы в детстве сказал олонецкий крестьянин Зиновьев, сыном которого Андреев в действительности и являлся.

Воспроизвожу близкую к прямой речи запись протокола допроса Андреева с некоторыми сокращениями:

[Вяземский]: «Для чего он себя ложным именем называть осмелился?»

[Андреев]: «Крестьянину Зиновьеву не резон врать».

[Вяземский]: «Ну, да как крестьянин увидел, что ты – ленивец, то он на смех тебе сказал, что ты принц, а ты так и поверил!»

[Андреев]: «Как же ему не верить, ведь он клялся».

[Вяземский]: «Ну, совершеннейший ты безумец или, лучше сказать, плут, что ты словам такого же, подобного тебе, шалуна и невежды веришь, а здесь тебя уверяет генерал-прокурор и другие, что это самая враки и выдуманная ложь с ясными на все твои слова доводами, и так же уверяют тебя по закону Божественному, но ты верить не хочешь».

«На что оный Андреев более не говорил, как сие: "Воля ваша, что хотите, то делайте, но как крестьянину меня обманывать?"...»

[Вяземский]: «Ты и на попа солгал, будто бы ему объявлял, что ты принц Голштинский, ибо если б ты только в тогдашнее время этакую речь выболтал, то б поп тебя, связав, отвел в Тайную, а там бы тебя до смерти засекли».

[Андреев]: «А когда-де вы мне не верите, то отпустите в мое отечество, в Голштинию».

«На что ему сказано: "В Голштинии-та лишь бы только этакой дурак с таким враньем показался, то б тебя камнями прибили как шалуна"».

В итоге «шалун» был отправлен не в Голштинию, а в Шлиссельбургскую крепость.

Подчас столкновение следователей с ответчиком становилось схваткой, полной драматизма, причем ответчик, казалось бы полностью бесправный, мог умелыми ответами нейтрализовать наиболее опасные для



себя вопросы, уйти от особо тяжких обвинений. Так Н. И. Новиков сумел при допросах переиграть самого Шешковского и его помощников, которые чувствовали свою беспомощность перед умным подследственным. После «роспроса» Новикова Екатерина II не решилась передать дело в публичный суд и сама вынесла ему приговор.



*Э. И. Бирон*

Из протоколов допросов Э. И. Бирона в конце 1740 – начале 1741 года также видно, что бывший регент оказался достаточно умен, хладнокровен и сумел завести следствие по его делу в тупик. Опытный царедворец сразу понял, что «запирательство» к доброму концу не приведет, и предложил власти компромисс: правительница Анна Леопольдовна даст ему «царское слово» – гарантии сохранения жизни, а он признается во всем, что от него потребуют, и, если нужно, «вспомнит»

и то, что забыл. Власти пошли на эту сделку. После этого торга Бирон взялся за перо и ответил тонко и двусмысленно на все «вопросные пункты».

Для ответчика (как и для изветчика) было крайне важно не впасть в противоречие с тем, что он уже показал на ранней стадии следствия. Противоречивые показания ответчика делали его положение весьма уязвимым, от подозрения во лжи ему было трудно избавиться. Из многих дел приведу наиболее яркий пример такого «неправильного поведения» ответчика.

Дьячок Семен Копейкин был арестован в 1730-х годах по доносу крестьянина Шкворова о произнесении им под хмельком «некоторых непристойных слов». На первом допросе Копейкин «заупрямился», утверждая, что никаких «непристойных слов» не говорил и что даже, против обыкновения, был трезв. В очной же ставке с изветчиком он сказал, что «непристойные слова он, Копейкин, говорил ли, того не упомнит, что-де в то время был он, Копейкин, пьян и, может быть, в пьянстве те слова и говорил, только-де у трезвого у него в мысли, чтоб такие непристойные слова говорить, не было». Следователи сразу ухватились за противоречия в показаниях и отправили Копейкина на дыбу.

На пытке Копейкин показал, что непристойные слова он действительно говорил «в пьянстве своем», но «не таким образом, как означенной Шкворов показал». Следователи, заподозрив в этом «увертку», спросили, почему же Копейкин сразу-то об этом им не сказал? На это Копейкин отвечал трафаретной фразой, которая для сыска ничего не значила: «Не показал он, Копейкин, боясь себе за то истязания». В очной ставке в застенке с Копейкиным изветчик Шкворов твердо стоял на своем

(«утверждался на прежнем своем показании»). Копейкин и этот раунд борьбы проиграл. Он вновь изменил показания: «Означенные непристойные слова говорил он, Копейкин, таким ли образом, как оной Шкворов показал, того он, Копейкин, за пьянством своим, не упомнит». Противоречия показаний ответчика привели следователей к выводу, что Копейкин «непристойные слова» действительно говорил. Но поскольку дело шло по разряду «маловажных» и сказанные дьячком слова не были, по-видимому, особенно страшными (содержание их нам неизвестно), то генерал Ушаков решил не проводить «утвердительную» пытку – обычную для меняющего свои показания преступника, а приказал Копейкина бить кнутом и сослать в Охотск, «в работу вечно».

Однако следование раз и навсегда избранной линии, неизменность в показаниях ответчика не всегда оказывались самой правильной формой защиты. Так, если ответчик, несмотря на явные и многочисленные свидетельства против него, упорствовал, «запирался», то вскоре его положение ухудшалось. Для следствия непризнание ответчиком явной, доказанной многочисленными фактами вины означало, что речь идет о «замерзлом злодее», матером преступнике, который не желает склонить головы перед государем, не просит у него пощады за всем очевидные преступления. Это усугубляло тяжесть последующих пыток и наказания.

Еще хуже было тому ответчику, который начинал признаваться в том, о чем его первоначально следователи и не спрашивали. Эта ситуация на жаргоне сыска называлась «сказал прибавочные речи». В этот момент допрашиваемый с роковой неизбежностью выступал в роли закоренелого, затаившегося преступника, скрывавшего до поры до времени свои

преступления, или же в роли столь же преступного неизветчика по делам, о которых надлежало доносить куда следует и как можно скорее.

Если бы Егор Столетов, допрошенный в 1734 году В. Н. Татищевым в Екатеринбурге о его непосещении церкви и каких-то опасных высказываниях за столом, отвечал только на заданные следователем вопросы, то сумел бы выпутаться из этого дела. Но Столетов вдруг «собою» стал пересказывать Татищеву придворные слухи и сплетни о том, что якобы царица Екатерина Ивановна (сестра императрицы Анны) сожительствовала с его приятелем князем Михаилом Белосельским и что любовник царицы просил у него, Столетова, добыть некое средство от импотенции, чтоб при встрече с царицей «быть молодцеватым» и т. д. и т. п.

И можно уж точно сказать, что Столетов окончательно погубил себя, когда вдруг повинился Татищеву: «Я еще того тяжчае (т. е. хуже, страшнее. – Е. А.) о государыне-императрице думал» и «в том упомянул графа Бирона». Оказывается, речь шла об обстоятельствах сексуальной жизни самой императрицы Анны. Белосельский как-то поделился с ним, как с близким приятелем, такой забавной подробностью: «Государыня-де царица сказывала мне секретно, что-де Бирон с сестрицею (т. е. императрицею. – Е. А.) живет в любви, он-де живет с нею по-немецки, чиновно».

Запись допроса, по-видимому, привела государыню в ярость: после жестоких пыток Столетову отрубили голову, а Татищев получил строгий выговор за то, что стал выпрашивать у него вещи, которые его ушам и слышать не надлежало. Но Татищев и сам не ожидал, к чему приведут его допросы о пропущенных Столетовым

обеднях, и очень испугался, услышав откровения ответчика. Это видно по его рапортам в Петербург.

Сибирский вице-губернатор Алексей Желобов, привлеченный по делу Столетова в 1735 году, на первом же допросе в Тайной канцелярии не только подтвердил приписанные ему Столетовым «непристойные слова», но и с редким простодушием и наивностью для чиновника такого высокого ранга пустился в воспоминания о своих давних встречах с Бироном, о чем его никто не спрашивал: «Говорил я еще о графе Бироне, как он Божию милостию и Ея и. в. взыскан. Такова-то милость Божия! Во время (т. е. раньше. – Е. А.) этого Бирона, в бытность в Риге комиссаром, [он, Желобов] бивал, а ныне рад бы тому был, чтоб его сиятельство узнал меня... И есть у меня курьезная вещица: 12-ть чашечек ореховых, одна в одну вкладывается, прямая вещица такому графу – ведь ему золото и серебро не нужно!»

Последнее следовало понимать как намек на то, что Бирону, попавшему в постель императрицы, заботиться о своем благосостоянии уже нет нужды. И далее Желобов своими руками начал точить топор, которым ему вскоре отрубили голову: «Еще запросто припомнил я и говорил Столетову, как в Риге... будучи на ассамблее, стал оный Бирон из-под меня стул брать, а я, пьяный, толкнул его в шею, и он сунулся в стену». Столь откровенное добровольное признание ответчика было равносильно самоубийству. Желобов был казнен как взяточник, хотя истинной причиной расправы с ним был его длинный язык.

Добровольные признания князя Ивана Долгорукого на следствии 1738-1739 годов привели на эшафот и его самого, и других членов семейства Долгоруких. На

жившего в Березове Долгорукого донес Осип Тишин, который обвинял ссыльного вельможу в произнесении «непристойных слов» о царствующей императрице Анне и ее предшественнике – покойном императоре Петре II. На допросе Иван Долгорукий в целом подтвердил извет Тишина, но при ответах на «вопросные пункты» вдруг, как записано в протоколе допроса, «без всякого спроса, собою объявил следующее...». И далее записаны его показания о том, как князья Долгорукие составили подложное завещание умирающего Петра II и Иван подписался за царя.



*И. А. Долгорукий*

Все, сказанное Долгоруким, стало известно властям впервые – раньше на сей счет были только какие-то неясные и недостоверные слухи. Теперь же вся эта история, благодаря показанию «без всякого спроса» князя Ивана, неожиданно всплыла на поверхность и

позволила окружению Анны Иоанновны начать крупномасштабное политическое дело о заговоре. Долгоруких перевезли в столицу, начались пытки, а потом и казни всего их клана.

После первого допроса ответчика наступала очередь свидетеля. Число свидетелей закон не ограничивал – их могло быть и двое, и трое, и 11 человек. Так, в частности, было в деле 1729 года попа Давыда Прокофьева, который призывал прихожан своей церкви не присягать императору Петру II.

В политическом процессе свидетель играл значительную роль. Естественно, что показания его были важны для ответчика, но все же более всего в них был заинтересован изветчик. Можно без преувеличения утверждать, что отрицательный ответ свидетеля «писали» на спине изветчика. Если ответчик отказывался от извета, а свидетель не подтверждал показаний изветчика, то первым на дыбу, согласно старинному принципу: «Доносчику – первый кнут», попадал сам изветчик.

Идя с доносом, опытный изветчик должен был не просто представить сыску свидетелей преступления. Он должен был быть уверен в том, что свидетели, названные им, надежны, что они, как тогда говорили, «покажут именно», то есть единодушно подтвердят его извет именно в той редакции «непристойных слов», которую он изложил в своем доносе. Более того, дело изветчика считалось проигранным даже тогда, когда свидетели оказывались не единодушны в подтверждении извета, показывали «не все во одну речь» или, наконец, когда они проявляли неосведомленность по существу дела («скажут, что про то дело ничего не ведают»).

Допрашивали свидетелей «каждого порознь обстоятельно», предварительно приводя к присяге на Евангелии и кресте. Для политического сыска «негодных и презираемых» свидетелей не существовало. Среди них могли быть убийцы, клятвопреступники, разбойники, воры и т. д. Нередко извет насильника и убийцы, кричавшего «Слово и дело!» в тюрьме, подтверждали такие же, как он, личности с рваными ноздрями. И показания их принимали к сведению.

Не все ясно со свидетелями-крепостными (в делах их помещиков), свидетелями-подчиненными (в делах их начальников), наконец, со свидетелями-родственниками, в том числе – женами. В принципе, было общепризнанно, что жена не может быть свидетельницей по делу мужа. Однако политический процесс не имел четкой правовой регламентации, его природа была иной. Когда следствию нужны были конкретные показания на политического преступника, проблема родства власть мало интересовала. В свидетели годились и жена, и сын, и дочь! Очень часто именно близкие родственники являлись свидетелями доносчика. В 1724 году в Тайной канцелярии допрашивали как свидетеля жену изветчика Кузьмы Бунина, которая, конечно, подтвердила донос своего мужа. В 1736 году главной свидетельницей по делу чародея Якова Ярова стала его жена Варвара. В сыском процессе мы видим воочию старинный принцип: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло».

Свидетель мог попасть в ходе «ропроса» в очень сложное положение. Ведь если человек узнавал о государственном преступлении, то по закону он был обязан немедленно донести об этом куда надлежит. Однако, если по делу он проходил как свидетель, то это означало, что донос сделал не он, а кто-то другой. Стало



быть, это произошло по одной из двух причин: либо человек не захотел доносить, либо он заранее договорился с теми, кто оказался вместе с ним при совершении преступления, и взял на себя роль свидетеля. В первом случае он становился «неизветчиком», во втором – свидетелем изветчика. Так было в упоминавшемся деле солдата Седова в 1732 году. Когда Седов произнес «непристойные слова» про императрицу Анну Иоанновну, то свидетели изветчика – капрала Якова Пасынкова – солдаты Тимофей Иванов, Иван Мологлазов и Иван Шаров, «слыша означенные непристойные слова, говорили оному капралу, чтоб на оного Седова донес... к тому ж оные свидетели в очных ставках уличали того Седова о непристойных словах». В итоге награждены были как изветчик (он получил 10 рублей), так и свидетели как соучастники доноса (они получили по 5 рублей).

В других делах положение свидетеля не было таким ясным. Свидетели по делу Алексея Курносова – солдаты Копылов и Клыпин – слышали «непристойное слово» Курносова, на допросе и в очной ставке подтвердили донос изветчика. По приговору ответчика били кнутом, а свидетелей наказали плетьюми «за недонос их на помянутого Курносова о вышепоказанных непристойных словах». Получается, что все, услышавшие «непристойные слова», должны были устремиться наперегонки в Тайную канцелярию. Кто добежит первым – тот считается изветчиком, а отставшие – только свидетелями.

Но свидетеля поджидали трудности и более серьезные, чем кара за недостаточно быстрый бег в сыскное ведомство. Хуже всего было положение свидетеля того изветчика, который на следствии

отказывался от своего извета. Тем самым донос считался ложным, как – соответственно – и свидетельство по нему. Отрекшийся от доноса изветчик губил и своего свидетеля.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1713 году вор и убийца Никита Кирилов перед началом пытки в Преображенском приказе кричал «Государево дело» и на допросе у Ф. Ю. Ромодановского показал на пятерых посадских и крестьян как на раскольников, говоривших «непристойные речи» о Петре I. В подтверждение изветчик сослался на заключенного Ивана Бахметева, который всех названных раскольников знал лично. Бахметев – приговоренный к смертной казни фальшивомонетчик – полностью подтвердил извет Кирилова.

Однако на седьмой (!) пытке Кирилов, до этого упорно стоявший на своем извете, признался, что оклеветал названных им в извете людей («поклепал напрасно»), так как «чаял себе тем изветом от смертной казни свободы». В том же показании он признал, что «свидетеля... Ивашку Бахметева в тех словах лжесвидетельствовать научил он же, Никитка». Поднятый на дыбу Бахметев признался в лжесвидетельстве. По приговору обоих преступников казнили.

Словом, в политическом процессе человек мог оказаться одновременно и содоносчиком, и свидетелем, и ответчиком, причем граница этих столь разных в принципе статусов становилась фактически неуловимой. Так было с арестованным в 1740 году по делу Бирона

кабинет-министром А. П. Бестужевым-Рюминым. Он привлекался к расследованию как свидетель, но после своего отказа подтвердить показания против Бирона тотчас превратился в ответчика как сообщник бывшего регента.

В ходе следствия свидетелю предстояло проскочить между Сциллой соучастия в ложном доносителстве (в случае, если изветчик в ходе расследования отказывался от доноса) и Харибдой недоносителства (если ответчик признавал извет, вследствие чего свидетеля могли обвинить в недонесении). Кроме того, его всегда могли заподозрить в даче показаний по сговору с родственниками изветчика или ответчика, а также за взятку. В таких случаях писали: «Сговаривает по засылке и скупу». Короче, проблема точного, выверенного поведения на следствии для свидетеля оказывалась очень важной – цена каждого его слова была велика, прежде всего для него самого. Редко кто без потерь проходил это испытание. Пожалуй, лучше других выпутались из такого положения два свидетеля по делу Развозова и Большакова, в чем им способствовала... собака.

Летом 1732 года Василий Развозов донес на Григория Большакова в том, что последний назвал его «изменником» (а это являлось обвинением в государственном преступлении). Большаков показал, что слово «изменник» он действительно произносил, но не в адрес Развозова, а так назвал сидевшую с ними на крыльце собаку, о которой он, якобы «издевающихся говорил: "Вот, у собаки хозяев много, как ее хлебом кто покормит, тот ей и хозяин, а кто ей хлеба не дает, то она солжет и изменить может, и побежит к другим", и вышеозначенный Развозов говорил ему, Большакову:

"Для чего ты, Большаков, это говоришь, не меня ль ты изменником так называешь?" и он, Большаков, сказал, что он собаку так называет, а не его, Развозова... и слался на [двух] свидетелей».

Выдумка с третьим бессловесным свидетелем – собакой – оказалась необыкновенно удачной как для ответчика, так и для свидетелей. Они подтвердили, что «как оной Большаков к ним вышел на крыльцо, и в то время возле их была собака, и оной-де Большаков... молвил тако: "изменник", а к чему оное слово оной Большаков молвил, и из них кому, или к показанной собаке – того они, свидетели, не знают».

Линия поведения свидетелей в этом деле оказалась для них самой безопасной, она удачно, с одной стороны, демонстрировала их осведомленность по существу «непристойного слова», и, с другой стороны, свидетельствовала об их непричастности к возможному «изменному делу». Показания свидетелей полны спасительной для них неопределенности и одновременно убедительной ясности в признании неопровержимых фактов. Полное отрицание свидетелями сказанного Большаковым неизбежно навлекло бы на них подозрение в неискренности – ведь в произнесении страшного слова «изменник» сам ответчик Большаков признался.

Обычно политический сыск с недоверием относился к тем свидетелям, которые говорили, что «предерзостных слов» не слышали или не расслышали, в момент их произнесения преступником дремали, размышляли, спали, были «пьяны до беспамятства», отвлечены посторонним разговором и т. д. Такие ответы не нравились следователям, и они стремились найти

человека, который мог бы такие «увертки» опровергнуть. В данном же случае сидевшие на крыльце свидетели сразу же признались, что слово «изменник» они слышали. При этом они ничем не рисковали, когда утверждали, что наверняка знать, к кому именно оно обращено, не могут – ведь сам изветчик Развозов не был уверен до конца, что слово «изменник» относится к нему, иначе бы он не переспрашивал Большакова. И, наконец, свидетели могли без опасений для себя согласиться с версией Большакова о собаке. Опасаться же показаний против них этой бессловесной твари им не приходилось.

Как и в случае с изветчиком, если по ходу дела выяснялось, что следствие в свидетеле больше не нуждается, его выпускали из тюрьмы «на росписку», то есть с подпиской о неразглашении, и с обязательством явиться в Тайную канцелярию по первому требованию.

«Ставить с очей на очи» – так с древности называлась очная ставка. Она была неременной частью «ропроса».



*Стрельцы*

Одним из самых удачных примеров успешного использования очной ставки сыском стал Стрелецкий розыск 1698 года. Первые допросы рядовых участников мятежа в разных застенках 19 сентября показали, что стрельцы, по-видимому, заранее сговорились о том, как вести себя на следствии, и дружно отрицали все предъявленные им обвинения. Они держались двух главных версий: во-первых, шли-де в Москву не возводить на престол царевну Софью, а чтобы повидаться с семьями после долгой разлуки, и, во-вторых, почти каждый из них утверждал, что в мятеж его увлекли насильно, угрозами и общей порукой, в бою же с правительственными войсками он действовал под

угрозой смерти или побоев, а бежать из полка никак не мог опять же из-за круговой поруки. Но, как часто бывало в розысках, люди по-разному выносили пытки, и первым на следующий день, 20 сентября, в застенке дрогнул стрелец Сенька Климов. После третьего удара кнутом на дыбе он признался, что им, стрельцам, еще до похода был объявлен план действий в Москве: возвести на трон или царевну Софью Алексеевну, или царевича Алексея Петровича. Предполагалось, по словам Климова, расправиться с полками, оставшимися верными Петру I, а также перебить иностранцев и бояр. Самого же царя решили вообще не пропускать в Москву.

Показания Климова оказались тем «вирусом признания», которым «заразили» других стрельцов. Вот здесь-то и пошли в ход очные ставки. Климова сразу поставили с «очей на очи» с каждым из его семерых товарищей по застенку. На очных ставках стрельцы подтвердили показания Сеньки. Это был большой успех следствия. Затем восьмерых покаявшихся стрельцов разослали по другим застенкам, и они начали уличать других участников мятежа. Многие из них не выдержали этих обличений и подтвердили, что план захвата власти был им известен. Так, благодаря очным ставкам, стена круговой поруки стрельцов, простоявшая весь первый день, разом рухнула.

Словом, очная ставка считалась одним из лучших средств добиться признания. Поэтому так часто мы видим запись в деле после допроса: «И в помянутых запорных словах дана ему... очная ставка».

По форме очная ставка имела вид одновременного допроса извечника и ответчика или ответчика и

свидетелей. Очная ставка обычно состояла из трех основных действий:

1. Извечика заставляли повторять конкретные показания по его извету и уличать стоящего перед ним (или висящего на дыбе) ответчика.

2. Ответчика вынуждали подтвердить извет или привести аргументацию в свою защиту.

3. От свидетеля требовали подтвердить свои показания перед лицом ответчика.

Целью очной ставки ответчика Бирона со свидетелем А. П. Бестужевым-Рюминым (февраль 1741 г.) было «уличение» преступника во лжи с помощью свидетеля. : Свидетель должен был подтвердить сказанное им ранее и обличить ответчика. Так обычно и случалось на очных ставках. Но в данном случае произошел сбой машины следствия. Оказавшись на очной ставке, Бестужев вдруг отказался подтвердить свои прежние показания против Бирона. Тем самым он разрушил замысел следователей, хотевших с его помощью обвинить регента в намерении захватить власть. Сам Бирон писал в мемуарах, что Бестужев в момент очной ставки сказал: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено, – ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога». Возможно, Бестужев испытал то, что часто случалось с людьми, вынужденными на очной ставке, «с очей на очи», смотреть в глаза человеку (нередко прежде близкому ему, невинному, а подчас и с более сильным характером) и уличать его в преступлении. Для некоторых людей это было настоящей моральной мукой, особенно если речь заходила о подтверждении заведомой лжи.



В записях очных ставок мы чаще, чем в других документах политического сыска, «слышим» подлинные, живые голоса, видим мелкие черточки поведения людей в сыске. Примером может служить запись очной ставки Емельяна Пугачева со свидетелем Коровкой:

«Злодей Пугачев спрошен был: "Самая ль истинная в допросе его на малороссиянина Коровку от него показана?"

На что оной злодей сказал, что он показал самую сущую правду.

При чем сказано ему, злодею, узнает ли он Коровку? Оной сказал: "Как не узнать!"

И потом, после допроса, взведен к нему Коровка и злодей, взглянув на Коровку, сказал: "А, здравствуй, Коровка!", где и Коровка его узнал.

Злодею сказано, что Коровка против показания твоего ни в чем не признаетца.

Злодей сказал: "Я уже показал".

При чем Коровка его уличал, что он на него лжет.

Как же Коровка выведен, то злодей был увещевай. чтоб показал истинную, ибо инаково повосщик Алексей и сын Коровки (другие уличавшие Пугачева свидетели. – Е. А.) сысканы тотчас будут.



*Е. И. Пугачев*

И оной злодей Пугачев, став на колени, сказал: "Виноват Богу и всемилостивейшей государыне. Я на Коровку... показал ложно"».

Очная ставка не была сухим перекрестным допросом. Следователи позволяли изветчику и ответчику спорить, уличать друг друга. При этом у каждого появлялся свой шанс: доносчик на очной ставке мог «довести» извет, а ответчик – оправдаться. Следователи, проводившие очные ставки, надеялись, что в споре участники процесса проговорятся, прояснят какие-то детали или факты, которые ранее скрыли от сыска. Для следствия важны были каждое слово и даже жест. Следователи внимательно наблюдали за участниками очной ставки, отмечая малейшие черточки их поведения. В одном из дел о раскольнике записано, что, войдя в палату, где его допрашивали, этот человек

перекрестился на иконы двумя перстами, что сразу уличило в нем раскольника. В протоколе 1722 года очной ставки монаха Левина с оговоренным им главой Синода Стефаном Яворским записано: «А как он, Левин, перед архиереем приведен, то в словах весьма смутился».

Если на очной ставке изветчик отказывался от своего доноса, то в протокол вносили, что он «сговорил» донос с ответчика, и тот «очищался» от грязи возведенного на него извета (в приговоре так и записывали: «И потом очистился и освобожден»). После этого уже брались за изветчика. Его начинали пристрасно допрашивать, не подкуплен ли он. Впрочем, на очных ставках нелегко приходилось и ответчику. После долгих отпирательств на допросах он мог на очной ставке сдаться перед уличением изветчика и его свидетелей и признать извет. Конечно, все зависело от множества обстоятельств дела, но психологическая устойчивость человека, его воля, уверенность и напористость могли стать той «соломинкой», с помощью которой удавалось выкарабкаться из смертельной ямы.

Оболганные доносчиком люди после установления их невиновности никакой компенсации за «тюремное сидение», утрату имущества и здоровья не получали. Естественно, что перед ними никто не извинялся. Их попросту выпускали на волю под типовую расписку о неразглашении тайны следствия. Впрочем, люди, вероятно, почитали высшей наградой уже то, что они вышли из сыска живыми.

Кроме допросов и очных ставок следователи прибегали к проведению чего-то вроде следственного эксперимента. Во время Стрелецкого розыска 1698 года

стрельчиха Анютка Никитина призналась, что в Кремлевском дворце от царевны Марфы для стрельцов ей передали секретное письмо. Никитину привезли в Кремль, и она довольно уверенно показала место во дворце, где получила послание, а потом опознала среди выставленных перед ней служительниц царевны Марфы ту женщину, которая вынесла письмо.

Повальный обыск – так называли поголовный (сплошной) опрос – также был в арсенале следствия. Еще в Древней Руси с помощью повального обыска выясняли запутанные обстоятельства дела, искали воров, проводили опознание преступника или краденых вещей, выявляли суждения множества людей о подозреваемом человеке. В политическом сыске повальный обыск использовался в основном, чтобы проверить показания подследственного, удостовериться в его политической, религиозной и нравственной благонадежности. Его понимали как вариант упрощенного допроса массы свидетелей. Екатерина II вообще считала повальный обыск наиболее надежным средством выяснения истины, он, по ее мнению, мог бы заменить пытку и вообще всякое насилие при следствии.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1700 году псковский стрелец Семен Скунила в пьяной ссоре с переводчиком Товиасом Мейснером обещал «уходить государя». В «роспросе» Скунила показал, что в момент стычки с переводчиком он был настолько пьян, что ничего не помнит. Петр I, который лично рассматривал это дело, указал провести повальный обыск среди псковских стрельцов, поставив перед ними

единственный вопрос: «Сенька Скунила пьяница или нет?» По-видимому, Скунила был действительно замечательный даже для Пскова пьяница: все, кто его знал (а таких оказалось 622 человека!), подтвердили: «Ведают подлинно (т. е. абсолютно уверены. – Е. А.), что Сенька пьет и в зернь играет». Глас народа и решил судьбу Сеньки: вместо положенной ему за угрозы государю смертной казни его били кнутом и сослали в Сибирь.

В 1721 году был обвинен в «недонесении» капитан Александр Салов, который находился в церкви села Конопата, когда Варлаам Левин кричал там свои «злые слова». На следствии Салов ссылаясь на то, что он «издества на ухо подлинно крепок» и поэтому не расслышал «злых слов» Левина. Тайная канцелярия показаниям Салова не поверила и прибегла к повальному обыску его соседей и сослуживцев. Вопрос «Глух ли капитан Салов?» задали 48 жителям Конопати. 14 человек ответили, что вообще его не знают, 28 человек заявили, что Салова знают, но разговоров с ним никогда не имели и сказать, глух он или нет, не могут. И только четверо утверждали, что Салов-таки на ухо «крепок». Однако в феврале 1724 года Тайная канцелярия получила запрошенную ею справку из Пермского драгунского полка, в котором ранее служил Салов. Командир и офицеры полка утверждали, что пока Салов служил в полку, слышал он хорошо. Для Салова эта справка сыграла роковую роль: в октябре 1724 года

его лишили чина, били кнутом и сослали в крепость Святой Крест.

Экспертиза специалистов считалась необходимой в вопросах сложных, связанных с верой, а также с литературной деятельностью. Для экспертизы почерка обычно привлекали старых канцеляристов. Благодаря им были изобличены многие авторы анонимок. Бывший фаворит императрицы Елизаветы И. И. Шувалов в 1775 году, когда велось дело «княжны Таракановой», возможно, даже не знал, что почерк автора найденной в бумагах самозванки безымянной записки эксперты сравнивали с его почерком – ведь его заподозрили в связях со скандально известной «дочерью» Елизаветы Оетровны. На экспертизу в Коллегию иностранных дел отдавали и письма, написанные самозванкой, как она утверждала, «по-персидски».

Улики политический сыск искал всегда усердно, особенно при расследовании дел о магии. Ими считались особые книги, волшебные (заговорные) письма, записки, таинственные знаки и символы. Уликами являлись косточки различных животных (чаще всего – лягушек, мышей, птиц), волосы, травы, корни, скрепленные смолой или воском.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1720 году в Тайной канцелярии рассматривалось дело супругов – лифляндских крестьян Анны-Елизаветы и Андриса Ланг из-под Пернова (Пярну). Анна-Елизавета как-то заметила на краю старого пивного чана «черные непонятные литеры», которые она, себе и мужу на горе,

списала, а потом о них рассказала соседям и родственникам. Супругов схватили по доносу соседа, и оба умерли после пыток в Петропавловской крепости.

В том же году допрашивали монаха Порфирия, которому явилось некое небесное видение. Монах не только рассмотрел появившиеся на небе символические фигуры (мечи, кресты и т. д.), но и занес их на бумагу, что и стало причиной его несчастий и гибели на Соловках.

В 1735 году в Тайную канцелярию доставили Андрея Урядова, который был уличен «в ношении при себе потаенно, незнаемо для каких причин, коренья в воску и трав... И по осмотру явилось небольшой корень, облеплен воском, да от кореня маленькой обломок, да два маленькия куска травы, из которых один облеплен воском». Урядов долго «запирался» и лишь в застенке показал, что коренья и травы, как средство от лихорадки, дал ему знакомый тверской ямщик и «от того-де была ему, Урядову, польза».

В 1754 году панику при дворе императрицы Елизаветы вызвала странная находка в государевой опочивальне: корешок в бумажке. Это был верный признак подброшенной кем-то «порчи».

Скепсис и цинизм характерны для политического сыска всех времен. Чиновники сысчного ведомства XVIII века, вероятно, верили в Бога, но следы их работы свидетельствуют, что они были полностью лишены характерной для многих православных христиан того

времени набожности, трепетной веры в сверхъестественное, чудесное. Дела о чудесах расследовались как обычные политические дела, по принятым шаблонам. Новоявленных пророков, блаженных и святых тщательно допрашивали, устраивали им очные ставки, а потом безжалостно тащили на дыбу, били кнутом и заставляли, как монаха Порфирия, признаться, что все он «показал ложно, будто видел на небе видения, чему и рисунок учинил». Кликуши, на которых в народе смотрели как на блаженных, попадали на дыбу и также слышали традиционный вопрос: «С чего у тебя сделалась та скорбь, не притворяешься ли, кто научал тебя кричать?» Законодательной основой для таких действий сыска служила знаменитая резолюция Петра I на запрос Синода о том, как поступать с людьми, ставшими свидетелями чуда. Петр отвечал: «Наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей».

Впрочем, в подходе сыска к чудесам и магии видна некая двойственность. С одной стороны, волшебников и колдунов разоблачали как шарлатанов, с другой – в их сверхъестественные способности наносить ущерб все-таки верили. В сопроводительном указе о сосланном в Якутск волшебнике Максиме Мельнике сказано, что его нужно содержать прикованным к стене и «не давать ему воды, ибо он... многожды уходил в воду». Власть считала, что «мнимые волшебники» только обманывают людей и обогащаются за счет простаков. Однако наказание за это надувательство было самое страшное: «Оные обманщики казнены будут смертию, сожжены». Якова Ярова в 1736 году сожгли не как обманщика и шарлатана, а как чародея.



Традиционная жестокость наказания колдунов проистекала из убеждения, что магические силы действуют, дьявол не дремлет. Существование нечистой силы и ее агентов среди людей, в том числе и среди верноподданных России, рассматривалось как вполне реальное. Общение же с этой силой признавалось страшным государственным преступлением.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1737 году томский воевода Угрюмов лично «допрашивал» сидевшее в утробе 12-летней калмычки Ирины «дьявольское навождение». На ловку этой легкомысленной девицы-чревовещательницы попало еще несколько солидных людей. Дело получило огласку и вызвало тревогу в столице. Специальная комиссия быстро распутала историю с чревовещанием, Ирина была подвешена на дыбу, ее били розгами, и вскоре она призналась, что после какой-то болезни появилось «в утробе у нее... ворчанье, подобно как грыжная болезнь», и, когда воевода «спрашивал дьявола: "Кто-де ты таков?", в то время отвечала она своим языком, тайно скрывая себя». Все участники этого дела по приговору Тайной канцелярии были «в назидание от лежковерия» наказаны. Сама же Ирина за «ложный вымысел дьявола» была бита кнутом и с вырезанием ноздрей сослана в Охотск. Словом, в сыске с этим делом разобрались как заправские атеисты.

Дело Козицына из Яренска, начатое в 1756 году, заключалось в том, что он обвинялся многими соседями в «порче» женщин, на которых он

насылал разные болезни, от чего эти женщины умирали или бились в судорогах. Вначале «чародей» полностью отрицал свою вину даже «под пристрастием битья батогами», но на увещевании священником Козицын, человек, по-видимому, психически нездоровый, неожиданно дал показания на соседа, Гордея Карандышева, как на своего учителя чародейства. Якобы он Козицыну «показал у себя в доме пятерых дьяволов, которые невидимо в избе были» и сказал, что «ежели ты будешь людей портить, то оные дьяволы в том тебе будут послушны». Позже, на следствии, Козицын показал, что «работал» в основном с тремя дьяволами, которых он приводил в свое зимовье. Они появлялись перед ним в виде существ «малорослых, подобных человеку, у которых по всему телу шерсть, и сами все черные, а головы у них, против человеческих, вострыя, а одежды на них не было, а на спрос говорили человеческим языком, по-русски... и потом, когда он, Козицын, намерение имел кого испортить, и дьяволы являлись, и наговоривши волшебными, упоминая дьявола, словами, хотя б на хлеб печеный, на муху живую и прочее, чтоб такое не было, с ними посылал, сказывая кого испортить, именно положить в питье, и как выпьет, то б те люди кричали и бились, и они, дьяволы, в том действовали, а ныне он портить не умеет и все то учение забыл, и дьяволы к нему не являются». На пытках Козицын «сговорил вину» с Карандышева, которого тоже пытали, и указал на другого «учителя». Найти его не удалось, но на четырех пытках (71 удар кнута!) Козицын подтвердил

последнюю версию показаний, и в 1763 году Яренская канцелярия вынесла приговор: «Означенному чародею и волшебнику Андрею Козицыну, который имел волшебство и заговор с дьяволом, и портил означенных жонок и затейно говаривал Гордея Карандышева, при собрании народа, дав время к покаянию, учинить казнь смертную сжением в срубе». Смертная казнь позже была заменена битьем кнутом и ссылкой в Нерчинск.

В то же время Екатерина II писала А. А. Вяземскому: «Куды как бы я любопытна была видеть ваши колдуны. Ну как этому стать, чтоб пуская по ветру червей за человеком, он бы оттого умер? И подобным басням в Сенате верят и потому осуждают! Виноваты они в том, что от Бога отреклись, а что чорта видели, то всклепали на себя». Этим письмом императрица, в сущности, прекратила охоту на ведьм.

Любопытно, что те дела, которые по всем понятиям тех времен бесспорно свидетельствовали о вмешательстве неких сверхъестественных сил, сыск старался замолчать. В 1724 году началось дело великолуцких помещиков братьев Тулупьевых. Один из них, Федор, в 1721 году серьезно заболел, после чего онемел. Сам лейб-медик Блюментрост, осмотрев больного, обнаружил у него «паралич глотки». Тулупьева отставили от службы и разрешили уехать в свое поместье. Однако через три года он во сне неожиданно упал с лавки и тут вновь обрел голос. При этом он рассказал, что во сне ему явился некий старичок, который отвел его сначала в церковь, потом на гору, а там столкнул Тулупьева вниз, после чего тот очнулся на

полу и закричал от страха. Слух о чудесном исцелении Тулупьева пронесся по уезду. Федора и его брата взяли в Синод, где их допросили, как и еще нескольких свидетелей. Тулупьевы характеризовались как люди верующие, непьющие и честные, диагноз Блюментроста был авторитетен, одним словом, произошло явное чудо. Об этом глава Синода Феодосии донес Петру I. Вскоре царь указал: «Дело о разглашении про разрешение немоты уничтожить», то есть закрыть.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Осталось не расследованным в 1765 году донесение лекаря Рампау, который, ночуя в доме одной крестьянки, стал свидетелем того, как овцы «с хозяйкою стали человеческими голосами сквернословить, тихо говорить более двух часов... отчего я, – пишет ученый лекарь, – от великого страха и ужаси принужден из избы выбежать за солдатом, который ночевал в сарае». Когда лекарь и солдат вернулись в избу, то «овцы паки стали, при помянутом солдате, человеческим голосом говорить, меня по имени, отчеству и фамилии называют, и о себе имена человеческие сказывают: один из их – Федор, а двое – Гаврилы». После «знакомства» овцы стали просить хозяйку – явную чрево вещательницу: «Алена! Выпусти нас!»

Сумасшедшие и люди с расстроенной психикой попадали в сыск потому, что имели несчастье бредить на политические, «непристойные» темы. Там же оказывались и дерзкие богохульники, находившиеся в состоянии «исступления» – буйного помешательства. Попадали в сыск и те, кто видел чудесные видения, а потом спешил предупредить власти о грядущем конце

света, о необходимости срочно построить на каком-то, указанном ему свыше месте церковь. Эти люди, движимые неведомыми «гласами», шептавшими им, как в 1726 году попу Василию Тимофееву: «Иди и повеждь о сновидении царице», являлись в Тайную канцелярию или ко дворцу и настаивали донести самодержице, что нужно срочно у каждой печи и во всех нужниках во дворце поставить часовых, «понеже в том есть великое опасение», или что светлейшего князя А. Д. Меншикова нельзя допускать во дворец, потому что Пресвятая Богородица сказала: «Меншиков, пребыв з женою своею, не обмываетца и ездит к Ея величеству в нечистоте, и на Полтавской баталии был он в такой же нечистоте, отчего на той баталии побито много силы». Перед следователями проходила вереница людей, объятых манией величия, бред которых тем не менее подходил под обвинения в самозванстве.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Подпоручик Дмитрий Никитин в 1747 году сказал, что он сын Петра Великого и сам император, и «когда-де я был при государыне царевне Екатерине Иоанновне пажем, и тогда мне пожаловано тридцать шесть дьяволов, и я с ними по Москве ездил, а Михаил Архангел за мною на запятках стаивал».

Колодник Калдаев на допросе рассказал следователям, что «он в доме видел видение: очевидно влетел в избу ево орел и садился у него на живот, и говорил человеческим голосом, что будет он... царем Петром Петровичем».

В 1754 году в Тайной канцелярии допрашивали солдата Петра Образцова, который доверительно рассказывал, что ему явился дьявол и сказал: наследник престола Петр Федорович – «змей и антихрист, и оной дьявол невидимо всегда с ним, чрез плечо говорит и шепчет на ухо... и не дает ему Богу молиться».

Безусловно, в описываемое время сумасшествие («сумасбродство») признавалось болезнью. Но XVIII век еще не избавился от представлений о душевной болезни как материальном и даже живом существе, которое по воле злых сил вселяется в человека и «коррежит» его, делает «беснующимся». Лечили больных «не в состоятельном уме» различными способами. Для того чтобы изгнать из них беса, кропили святой водой, держали в оковах на освященной монастырской земле, лечили «трудотерапией». Несмотря на все это умалишенные считались правоспособными и отвечали за свои слова и действия по законам. К душевнобольным, которые кричали «Слово и дело!» или публично говорили «непристойные слова», относились так же, как к здоровым преступникам: их хватали, заковывали, вставляли в рот кляп, чтобы они не произносили «непристойные слова». Как и здоровых преступников, их допрашивали в «ропросах» и в очных ставках. Данные ими показания пунктуально записывали, несмотря на их явную бредовость. Это объяснимо боязнью пропустить факт государственного преступления, причем ради этого следователям приходилось порой допрашивать совершенно больных людей.

Неправомочными признавались лишь те сумасшедшие, чьи речи было невозможно понять, а их

бессвязные показания нельзя было занести на бумагу. Буйное поведение считалось свидетельством сумасшествия. Но и таких больных некоторое время держали под арестом, ожидая, когда они немного «придут в ум» и смогут давать показания. Если же буйство подследственного продолжалось и не было симуляцией (а за этим следили), то больного, находившегося «в исступлении ума», отправляли в монастырь «для содержания ко исправлению ума». При этом приписка в резолюции «До сроку» означала, что сумасшедшего посылали в монастырь на какое-то время, до выздоровления, точнее – до прихода в то состояние, которое называлось «Пришел в ум», «Стал быть в настоящем уме». Монастырские власти обязывались тотчас сообщать куда надлежит об улучшении состояния больного. Навязанные монахам сумасшедшие были большой для них обузой, от которой они спешили избавиться. Возвращенного в сыск человека вновь допрашивали и пытали по сказанным им ранее «непристойным словам», игнорируя то обстоятельство, что слова эти были произнесены им как раз «в безумстве».

Словом, показания сумасшедших признавались политическим сыском как имеющие полную юридическую силу и их использовали в «ропросах», на очных ставках и в пытках. Сыск не отказывался и от доносов сумасшедших, видя в них рядовых изветчиков. Как и в делах о «непристойных словах», судьба колодника-сумасшедшего во многом зависела от того, что он говорил, какими именно «непристойными словами» бредил. Если он объявлял себя царем или утверждал, что сожительствовал с императрицей, мылся

с ней в бане, то наказание было суровое, если же он просто ругал государя по-матерному, то кара была мягче.

Даже в екатерининские времена, когда медицинская наука сделала заметные успехи в постижении тайн человека и государыня не побоялась привить себе и сыну оспу, «политический бред» сумасшедшего оценивался по-прежнему как государственное преступление. В приговоре 1777 года о заточении в Динамюнде отставного бригадира барона Федора Аша, который объявил, что он – подданный «законного государя» И. И. Шувалова – сына Петра Великого, есть ключевое выражение: «впал по безумству в преступление», поясняющее отношение сыска к делам сумасшедших. Аша тщательно, как вполне здорового человека, допрашивали «для чего он столь дерзостныя и вымышленные слова... писать и вредные намерения иметь отважился?» Тогда же его вопрошали и о сообщниках – без этого сыск не в сыск: «Не имел ли он в сем его развращенном и вредном намерении подобных себе сотоварищей?..»

Позже просидевшего 19 лет в Динамюнде Аша привезли (уже при Павле I) в Петербург, но вскоре стало ясно, что он «в уме не исправился», и поэтому в именном указе от 2 апреля 1797 года сказано, что Аш «по учиненной его дерзости, нарушению присяги и изменническому предприятию... заслуживает смертную казнь», которую заменили пожизненным заточением в суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь. При этом, как писал современник, несчастный сумасшедший скорее «был жалок, нежели кому-либо опасен».

Однако власть так не считала. Когда в 1775 году сошедший с ума надворный советник Григорий Рогов



вошел с улицы в здание Синода, сел за стол и начал писать манифест от имени «императора Павла Петровича», то нетрудно было предвидеть, как отнесется к этому императрица Екатерина II, которая не хотела уступать престол сыну. Поэтому Рогова схватили и отправили не в монастырь «под начало» монахов, а в Петропавловскую крепость. Его делом занималась сама Екатерина II. Потом Рогова, хотя и признали «в уме помешанным», заключили в Шлиссельбургскую крепость, где и содержали как государственного преступника. В инструкции охране было приказано, с одной стороны, не слушать Рогова, так как «он в уме помешан», с другой стороны, немедленно рапортовать о всех его «непристойных словах» коменданту крепости, а уж тот сообщал о речах сумасшедшего узника самому генерал-прокурору. На всякий случай психически здоровую жену и невинных детей Рогова Екатерина II также сослала в Сибирь.

Следователи сыска не были лишены наблюдательности, неплохо знали человеческую психологию вообще и психологию «преступников», в частности. Порой они умели найти тонкий подход к подсудимому. За ним внимательно наблюдали во время допросов, отмечали, как он реагирует на сказанные слова, предъявленные обвинения, как ведет себя перед лицом свидетелей на очной ставке. При допросе в 1732 году заподозренного в сочинении подметного письма монаха Решилова ему дали прочитать это письмо, а потом Феофан Прокопович, ведущий допрос вместе с кабинет-министрами и Ушаковым, записал как свидетельство несомненной вины Решилова: «Когда ему при министрах велено письмо пасквильное дать

посмотреть, тогда он पहले головою стал качать и очки с носа, моргая, скинул, а после, и одной строчки не прочет, начал бранить того, кто оное письмо сочинил».

Вообще, Феофан Прокопович был настоящим русским Торквемадой. Инструкции, составленные им для ведения допросов, являются образцом полицейского таланта: «Пришед к [подсудимому], тотчас нимало немедля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на все лице его, не явится ли на нем какое изменение, и для того поставить его лицом к окошкам... Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать».

Самыми трудными для следователей были люди образованные, умные. Как уже сказано выше, Николай Новиков оказался «неудобным клиентом», он умело защищался, уходил от расставленных ему ловушек и привычных приемов сыска.

Сложным оказалось и дело самозванки – «дочери Елизаветы Петровны». Князь А. М. Голицын, ведший это дело, прибегал к различным уловкам и нестандартным приемам, чтобы хотя бы понять, кем же на самом деле была эта женщина, так убежденно и много говорившая о своем происхождении от императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского, а также о своих полуфантастических приключениях в Европе и Азии. Голицын допрашивал самозванку по-французски, но, пытаясь выяснить ее подлинную национальность, неожиданно перешел на польский язык. Она отвечала по-польски, но было видно, что язык этот ей плохо знаком. Из этого Голицын сделал вывод, что она, очевидно, не полька. Стремясь уличить самозванку (говорившую, что она якобы бежала из России в Персию

и хорошо знает персидский и арабский языки), Голицын заставил ее написать несколько слов на этих языках. Эксперты из Академии наук, изучив записку, утверждали, что ее язык им неизвестен.

Проведя много часов в допросах «княжны Таракановой», Голицын пытался изучить ее характер, выяснить, какие конечные цели были у преступницы. Оставленные им описания и характеристика этой авантюристки не лишены глубины и выразительности:

«Сколько по речам и поступкам ее судить можно, свойства она чувствительного, вспыльчивого и высокомерного, разума и понятия острого, имеет много знаний... Я использовал все средства, ссылаясь и на милосердие В. и. в. и на строгость законов... чтобы склонить ее к выяснению истины. Никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься. Увертливая душа самозванки, способная к продолжительной лжи и обману, ни на минуту не слышит голоса совести. Она вращалась в обществе бесстыдных людей и поэтому ни наказания, ни честь, ни стыд не останавливают ее от выполнения того, что связано с ее личной выгодой. Природная быстрота ума, ее практичность в некоторых делах, поступки, резко выделяющие ее среди других, свелись к тому, что она легко может возбудить к себе доверие и извлечь выгоду из добродушия своих знакомых».

Итак, уже к началу XVIII века в политическом сыске существовала довольно разработанная «технология» ведения дел: «ропрос», который предполагал допросы извечика, ответчика и свидетелей, а также их очные ставки. Следователи уже на стадии «ропроса»

стремились добиться от изветчика точного, «доведенного» с помощью свидетелей извета. От ответчика требовали быстрого признания вины, раскаяния, подробного рассказа о целях, средствах задуманного им или совершенного государственного преступления, а также выдачи сообщников.

Если дело не закрывалось на «роспросе», то оно переходило в следующую стадию, называемую розыск. Решение о начале розыска в застенке принимал руководитель сыскного ведомства, а иногда и сам государь на основе знакомства с результатами «роспроса».

## «А С ДЫБЫ СКАЗАЛ...»

Обычно розыск начинался с «роспроса у пытки (у дыбы)», то есть допроса в камере пыток, но пока без применения истязаний. Другое название допроса в камере пыток – «роспрос с пристрастием».

Допрашивали «у пытки» следующим образом. Человека подводили к дыбе. Дыба представляла собой примитивное подъемное устройство. В потолок или в балку вбивали крюк, через него (иногда с помощью блока) перебрасывали ремень или веревку. Один конец ее был закреплен на войлочном хомуте, называемом иногда «петля». В нее вкладывали руки пытаемого. Другой конец веревки держали в руках ассистенты палача.

Допрос под дыбой был, несомненно, сильным средством морального давления на подсудимого, особенно для того, кто впервые попал в застенки. Человеку зачитывали приговор о пытке, что уже само по себе действовало устрашающе. Он стоял под дыбой, видел заплечного мастера и его помощников, мог наблюдать, как они готовились к пытке: осматривали кнуты, разжигали жаровню, лязгали страшными инструментами. Некоторым узникам показывали, как пытают других. Делалось это, чтобы человек понял, какие муки ему предстоят. Под дыбой проводились и очные ставки, причем один из участников мог уже висеть на дыбе, а другой – стоять возле нее («Их ставити с тат[ь]ми с очей на очи, и татей перед ними пытать»). Следователи прибегали и к имитации пытки. Для этого приведенного в застенки подсудимого раздевали и готовили к подъему на дыбу.

«Роспрос у пытки» не заменял саму пытку, а лишь предшествовал ей. И если колодника решили пытать, то от пытки его не спасало даже чистосердечное признание (или то признание, которое требовалось следствию) – ведь пытка, по понятиям того времени, служила высшим мерилom искренности человека. Даже если подследственный раскаивался, винился, то его обычно все равно пытали. С одного, а чаще с трех раз ему предстояло подтвердить повинную, как писалось в документах, «из подлинной правды». Если пытали даже признавшего свою вину, то для «запиравшихся», упорствующих в «роспросе», на очной ставке или даже в «роспросе у дыбы» пытка была просто неизбежной.

«Роспрос у дыбы» переходил в собственно пытку. Как правило, соблюдалась такая последовательность:

- 1) «роспрос» в застенке под дыбой, с увещанием и угрозами;
- 2) подвешивание на дыбу («виска»);
- 3) «встряска» – висение с тяжестью в ногах;
- 4) битье кнутом в подвешенном виде;
- 5) жжение огнем и другие тяжкие пытки.

Пытка как универсальный инструмент судебного и сыскного процесса была чрезвычайно распространена в XVII-XVIII веках. Заплечные мастера, орудия пытки, застенки и колодничьи палаты были во всех центральных и местных учреждениях. В России, в отличие от многих европейских стран, не было «степеней» пыток, все более и более ужесточавших муки пытаемого. Мерило жестокости пытки определял сам судья, а различия в тяжести пытки были весьма условны: «В вящих и тяжких делах пытка жесточае, нежели в малых бывает». Законы

рекомендовали судье применять более жестокие пытки к закоренелым преступникам, а также к людям физически более крепким и худым. Тогда опытным путем пришли к убеждению, что полные люди тяжелее переносят физические истязания и быстрее умирают без всякой пользы для расследования. Милосерднее предписывалось поступать с людьми слабыми, а также менее порочными: «Также надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть и, усмотри твердых, безстыдных и худых людей – жесточае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди – легче».

По закону от пытки освобождались дворяне, «служители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и беременные женщины. В уголовных процессах так это и было, но в политических делах эта правовая норма не соблюдалась. В сыском ведомстве пытали всех без разбору, и столько, сколько было нужно. В итоге на дыбе оказывались и простолюдины, и лица самых высоких рангов, дворяне и генералы, старики и юноши, женщины и больные.

Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали поменьше, да и кнут иногда заменяли плетью или батогами. Беременных, как правило, не пытали. Впрочем, известно, что прислужница царевны Марфы Алексеевны, Анна Жукова, в 1698 году «на виске... родила». Между тем до виски ее пытали трижды, причем в последний раз дали ей 25 ударов кнута. Вряд ли следователи не видели, что женщина беременна. Императрица Елизавета в 1743 году так писала по поводу «роспроса» беременной придворной дамы Софьи Лилиенфельд, проходившей по делу Лопухиных: «Надлежит их (Софью с мужем. – Е. А.) в крепость всех взять и очной ставкой производить, несмотря на ее

болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче жалеть не для чего». Преступницу, родившую ребенка, разрешалось наказывать телесно через 40 дней после родов.

Пытки и казни детей закон в принципе не запрещал, но все-таки по делам видно, что детей и подростков щадили. В страшном Преображенском приказе Ромодановского малолеток только допрашивали, на дыбу не поднимая. Проблема возраста пытаемых и казнимых впервые серьезно встала лишь в царствование Елизаветы Петровны. В 1742 году 14-летняя девочка Прасковья Федорова зверски убила двух своих подружек. Местные власти настаивали на казни юной преступницы. Сенат отказался одобрить приговор и уточнил, что малолетними считаются люди до 17 лет. Тем самым они освобождались от пытки и казни, по крайней мере, теоретически. При обсуждении этой проблемы Сенат поспорил с Синодом: первый считал, что нужно отменить пытки людей, не достигших 17 лет, а Синод был убежден, что пытать можно с 12 лет, так как с этого возраста люди уже приносили присягу и женились. Иначе говоря, сенаторы оказались гуманнее служителей Бога, которые считали, что человек становится преступником с того момента, как начинает грешить, а способность грешить у человека проявляется уже в семь лет.

Рассмотрим теперь саму процедуру пытки. Перед пыткой приведенного в застенок колодника раздевали и осматривали. В деле Ивана Лопухина отмечалось, что вначале он давал показания «в застенке, еще нераздеванный». Это обстоятельство является принципиальным, почему его и зафиксировали в деле.



Публичное обнажение тела считалось постыдным, позорящим действием, раздетый палачом человек терял свою честь.

Осмотру тела (прежде всего – спины) пытаемого перед пыткой в сыске придавали большое значение. Это делали для определения физических возможностей человека в предстоящем испытании, а также для уточнения его биографии: не был ли он ранее пытан и бит кнутом. Дело в том, что при наказании кнутом, который отрывал широкие полосы кожи, на спине навсегда оставались следы в виде белых широких рубцов – «знаков». Специалист мог обнаружить следы битья даже многое время спустя после экзекуции. Когда в октябре 1774 года генерал П. С. Потемкин решил допросить Пугачева с батогами и для этого приказал раздеть и разложить крестьянского вождя на полу, то присутствующие при допросе стали свидетелями работы опытного заплечного мастера. Вот как описывает этот эпизод сопровождавший Пугачева майор П. С. Рунич: Потемкин приказал «палачу начать его дело, который, помоча водою всю ладонь правой руки, протянул оною по голой спине Пугачева, на коей в ту минуту означились багровые по спине полосы. Палач сказал: "А! Он уж был в наших руках!" После чего Пугачев в ту минуту вскричал: "Помилуйте, всю истину скажу и открою!"»

Если на спине пытаемого обнаруживались следы кнута, плетей, батогов или огня, его положение менялось в худшую сторону – рубцы свидетельствовали: он побывал «в руках ката», а значит – человек «подозрительный», возможно, рецидивист. Арестанта обязательно допрашивали о рубцах, при необходимости о его персоне наводили справки. Веры показаниям такого человека уже не было никакой. О нем делали такую

запись: «К тому же он... человек весьма подозрительный, и за тем никакой его к оправданию отговорки верить не подлежит». После «роспроса с пристрастием» под дыбой и осмотра тела пытаемого начиналась собственно физическая пытка.



*Пытка на дыбе*

«Виска», то есть подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему ударов кнутом, была, как уже сказано, первой стадией пытки. Известно два способа виски (другое ее название – «подъем на дыбу»). В одном случае руки человека вкладывали в хомут в положении перед грудью, во втором – руки преступника заводили за спину, а затем (иногда с помощью блока) помощники

палача поднимали человека над землей так, чтобы «пытанной на земле не стоял, у которого руки и заворотит совсем назад, и он на них висит». Как пишет иностранец – очевидец этого страшного зрелища, палачи «тянут так, что слышно, как хрустят кости, подвешивают его (пытаемого. – Е. А.) так, словно раскачивают на качелях». В таком висячем положении преступника допрашивали, а показания записывали: «А Васка Зорин с подъему сказал...» Кстати говоря, путешественники могли видеть пытки своими глазами – посещение застенка было видом экскурсии, подобно посещению анатомического театра или кунсткамеры. «Встряска» была методом ужесточения «виски». В составленном в середине XVIII века описании используемых в России пыток («Обряд, како обвиненный пытается») об этой весьма болезненной процедуре сказано следующее: между связанными ногами преступника просовывали бревно, на него вскакивал палач, чтобы сильнее «на виске потянуть ево, дабы более истязания чувствовал. ЕСТЬЛИ же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше».

Г. К. Котошихин, живший во второй половине XVII века, описывает другой, весьма распространенный и впоследствии, вариант «встряски»: после того как ноги пытаемого, который висел на дыбе, связывали ремнем, «один человек, палач, вступит ему в ноги, на ремень, своею ногою и тем его оттягивает, и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон». Англичанин Перри, бывший в России при Петре I, писал о том, что к ногам пытаемого еще привязывали гирю. Вывернутые из суставов руки вправляли, и после

этого человека вновь подвешивали на дыбу так, что новая встряска оказывалась болезненней предыдущей.

«Развязка в кольца» была разновидностью виски. Из дела Авдотьи Нестеровой (1754 г.) видно, что «она положена и развязана в кольца и притом спрашивана». Суть пытки состояла в том, что ноги и руки пытаемого привязывали за веревки, которые протягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге человек висел растянутым в воздухе. В Западной Европе XVI-XVIII веков это приспособление называлось «колыбель Иуды».

Редко, но бывало так, что пытка на стадии виски и заканчивалась. Это происходило тогда, когда преступник уже с виски давал ценные показания или признавал свою вину. Но для многих виска была только началом тяжелых испытаний. Из дел сыска следует, что виска даже не считалась полноценной пыткой.

Битье кнутом на дыбе было следующей стадией пытки. Рассмотрим, как это происходило. После того как человека поднимали на дыбу уже для битья кнутом, палач, согласно «Обряду, како обвиненный пытается», связав ремнем ноги пытаемого, «привязывает [их] к зделанному нарочно впереди дыбы столбу и, растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станет». Иначе говоря, тело пытаемого зависало почти параллельно земле. Когда наступал момент бить кнутом, то палачу требовался умелый ассистент – он следил за натягиванием тела пытаемого так, чтобы кнутмейстеру было ловчее наносить удары по спине. Били только по спине, преимущественно от лопаток до крестца. Немецкий путешественник конца XVII века Г. А. Шлейссингер, видевший пытку в застенке, к этому

добавляет, что ассистент хватал пытаемого за волосы и пригибал голову, «чтобы кнут не попадал по голове». Однако многих подробностей пытки мы так и не узнаем – очень часто все разнообразие пыточной процедуры умещалось в краткие слова протокола пытки: «Подымай и пытан...»



*Битье кнутом на дыбе*

Кнут применялся как для пытки, так и для наказания преступника. О нем сохранились многочисленные, хотя и противоречивые, сведения. У Котошихина сказано о кнуте следующее: «А учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей», то есть до двух метров. Англичанин Джон Перри описывает иное

устройство кнута: «Кнут состоит из толстого крепкого кожаного ремня, длиною около трех с половиной футов (т. е. более метра. – Е. А.), прикрепленного к концу толстой палки длиною 2,5 фута». С ним не согласуются сведения голштинца Ф. В. Берхгольца, который в своем дневнике 1721 года пишет, что кнут – «род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня». По словам датского посланника в России 1709-1710 годов Юста Юля, кнут «есть особенный бич, сделанный из пергамента и сваренный в молоке», чтобы он был «тверд и востр». Неизвестный издатель записок пастора Зейдера, наказанного кнутом во времена Павла I, дает свое описание этого орудия: «Кнут состоит из заостренных ремней, нарезанных из недубленой коровьей или бычачьей шкуры и прикрепленных к короткой рукоятке. Чтобы придать концам их большую упругость, их мочат в молоке и затем сушат на солнце, таким образом они становятся весьма эластичны и в то же время тверды как пергамент или кость». Кнут специально готовился к экзекуции, его согнутые края оттачивали, но служил он недолго. Недаром в «Наборе палача» 1846 года (официальное название минимума палаческих инструментов), с которым палач являлся на экзекуцию, было предписано иметь 40 запасных «сыромятных обделанных сухих концов». Так много запасных концов было нужно потому, что их надлежало часто менять. Дело в том, что с размягчением кожи кнута от крови сила удара резко снижалась. И только сухой и острый конец считался «правильным». Как писал Юль, кнут «до того тверд и востр, что им можно рубить как мечом... Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко

владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти». Такую же технику нанесения ударов описывает и англичанин Перри: «При каждом ударе он (палач. – Е. Л.) отступает шаг назад и потом делает прыжок вперед, от чего удар производится с такою силою, что каждый раз брызжет кровь и оставляет за собой рану толщиной в палец. Эти мастера, как называют их русские, так отчетливо исполняют свое дело, что редко ударяют два раза по одному месту, но с чрезвычайной быстротой располагают удары друг подле дружки во всю длину человеческой спины, начиная с плеч до самой поясницы». Чтобы достичь необходимой точности удара, палачи тренировались на куче песка или на бересте, прикрепленной к бревну.

Вообще-то, цель убить пытаемого перед заплечным мастером не ставилась. Наоборот, ему следовало бить так, чтобы удары были чувствительны, болезненны, но при этом пытаемый сразу после застенка оставался жив – по крайней мере до тех пор, пока не даст нужных показаний. За состоянием арестанта при пытке и после нее тщательно следили. Следователи понимали, что человек, к которому применили меры, не соответствовавшие его «деликатному сложению», возрасту и состоянию здоровья, мог умереть под пытками без пользы для сыскного дела. Указы предписывали смотреть, чтобы людей «вдруг не запытать, чтоб они с пыток не померли вперед для разпросу, а буде кто от пыток прихудает и вы б тем велели давать лекарей, чтоб в них про наше дело сыскать допряма». Впрочем, иным людям, чтобы погибнуть, было достаточно нескольких ударов кнутом.

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Пытки стрелецкого подполковника Колпакова в 1698 году оказались настолько жестокими, что он онемел и не смог ответить ни на один вопрос. Колпакова сняли с дыбы и принялись лечить.

Во время пыток Кочубея в 1708 году следователи также опасались давать ему много ударов. Канцлер Г. И. Головкин сообщал царю: «А более пытать Кочубея опасались, чтоб прежде времени не издох, понеже зело дряхл и стар, и после того был едва не при смерти... и если б его паки (опять, снова. – Е. А.) пытать, то чаем, чтоб конечно издох».

В 1718 году начальник Тайной канцелярии П. А. Толстой писал Петру I о пытаемой в застенке Марии Гамильтон: «Вдругорядь пытана... И надлежало бы оную и еще пытать, но зело изнемогла».

Выражение «пытать жестоко» («жесточае», «легчае» или «накрепко»), известное из следственных дел и законодательства, нигде не уточняется, числом ударов не обозначается. В этом проявлялась характерная для того времени приблизительность закона, который давал следователю значительную свободу действий. Можно предположить, что палач получал от следователей указания не только о том, сколько раз бить кнутом, но и том, как бить – сильнее или слабее, в менее или более болезненные места.

Последствия пытки кнутом на дыбе были ужасны. Шлейссингер так описывает все виденное им в застенке: «Я видел одного такого несчастного грешника, который приблизительно после 80 ударов висел совсем мертвый,



ибо вскоре уже на его теле ничего не было видно, кроме кровавого мяса до самых костей. Продолжая бить, преступника все время допрашивают. Но этот, которого я видел, все время повторял: "Я не знаю, я не знаю", пока в конце концов вообще не мог больше отвечать».

Пытка огнем являлась либо заключительным испытанием, с помощью которого «затверждали» полученные ранее показания «из подлинной правды», либо (если нужные показания не получены) становилась самостоятельной, особо тяжелой мукой. В последнем случае жечь огнем могли многократно. В таких случаях жизни пытаемого угрожала смертельная опасность. В деле «жонки» Марфы Долговой, десять раз пытанной на дыбе и жженной огнем, сказано: «И на огне зажарена до смерти» (или по другому документу: «А Марфушка в застенке после пытки на огне сожжена»).

Из материалов розыска не совсем ясно, как проводили такую пытку, зачастую в протоколе сказано кратко: «говорил с огня» или «на огне зжен». Но есть основания думать, что допросы вели, держа человека над огнем (костром, жаровней). Один из мемуаристов, который видел эту пытку в начале XVIII века, писал: «Около самой виселицы разводят мелкий огонь... [человеку] связывают руки, ноги и привязывают его к длинному шесту, яко бы к вертелу. Двое людей поддерживают с обоих концов этот шест над огнем и таким образом обвиненного в преступлении поджаривают спину, с которой уже сошла кожа; затем писец... допрашивает его и приводит к признанию». Другой разновидностью пытки огнем было прикладывание к телу каких-либо раскаленных или

горящих предметов («зжен огнем»), которыми водили «с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые оттого кипели, шкварились и воздымались».



*Щипцы и клещи*

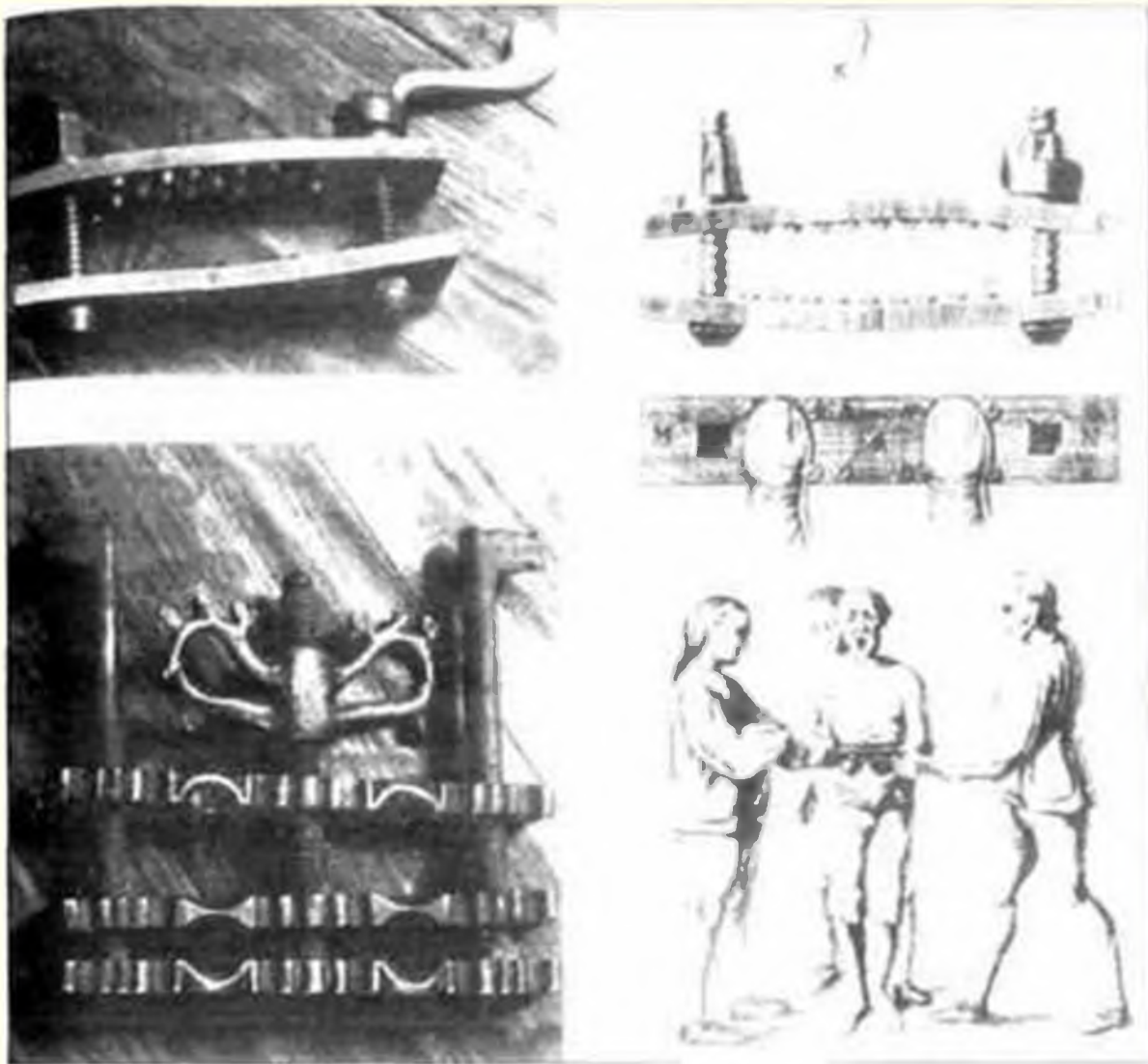
Шлейссингер, повествуя о пытке, которую он видел в Москве, пишет, что палач подошел «с раскаленным железом и несколько раз ткнул им несчастного грешника в спину. Тот снова стал кричать и жалобно завывать. Это выглядело очень страшно, но мне сказали, что так делается для излечения, чтобы спина снова зажила». Подозреваю, что доверчивого немецкого экскурсанта обманули – он присутствовал при известной «пытке огнем», а не при лечении таким способом. В «Обряде, како обвиненный пыгается» сказано: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и, зажегши веник с огнем, водит по спине, на что употребляетца веников три и больше, смотря по обстоятельствам пытанного». В тюрьмах ходила мрачная шутка, которой перебрасывались те, кого вели с пытки, с теми, кто ждал своей очереди: «Какова баня? – Остались еще веники!» Майора С. Б. Глебова, любовника царицы Евдокии, пытали не только раскаленным железом, но и «горячими угольями».

Раскаленными докрасна клещами ломали ребра пытаемого. До нашего времени в музейных коллекциях Европы сохранились два вида подобных инструментов: щипцы и клещи, имевшие длинные ручки для того, чтобы накаливать их на огне. Первые похожи на гигантские плоскогубцы, они сделаны в виде пасти крокодила и предназначались для прижигания различных частей тела (грудей, гениталий). Вторые напоминают длинные клещи для вытаскивания гвоздей. Вероятно, именно такими клещами ломали ребра пытаемого и вырывали ноздри у казнимого на эшафоте.

«Вождение по спицам» («поставить на спицы») упоминается в делах сыска только несколько раз. Какова была техника этой пытки, точно мы не знаем. Можно предположить, что спицы (заостренные деревянные колышки) были вкопаны в землю и пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить по ним. О таких спицах, которые находились на площади в Петропавловской крепости, пишет первый историк Петербурга А. Богданов. Спицы эти были врыты в землю под столбом с цепью, и когда кого «станут штрафовать, то в оную цепь руки его замкнут, и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять». Площадь эту у Комендантского дома в крепости народ, склонный к мрачному юмору, прозвал «Плясовой», так как стоять неподвижно на острых спицах было невозможно, и человек быстро перебирал босыми ногами, как в пляске.

Деревянная лошадь с острой спиной находилась на той же площади и использовалась и как пытка, и как наказание. На нее верхом на несколько часов сажали

наказанного, ноги его привязывали под брюхом лошади, иногда к ногам привешивали груз. При этом пытку ужесточали ударами кнута или батогов по спине и бокам. Возможно, об этой распространенной пытке-наказании среди военных говорит пословица «Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняет». А. П. Волынский, будучи губернатором в Астрахани, прославился тем, что пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак, которые от ужаса еще и кусали пытаемого.



*Тиски для палача*

В «Обряде, како обвиненный пытается» есть упоминания еще о четырех видах пыток, которые были в ходу в русских застенках. Из этого описания мы узнаём о пыточных инструментах, известных по литературе о европейской инквизиции. Это тиски – винтовые ручные зажимы и «испанский сапог», то есть «тиски, сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большие два из рук, а внизу ножные два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или не повинится или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». Ручной зажим в народе назывался «репка», в сжатом состоянии он напоминал этот овощ. С «репкой» связана пословица: «Хоть ты матушку-репку пой!» «Испанский сапог» надевали на ногу и затем в скрепу забивали молотком дубовые клинья, постепенно заменяя их клиньями все большей и большей толщины. Самым толстым считался восьмой клин, после чего пытка прекращалась, так как кости голени пытаемого ломались.



*«Испанский сапог»*

Две другие пытки попали в Россию с Востока. Первая называется «клячить голову», а второй была пытка водою: «Наложа на голову веревку, и просунув кляп, и вертят так, что оный изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит». Так описана эта пытка в «Обряде». Пытку водой применили к Степану Разину. Из следственного дела 1713 года известно, что попа Ивана Петрова «мучали и клячем голову вертели», что можно понимать как применение веревки с просунутой в нее палкой, которой эту веревку закручивали.

Была еще пытка с помощью веревки, которой стягивали голову и ноги жертвы. Она отразилась в пословицах: «В три погибели согнуть» и «В утку свернуть». В. И. Даль к этому прибавляет: «Согнуть кого

в бараний рог. Скрутить кляпом. Узлом затянуть. Согнул в дугу. Скрутил в круг. Смотал его клубком, да связал узлом».

«Сказать всю подноготную» – это дошедшее до наших времен выражение и более чем ясная по своему историческому смыслу поговорка «Не скажешь подлинную, так скажешь подноготную» напоминают о пытке, когда человеку забивают под ногти железные гвозди или деревянные колышки. Для этой пытки руку пытаемого закрепляли в хомуте, а ладонь зажимали особыми плоскими клещами так, чтобы он не сжал руку в кулак. Возможно, что так пытали под Петергофом, в присутствии Петра I, царевича Алексея. Андрей Рубцов, который попал в Тайную канцелярию в 1718 году по доносу товарища, показал, что слышал крики, а потом видел царевича с завязанной рукой. Впрочем, сына царя могли пытать и упомянутым выше ручным зажимом – «репкой».

«Покормить селедкой» – так называли пытку, которая состояла в том, что арестанта кормили соленой пищей, а потом ему долго не давали пить. В XIX веке этот способ добиться нужных показаний был в ходу, он упоминается даже в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», когда идет речь о приемах работы судьи Ляпкина-Тяпкина.

Пыточные вопросы составляли заранее на основе извета, роспросных речей, других документов. В особых, «важных» делах их писали или диктовали сами коронованные следователи. Вопросы писали на листе столбцом слева, а на правой, чистой половине листа записывали ответы, полученные с пытки, – иногда

подробные, иногда – краткие («признается», «винится») или в виде пометок: «Во всем запырался», «Запырается».

Пытаемый давал показания в висячем положении. Как пишет Перри, удары кнутом «обыкновенно производятся с расстановкой, и в промежутках поддьяк или писец допырашивает наказуемого о степени виновности его в преступлениях, в коих он обвиняется, допырашивает и о том, нет ли у него сообщников, а также не виновен ли он в каких-либо других из тех преступлений, которые в эту минуту разбираются судом...»

После каждого допыра под протоколом должны были распысаться не только следователи, но и сам подследственный, только что снятый с дыбы. Если он не мог этого сделать, это также фиксировалось в протоколе (что было в деле Артемия Волынского, которому на дыбе сломали правую руку). Удивительно то, что в показаниях пытаемого могло не быть ни одного слова правды, но подпись должна была стоять подлинная. Казалось бы, ничего нет проще – распысаться за подследственного или вообще отменить эту процедуру. Вероятно, секрет всего этого кроется в том, что политический сыск есть часть бюрократической машины, бюрократического процесса, в котором правильное оформление бумаги важнее не только человека, но и содержания самой бумаги.

Очередность применения пытки к участникам политического процесса обычно была такова: если ответчик на «ропыросе» отрицал извет, то первым в застенке пытали изветчика. В некоторых делах мы сталкиваемся с «симметричным» принципом пыток, так называемым «перепытыванием»: 1-я пытка изветчика,



1-я пытка ответчика, 2-я пытка изветчика, 2-я пытка ответчика и т. д. Но чаще в делах упоминается серия из двух-трех пыток одного из участников процесса.

То, что первым на дыбу шел изветчик, отвечало традиции, отраженной в пословице «Доносчику – первый кнут». Закон в принципе позволял изветчику избежать пыток, но для этого ему следовало убедительно «довести» – доказать свой извет.

Пытки оказывались страшным испытанием для изветчика, и он, подчас не выдерживая их, отказывался от своего извета, говорил, что «затеял напрасно» или «поклепал напрасно», то есть признавал: «Я оклеветал ответчика». Это называлось «очистить от навета», то есть снять, счистить с ответчика подозрения и обвинения. Важно отметить, что отказ от извета не избавлял изветчика от пытки и неминуемо вел его к подтверждению уже новой пыткой отказа от извета. Делалось это, чтобы убедиться наверняка, что изветчик отказывается от извета чистосердечно, а не по сговору или подкупу со стороны людей ответчика.

Если же изветчик выдержал пытку и «утвердился кровью» в извете, наступала очередь пытать упорствующего в непризнании ответчика. На этом этапе следствия у изветчика появлялся шанс утвердить свой (даже самый ложный) извет. Он мог рассчитывать, что ответчик или не выдержит пытки и умрет, или признает себя (в том числе вопреки фактам) виновным и тем самым подтвердит извет. Если ответчик умирал, то изветчик мог надеяться на спасительный для него приговор.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1703 году Авдотья Невляинова донесла на Арину Мячкову, которая позволила себе оскорбительное высказывание о Петре I. Обе женщины «утверждались» в своих показаниях в «ропросе», на очной ставке и с трех пыток каждая. После серии пыток ответчица умерла, а Авдотья была освобождена на том основании, что «ей в непристойных словах перепытываться не с кем».

Попадья Авдотья донесла, что крестьянка Прасковья Игнатьева произнесла «непристойные слова» о Петре I: «Я слышала про государя, что он не царского колена». Обеих женщин пытали, и через месяц ответчица умерла, а изветчицу выпустили на свободу.

Сама процедура «перепытывания» выглядела как спор двух висящих на дыбах людей. Из дела 1732 года видно, как на стадии пытки судьба изветчика вдруг оказывается в руках ответчика, и «оружие доноса», которое он применил против ответчика, било по нему самому. Ответчик расстрига Илья не признал доноса на него, сделанного конюхом Никитиным, и не только выдержал три пытки, но «и показал на одного изветчика Никитина якобы те слова говорил он, Никитин». Только смерть от пыток спасла Никитина от наказания за ложный извет.

Правило «трех пыток» отразилось в пословице «Пытают татя по три перемены». В просторечье эти три пытки назывались еще «три вечерни». Бытует представление, что человек, выдержавший три пытки подряд и не сошедший со своих показаний, признавался правым («очищался кровью») и мог даже получить

свободу. Как сказано выше, и признание ответчиком справедливости доноса, и отказ изветчика от обвинений в «роспросе», а также первая пытка автоматически не освобождали обоих от последующих пыток. Показания, данные на первой пытке, требовали обязательного подтверждения (буквального повторения) на последующих двух пытках.

Только стойкость могла спасти ответчика, но не у всех ее хватало, чтобы выдержать три «пытки непризнания», стоять «на первых своих словах» и таким образом «очиститься кровью» от навета.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1698 году три пытки выдержал стрелец Колпаков, после чего его освободили.

В 1700 году в деле Анны Марковой, стерпевшей три пытки, сохранился приговор: «Анютку... освободить, потому что она в том деле очистилась кровью».

Крестьянин Иван Зубов выдержал три «пытки непризнания», причем одну из них с огромным числом ударов кнута (52 удара). В конце концов его выпустили на волю, как очистившегося от навета, хотя, судя по делу, следователи сомневались в искренности ответчика.

Благодаря своей стойкости на пытках весьма близкий к царевичу Алексею сибирский царевич Василий Алексеевич был только сослан в Архангельск, тогда как другие, менее близкие к сыну Петра люди, оказались на плахе, с

вырванными ноздрями, были сечены кнутом и сосланы в Сибирь.

«.Переменные речи» – отказ от данных на предыдущей пытке показаний или частичное изменение их – с неизбежностью вели к устроению пыток. Они продолжались до тех пор, пока на трех последних из них не будут даны идентичные показания. Указ предписывал: если «воры учнут речи свои изменять, и тех людей велено ис переменных речей пытать трижды и огнем жечь. Да что с тех трех пыток и с огня скажут, тому и верить».

Но было бы неверно думать, что правило «трех пыток», как и другое правило «первый кнут доносчику», соблюдалось всегда и последовательно. Если сыск был особенно заинтересован обвинить одну из сторон процесса, то все эти и подобные им традиции и правила для следователей ничего не значили. Сохранились дела, из которых видно, что многократная пытка применялась только к изветчику или только к ответчику. Причины неожиданной жестокости к одним или особой милости к другим участникам процесса скрыты от нас, и было бы слишком просто объяснить подобный ход следствия только тем, что доносчиком выступал рвущийся на волю крепостной крестьянин, а ответчиком – его помещик, которому доверяли больше, хотя этот мотив мог действительно в некоторых случаях присутствовать.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Полно процессуальных «странностей» дело писаря Бунина против вдовы Маремьяны Полозовой, которое велось в 1723-1725 годах. После того как доносчик на первых допросах и с

очной ставки убедился в том, что ответчица «в повинку» не пойдет и что ему грозит «первый кнут», он прикинулся больным и подтвердил свой донос на исповеди. В итоге ответчицу пытали первой, но она пытку выдержала и не признала извета. Тогда послали за попом – духовным отцом Полозовой. Он свидетельствовал о религиозности и послушании своей духовной дочери. Теперь по всем правилам сыска путь на дыбу предстояло проделать Бунину. Однако этого не произошло – на дыбу опять подняли Маремьяну и дали ей 20 ударов кнута.

Но старуха оказалась на редкость стойкой. Она вновь отвергла донос и обвинила писаря в клевете. И тут... следствие, вопреки всем принятым процессуальным нормам и указам, приняло от Бунина дополнительный извет, по которому Полозову стали допрашивать. К этому времени она, пройдя две страшные пытки, была почти при смерти. Священник исповедовал ее, и в «исповедальном роспросе» Полозова вновь подтвердила: «Все, что я при розыске показала, и то самая сущая правда, стою в том непременно, даже до смерти». Действительно, смерть ответчицы казалась близкой – пытки сделали ее инвалидом, но следователи и теперь, после исповеди, ей не поверили. Они приняли третий донос Бунина о якобы вспомнившихся ему словах Полозовой в «поношение священнического сана». По-видимому, в Тайной канцелярии кто-то благоволил доносчику, ибо не случайно новый донос «о поношении... сана» появился после того, как исповедовавший

Полозову священник отозвался о ней как о примерной прихожанке.

Бунину и Полозовой устроили очную ставку, и на ней измученная пытками старуха сказала, что она «поносила священнический чин», но в главном – в говорении «непристойных слов» об императоре – виновной себя не признала и на очной ставке! Обычно в такой ситуации следствие выносит приговор: доносчика пытать, чтобы начать, хотя бы и с опозданием, «перепытывать» стороны. Но нет! П. А. Толстой под расписку о невыезде выпустил извetchика на свободу, а Полозовой назначил третью пытку, которую отложили до выздоровления колодницы. Когда Полозова через два года тюремного сидения стала наконец ходить на костылях, последовал указ: сослать преступницу в Пустозерск. В приговоре от 23 декабря 1724 года о причинах наказания Полозовой было сказано: «А вина ея такова: говорила она писарю Бунину весьма важные непристойныя слова про Его и. в., о чем на нее тот писарь доносил, а в роспросе и с двух розысков созналась, что из означенных слов говорила Бунину некоторыя слова, токмо не все». На самом же деле Полозова упорно отрицала свою вину, донос об оскорблении чести государя Бунин так и не «довел», но кнута при этом ни разу не отведал. 5 января 1725 года Бунин был выпущен на свободу.

Сходный случай произошел в 1723 году, когда денщик Комаров донес на Авдотью Журавкину и Федору Баженову в говорении «непристойных слов». Ответчицы упорно отказывались

подтвердить извет. Им устроили восемь (!) очных ставок, обеих трижды пытали на дыбе: Федора получила 32, а Авдотья 36 ударов кнута, потом обеих жгли огнем. Однако результата – признания вины – от них не добились. Итак, три традиционные пытки были налицо, тем не менее женщин не освободили, а изветчик в застенке так и не побывал и вышел из этой переделки в полном здравии. В указе о ссылке женщин в Пустозерск в декабре 1724 года косвенно признавалась неудача следствия («Хотя Авдотья Журавкина запирается в важных и непристойных словах, токмо тому не верить, а послать и ее, и Федору Баженову за караулом в ссылку...»). Между тем, по всем законам и неписаным правилам, женщин за «недоведенностью» изветчиком доноса на них надлежало отпустить на свободу. Изветчика же после этого следовало признать виновным в ложном извете и отправить на дыбу, чтобы он «сговорил» с женщин донос или «кровью утвердился» в своем извете.

Подъемы на дыбу бывали многократными и затяжными. Пытаемого не все время держали на дыбе, а периодически опускали на землю, чтобы он мог прийти в себя. Когда в 1732 году пытали А. Яковлева, обвиненного Феофаном Прокоповичем в писании анонимного пасквиля, то его пришлось спустить с виски, так как он «обмер и весь посинел и стал храпеть». Архимандрит Александро-Свирского монастыря Александр во время следствия 1720 года был поднят на виску и провисел 28 минут, после чего потерял сознание. На следующий день его продержали «в подъеме» 23 минуты. А. П.

Волынского держали на дыбе и били кнутом в первый раз полчаса.

В петровские времена большая часть пытаемых прошла по три «застенка» (сеанса пыток), получив за один «застенок» в среднем 25 ударов кнутом. При этом женщины получали несколько меньше ударов, чем мужчины. Следователи учитывали их «деликатную натуру», да и пытали женщин, вероятно, полегче. Раскаленные клещи для ломания ребер к женщинам не применялись.

Впрочем, как уже многократно отмечено выше, в политическом сыске не было раз и навсегда принятых норм. Когда власти требовали признания во что бы то ни стало, тогда число «застенков» и ударов кнута резко превышало средние показатели. Так было в Стрелецком розыске 1698 года, когда некоторым пытаемым давали по 40, 50, 60 и даже 70 ударов за один сеанс. Пожалуй, никого так свирепо не пытали при Петре I, как стрельцов. В послепетровское время более жестоко, чем других арестантов, пытали старообрядцев. Среди материалов Сыскного приказа за 1750-е годы есть данные о 40, 50, 60 ударах кнутом тем, кто «упорствовал в своей заledenелости». Не было и особых правил о паузах между пытками как в одном «застенке», так и между «застенками». В одних случаях следователи давали пытанному длительный срок для поправки, в других – добиваясь показаний, они мучили его почти каждый день.

Тяжесть пытки зависела и от социального положения пытаемого: дворяне, знатные колодники получали на пытках заметно меньшее число ударов, чем крестьяне или посадские. Формально все колодники были



равны и, как люди, побывавшие в руках палача, считались обесчещенными. Попав в застенки, вчера еще уважаемый судья Стрелецкого приказа и влиятельный сановник Федор Леонтьевич Шакловитый становился «вором Федькой», а старик архиепископ Тамбовский Игнатий – «растригой Ивашкой». И все же социальные различия узников сказывались и на режиме их содержания в тюрьме, и на тяжести назначенных им пыток. По материалам Преображенского приказа за конец XVII – начало XVIII века видно, что дворяне получали всего по три-семь ударов кнута. Объяснить это можно характерным для тогдашнего общества неравенством, ведь известно, что с древнейших времен пытали только рабов. По мере того как «государевыми холопами» становились все подданные, пытки начали распространяться и на служилых людей, бояр и дворян, но все же их пытали легче, чем простолюдинов. Сословные реформы Екатерины II вообще защитили дворянина от руки палача.

Но вновь подчеркнем: с возрастом, сложением, здоровьем, полом пытаемого, кровью, которая текла в его жилах, а потом по спине, могли совсем не считаться.

Если верховной власти требовалось выбить из человека признание вины или нужные сведения, то все эти обстоятельства не принимались во внимание. Во время Стрелецкого розыска 1698 года служительницы царевен Марфы и Софьи Анна Жукова и Офроська получили, как и мужчины, по 25 ударов, а постельница Анна Клушина – 15 и «жжена огнем дважды». Царскому сыну царевичу Алексею Петровичу на пытке дали, как обыкновенному разбойнику, 25 ударов, а через два дня еще 15!

Выдержать пытку, да еще не одну, обыкновенному человеку было невероятно трудно. Это оказывалось под силу только двум типам «клиентов» сыска: физически сильным людям и психически ненормальным фанатикам-самоистязателям. К первому типу относились могучие, грубые каторжники, не раз битые кнутом и утратившие отчасти чувствительность кожи на спине. Австриец Корб в своем «Дневнике путешествия в Московию» упоминает об одном стрельце, который выдержал шесть пыток и совсем не боялся кнута и огня. Невыносимой он считал только описанную выше «ледяную капель», а также пытку, когда горящие угли клали на уши, что вызывало особенно острую боль. И таких могучих людей было на Руси, вероятно, немало.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1785 году в Нерчинск попал закоренелый преступник, 32-летний Василий Брягин, которого с 18-летнего возраста почти непрерывно наказывали за воровство: в 1774 г. два раза били плетьюми и один раз батогами; в 1776 г. – плетьюми и батогами; в 1777 г. – «за полученную от невоздержанности венерическую болезнь» – батогами, в 1779 г. (снова за воровство) – кошками, в 1780 г. Брягина приговорили к шпицрутенам: гоняли восемь раз через 1000 человек; в 1781 и в 1782 гг. за преступления он был приговорен к вырезанию ноздрей, битью кнутом и к ссылке на каторгу. Наконец, в 1782 г. за воровство и побег он был снова прогнан через 1000 человек восемь раз и отправлен в Нерчинск, как неисправимый преступник.

Кроме того, в критические моменты у сильных, волевых людей могли мобилизовываться скрытые резервы организма, пробуждаться огромная воля к жизни, желание продлить существование во что бы то ни стало. Следователи по делу Федора Шакловитого, которого в 1689 году жестоко пытали в застенке, были, вероятно, изумлены, когда он, снятый с дыбы, просил, «чтобы его велели накормить, понеже несколько дней уже не ел». Возможно, опытные колодники перед «застенком» и после него пили какие-то настои из наркотических трав, притупляющих боль. В популярном в те времена лечебнике «Прохладный ветроград, или Врачевския вещи ко здравию человечества» есть рецепт «лекарства после правежа», который предписывает настоем особой травой «бориц» парить ноги после битья палкой по пяткам и «такو творить по вся дни, доколе бьют на правеже, и ноги от того бою впредь будут целы». Кроме того, известны заговоры против пытки огнем, железом, веревкой и петлей, которые облегчали, по крайней мере психологически, пытку, смягчали чувство боли.

Историк XIX века Я. А. Канторович, изучая по материалам западноевропейской инквизиции поведение пытаемых, в особенности женщин, пришел к выводу, что некоторые из них терпели нечеловеческие боли на пытках потому, что «у этих женщин являлась общая анестезия, делавшая их нечувствительными ко всяким мучениям пытки; часто нравственное возбуждение было столь сильно, что оно заглушало физическую боль и давало жертвам силу переносить ее и не проронить ни одного слова». Возможно, нечто подобное было и в пыточных палатах Тайной канцелярии.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

К типу фанатиков относятся монах Варлаам Левин и подьячий Ларион Докукин. Левин был одержим идеей очищения через страдание перед лицом ждущей всех неминуемой гибели в «царстве Антихриста» Петра I. Поэтому он с радостью шел на пытки и по той же причине оговорил многих невинных и непричастных к делу людей – всем им он хотел доставить блаженство в «царствии небесном». Докукин, фанатичный составитель подметных писем, в марте 1718 года сам отдался в руки мучителей, заявив, что «страдати готов». И Левин, и Докукин, вероятно, были психически больными людьми с притуплённой чувствительностью к боли.

Левина пытали шесть раз, в том числе один раз водили по спицам. Из его дела видно, что он страдал эпилептическими припадками – «падучей болезнью». В своем дневнике, который у него забрали при аресте, он писал о приступах «меланхолии», посещавших его видениях, о том, что ему «припало забвение». В 1720 году его, присланного в Петербургский госпиталь армейского капитана, освидетельствовали врачи. Они жгли на огне его левую руку, после чего зафиксировали утрату в ней осязания и затем уволили со службы, чего в петровское время добиться, не достигнув дряхлости, было очень трудно.

Докукин, 57-летний человек слабого сложения, выдержал три пытки кнутом (66 ударов) в течение шести дней, потом был колесован и,

несмотря на многочисленные переломы костей во время этой казни, находился в сознании и даже пожелал дать показания. Его сняли с колеса и пытались лечить. Конец его неясен – либо он сам умер, либо, видя, что подьячий не дает показаний, его казнили.

После пытки несчастного осторожно спускали с дыбы и отводили (относили) в тюрьму. Состояние человека после пытки в документах сыска деликатно называется «болезнью». Так это и было: большая потеря крови, болевой шок, возможные повреждения внутренних органов, переломы костей и вывихи, утрата кожи на большей части спины, неизбежный в тех условиях сепсис – все это в сочетании с ужасными условиями содержания в колодничьей палате и скверной едой приводило к послепыточной болезни, которая часто заканчивалась смертью или превращала человека в инвалида. Во время розыска по астраханскому восстанию 1705 года от последствий пыток умерло 45 человек из 365 пытаемых, то есть 12,3 процента. Думаю, что в среднем после мучений в застенке людей умирало больше, ведь по астраханскому делу допрашивали, как правило, стрельцов, служивших в полках, то есть физически сильных, в расцвете лет мужчин. В общем же потоке «клиентов» политического сыска были люди самого разного возраста, подчас слабые и больные, и они умирали уже после первой пытки.

В тюрьме больных пользовали казенные доктора из Медицинской канцелярии. Забота о здоровье узника никакого отношения к гуманизму не имела. О колоднице Маремьяне Андреевой в 1724 году было решено: «Пытана дважды, а более не пытана, понеже больна...

велено ее розыскивать еще накрепко в то время, как от болезни выздоровеет». Ранее по другому делу А. И. Ушаков писал П. А. Толстому в ноябре 1722 года: «Мне зело мудрено новгородское дело, ибо Акулина многовременно весьма больна, что под себя испражняется, а дело дошло, что надлежало было ее еще розыскивать, а для пользования часто бывает у нее доктор, а лекарь – беспрестанно». С колодницей возились «с прилежанием неослабно» потому, что «до нее касается важное царственное дело», и боялись, чтобы она с помощью смерти не «ускользнула» от дачи показаний и казни. В деле есть и приписка о том, что Акулину врачи если не вылечили, то, во всяком случае, довели до эшафота: «Акулина и Афимья казнены марта 23 дня 1724 году».

О большинстве других послепыточных больных в тюрьме так не заботились, и они лечились сами и на свои деньги. После пытки или наказаний кнутом на спину клали шкуру только что зарезанной овцы. Раны от кнута промывали водкой. Естественно, что в условиях антисанитарии раны воспалялись, гноились. По-видимому, для вытягивания гноя и было куплено чиновниками Тайной канцелярии в 1722 году на два рубля «капусты для прикладывания к спине».

Охрана внимательно наблюдала за состоянием здоровья узника после пытки и регулярно докладывала о нем чиновникам сыскного ведомства. Как только появлялись признаки близкой смерти, к заключенному присылали, точнее сказать – подсылали, священника.

Термина «исповедальные показания» в источниках нет, но он мог бы существовать, ибо исповедь умирающего в тюрьме иначе назвать трудно. Каждый

православный имел право требовать перед смертью исповедника. Выше уже было сказано, что священника обязывали открыть властям тайну исповеди своего духовного сына. Священник выполнял у постели умирающего задание начальства и должен был, в сущности, провести последний в жизни колодника «роспрос», узнать подлинную правду – ту, которую не мог, страшась мучений в ином мире, скрыть перед своим духовником верующий человек. Исповедник получал инструкцию от сыска: «И тому священнику приказать... при исповедании спрашивать по духовности, правда ли...», а потом рапортовал о проделанной работе: «Показанного Волкова он исповедовал и святых тайн сообщил и при исповеди по вышеозначенному приказу его спрашивал».

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Исповедальный допрос применили в 1775 году к «княжне Таракановой». Узнав, что самозванка тяжело больна, Екатерина II дала указ ведшему расследование князю Голицыну: «Удостоверьтесь в том, что действительно ли арестантка опасно больна. В случае видимой опасности узнайте, к какому исповеданию она принадлежит, и убедите ее в необходимости причастья перед смертью. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтоб он довел ее увещаниями до раскрытия истины...» Назначенный властями священник два дня исповедовал (читай -допрашивал) умирающую женщину, но нужного признания не добился. Он ушел из камеры самозванки, так и не удостоив ее последнего причастия.

На исповедальном допросе, как и во время увещевания, священнику было запрещено знать «важность», то есть существо, преступления. Его задача была предельно узка – добиться раскаяния преступника, подтверждения (или опровержения) данных им ранее показаний. Каких именно – это священника не касалось. Рапорт священника после исповеди умирающего колодника записывали со слов пастыря в Тайной канцелярии. И хотя все священники были людьми надежными и проверенными, все же иногда – в делах особо важных – им не доверяли. Тогда во время совершения таинства исповеди возле священника сидел караульный офицер или канцелярист и записывал исповедальные слова. Исповедальное признание на следствии ценилось весьма высоко – считалось, что перед лицом вечности люди лгать не могут.

Но и здесь не было жесткого правила. В 1722 году монах Кирилл донес на безжалостно преследовавшего его архимандрита Александра в подлинных (несомненных и потом доказанных другими) «продерзостных» высказываниях о Петре I и Екатерине. Не выдержав заключения, Кирилл умер. Перед смертью он совершил подлинно христианский поступок и в исповеди «сговорил» свой извет с Александра, сказал, что извет его ложен и архимандрит ни в чем не виноват. Это открывало Александру дорогу на свободу. Но исповедальные показания Кирилла не спасли Александра – нашелся другой ненавидевший его доносчик, и исповедальный допрос монаха Кирилла был проигнорирован. Поэтому не следует преувеличивать доверчивость инквизиторов к исповедальным показаниям своих жертв. Как уже сказано выше, следователи Тайной канцелярии были весьма прагматичны, они понимали,



что люди могут солгать и на исповеди, и на пороге смерти. Иначе сложилось дело Левшутина и Ошуркова. Доносчик Левшутин, не выдержав трех пыток, умер и при смерти дал исповедальные показания, в которых настаивал на подлинности своего извета. К этому времени ответчик Ошурков вынес также три пытки да еще жжение вениками и тем не менее твердо отрицал извет. Здесь мы видим столкновение «правды исповедального показания» и «правила трех пыток». Из дела следует, что следователи решили еще раз проверить стойкость ответчика, и за свободу он заплатил большую цену: шесть раз на дыбе да еще испытание огнем. И только потом его освободили.

К середине XVIII века под влиянием идей Просвещения и вообще благодаря значительному смягчению нравов в царствование Елизаветы Петровны заметно стремление пересмотреть отношение к пытке. По этому пути двигалась вся Европа: пытку в Пруссии отменили в 1754 году, в Австрии – в 1787 году. Во Франции пытка была отменена в 1789 году вместе с лютыми средневековыми казнями (последнее в ее истории колесование произошло в 1788 году). Жестокость обращения с людьми в политическом сыске отражает особенность политического строя страны, степень развитости судебной системы и гражданского общества. В тех странах, где действовал институт присяжных, где сложились традиции публичного суда, существовала адвокатура, там пытки исчезли рано. В Англии и Швеции их не было уже в XVI веке, исключая, естественно, процессы о ведьмах.

Как известно, придя к власти, императрица Елизавета Петровна фактически отменила смертную казнь, точнее – навечно приостановила исполнение смертных приговоров. При Елизавете были введены некоторые ограничения и в традиционный пыточный процесс: отменили истязания для людей, сделавших опiski в титуле государя, перестали пытаться детей.

После отмены «Слова и дела» Петром III и вступления на престол Екатерины II новые веяния гуманизации права усилились. Екатерина II в принципе осуждала пытки как антигуманные и бессмысленные: «Употребление пытки противно здравому, естественному рассуждению; само человечество вопиет против оных и требует, чтоб она была вовсе уничтожена». Эти строки продиктованы не только гуманизмом Екатерины II, которая не терпела, чтобы при ней били слуг или животных, но и ее рационализмом. Познакомившись с делом А. П. Волынского, она написала: «Из дела сего видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пытки все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили всё, что злодеи хотели. Странно, как роду человеческому на ум пришло лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодной кровию: всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит». Запрещая пытки Пугачева и его сообщников, императрица писала М. Н. Волконскому 10 октября 1774 года: «Для Бога, удержитесь от всякого рода пристрастных распросов, всегда затемняющих истину».

8 ноября 1774 года губернские учреждения получили секретный указ о неприменении пыток. Почему же этот указ был секретным? Суть состояла в том, что формально пытка оставалась в арсенале следователя,

как и в законодательстве, но в то же время она была запрещена этим секретным указом государыни. Иначе говоря, к подследственным применяли угрозу пытки. Приготовленный к пытке человек, не зная, что пытка запрещена, думал, что его вот-вот начнут пытать, и поэтому со страха мог признаться в преступлениях или объявить своих сообщников. Подследственного раздевали, клали его руки в хомут и «всякими приуготовлениями стращ[али], токмо самым действием до него больше ничем не каса[лись]». После таких приготовлений любой мог дрогнуть. Так, при допросах Пугачева следователи говорили арестанту: императрица разрешила им вести дознание «с полной властью ко всем над тобою мучениям, какия только жестокость человеческая выдумать может», хотя на самом деле делать этого не собирались, да и не могли согласно секретному указу. Однако угрозы применить пытки подействовали, и Пугачев стал давать показания.

Ясно, что разделительная грань между угрозами применить пытку, демонстрацией подследственному орудий пыток и собственно пыткой была весьма условна. Угроза пыткой и прямое применение пытки долгое время в царствование Екатерины II шли рядом и широко использовались в следственном деле. Дело Салтычихи, судьба которой решалась в 1768 году в высших сферах, говорит об этом со всей определенностью. Упорство садистки, не признавшей ни одного из своих чудовищных преступлений, привело к тому, что императрица дала указание «объявить оной Салтыковой, что все обстоятельства дела и многих людей свидетельства доводят ее к пытке, что действительно с нею и последует». Но потом императрица все-таки передумала,

сочтя, что преступления Салтычихи столь очевидны и доказаны, что не требуют признаний изуверки.

Так, пытка при Екатерине II не была отменена официально, а весьма глубокая, противоречившая всему средневековому праву мысль императрицы о том, что признание, добытое с помощью истязания, не может быть абсолютным доказательством виновности и что главной задачей следствия является бесспорное обличение преступника, а не его признание, так и не была закреплена законодательно. В конечном счете в течение всего XVIII века де-юре и де-факто венцом следственного процесса считалось личное признание подследственного в совершении преступления, и поэтому пытка, как вернейшее средство достижения этого признания, оставалась в арсенале следствия.

Пытка была по-прежнему в ходу еще по двум причинам. Во-первых, добиться признания без пытки мог только высококлассный специалист, знаток человеческих душ, умевший создать такие психологические условия, при которых человек признавался в содеянном. Таким специалистом во времена Екатерины II считался один только С. И. Шешковский. Все же остальные следователи действовали по старинке. Фактически пытки применялись везде, где вели расследование. Екатерина была вынуждена это признать в указе 1782 года о запрещении пыток на флоте, который, естественно, не был местом сосредоточения садистов.

Во-вторых, мнение о нерациональности, негуманности пытки разделяла сама Екатерина II, да еще, может быть, пять-десять просвещенных людей из высшего общества. В среде чиновничества, военных, просто власть имущих по-прежнему царило твердое

убеждение, что только болью, истязаниями можно заставить человека говорить правду или принести покаяние. Глава из третьего тома «Жизни и приключений Андрея Болотова» примечательна как своим названием: «Истязание воров и успех оттого», так и содержанием. Болотов описывает, как он, обнаружив воровство в своем новом имении, пытался с ним бороться вначале гуманными средствами – уговорами, увещаниями, угрозами, но «скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не только увещаниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего не сделаешь, а надобно было неотменно употребить все роды жестокости, буде хотеть достичь тут до своей цели».

И далее Болотов рассказывает, как он пять раз пытал одного из пойманных воров, пытаясь узнать у него имя второго, бежавшего вора. Пять раз вор показывал на разных людей, непричастных к краже, хотя «его спина была уже ловко взъерошена», а люди, которых он оклеветал, также терпели удары палки, но вину и свою причастность к преступлению категорически отрицали.

Помещик, доморощенный следователь, был в ярости: «И как... вывел он меня совсем уже из терпения, то боясь, чтоб бездельника сего непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средство. Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно поболее самую соленую рыбою и, приставив к нему караул, не велел давать ему ни для чего пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины, и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенести нестерпимой жажды и объявил нам наконец истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе. И вот с какими удальцами принужден я

был иметь дело». Как уже знает читатель, «особое средство», примененное Болотовым, называлось в просторечье «покормить селедкой».

Пытка в России была отменена формально только по указу 27 сентября 1801 года после скандального дела в Казани. Там казнили человека, признавшего под пыткой свою вину. Уже после казни выяснилось, что человек этот был невиновен. Тогда Александр I предписал Сенату «повсеместно по всей империи подтвердить, чтобы нигде, ни под каким видом... никто не дерзал ни делать, ни допускать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания» и чтобы «самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной».

Однако указ этот остался одним из благих пожеланий либеральной весны царствования Александра I. Пока в России существовали телесные наказания, крепостное право, палочная дисциплина в армии, говорить об отмене пыток было невозможно. Лишь только с 1861 года, с началом судебных и иных реформ, применение пытки в политическом сыске стало затруднительным, однако изобретательные следователи жандармских управлений и местных органов власти находили немало способов заменить пытки кнутом, плетью и другими истязаниями.

# «КАЗНИТЬ БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЩАДЫ»

Завершив расследование государственного преступления, чиновники сыска составляли по материалам дела «выписку» («экстракт»), которая обычно содержала проект приговора. Начальник сыскного ведомства имел право выносить приговоры по многим видам второстепенных дел. В случаях важных проект приговора представляли государю, который утверждал его или изменял. У самодержца было неограниченное право казнить и миловать по собственной воле. В этом и выразилось одно из главных начал самодержавия. Судебник 1550 года нашел для этого исчерпывающую и вполне распространяемую и на XVIII век формулу: «А в пене (т. е. в штрафе, наказании. – Е. А.) что государь укажет, посмотря по человеку». Без всякой ссылки на законы государь мог вынести приговор, «посмотря по человеку», а потом его отменить и назначить новый.

В 1732 году императрица Анна Иоанновна указала фаворита цесаревны Елизаветы Петровны Алексея Шубина сослать в Сибирь, в самый отдаленный острог и там содержать его «в самом крепком смотре». Что же инкриминировано прапорщику Шубину, проведенному в Сибири почти десять лет? В приговоре без ссылок на законы сказано предельно кратко: «Алексея Шубина за всякия лести его указали мы послать в Сибирь».

Характерен и приговор императрицы Елизаветы по делу А. П. Бестужева-Рюмина. Чувствуя приближение опалы, канцлер умело замел следы затеянного им

заговора, уничтожил все компрометирующие его бумаги. Все обвинения против него повисли в воздухе. Но судьба его была решена уже в самом начале расследования. 27 февраля 1758 года был опубликован манифест о винах Бестужева-Рюмина. В нем сказано прямо, без особых ухищрений, что уж если самодержица наказывает бывшего канцлера, значит, есть несомненное свидетельство его вины, да к тому же он давно был на подозрении и раздражал императрицу своим поведением. Между тем следствие велось еще полтора месяца и все без толку – Бестужев защищался прекрасно, а улики против него не было. Наконец, 17 апреля 1758 года государыня с раздражением потребовала поскорее вынести приговор. Следователи-судьи тотчас его и представили, написав, что преступления Бестужева-Рюмина «так ясны и доказательны», что он достоин смертной казни.

Подобные бессудные приговоры, несмотря на свое почтение к законности, не раз выносила и Екатерина П. В 1775 году она прервала расследование дела «княжны Таракановой» сердитым письмом-приговором к князю А. М. Голицыну: «Не допрашивайте более распутную лгунью, объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение». Однако власть часто прибегала и к видимости судопроизводства.

«Генеральные суды» – временные судебные комиссии – образовывали в течение всего XVIII века для рассмотрения какого-либо конкретного дела, состав их определял государь. Самым известным из подобных судов стал суд по делу царевича Алексея Петровича.





*Допрос царевича Алексея Петровича*

13 июня 1718 года Петр I обратился с двумя указами к духовным и светским высшим чинам, в которых писал, что государь сам имеет право вынести приговор царевичу, однако желает, чтобы решение по его делу вынес суд. По воле царя в суд вошло 128 человек – фактически вся тогдашняя чиновная верхушка. Возможно, Петр хотел связать всех высших чинов государства круговой порукой, чтобы они разделили с ним ответственность за решение судьбы царевича. Возможно, выказывая лицемерную беспристрастность и объективность, Петр думал о том, чтобы неизбежным суровым приговором не шокировать европейское общественное мнение и своих подданных. Но решение суда не могло быть объективным: позиция царя в отношении сына-изменника была высказана им вполне определенно, каждый из судей был полностью зависим

от государя, а мнение свое судьям приходилось выражать публично.

Хотя царевича допросили перед судьями 17 июня 1718 года, но допрос этот был формальным. Ответы измученного пытками Алексея Петровича свидетельствуют о том, что он был раздавлен чудовищной машиной сыска и мог ради прекращения мучений признать за собой любые преступления, сказать все, что бы ни потребовал главный следователь – царь Петр. 24 июня царевичу вынесли приговор: «Единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный Его величества, достоин смерти».

Камергера Виллима Монса, любовника императрицы Екатерины, в 1724 году приговорил к смертной казни суд, назначенный Петром I и состоящий из сенаторов и офицеров гвардии. Царь одобрил решение суда и на полях документа написал: «Учинить по приговору».

Подобные суды над политическими преступниками организовывали и в послепетровский период. Делом князя Д. М. Голицына занимался в 1736-1737 годах «Вышний суд» из сенаторов и кабинет-министров. Дело князей Долгоруких в 1739 году рассматривало «Генеральное собрание ко учинению надлежащего приговора». Примерно такое же собрание позже судило одного из судей Долгоруких – А. П. Волынского. Как судили Э. И. Бирона, не совсем ясно. Из указа Анны Леопольдовны от 5 апреля 1741 года видно, что следственная комиссия по его делу была попросту преобразована в суд. Шесть назначенных

правительницей генералов и двое тайных советников без долгих проволочек приговорили Бирона к четвертованию. Анна Леопольдовна заменила казнь ссылкой в Сибирь.

Вступление на престол императрицы Елизаветы в ноябре 1741 года привело к опале А. И. Остермана, Б. Х. Миниха, М. Г. Головкина и других вельмож, правивших страной при Анне Леопольдовне и ведавших судом над Бироном. Созданная по указу новой императрицы следственная комиссия провела допросы опальных вельмож и подготовила экстракты из их дел, которые затем передали в суд, назначенный государыней. В него вошли сенаторы и еще 22 сановника.

Мы не знаем, что испытывали люди, включенные в такие суды. Возможно, многими руководил страх. Один из судей по делу А. П. Волынского в 1740 году, Александр Нарышкин, который вместе с другими назначенными императрицей Анной судьями приговорил кабинет-министра к смертной казни, сел после суда в экипаж и тут же потерял сознание, а «ночью бредил и кричал, что он изверг, что он приговорил невиновных, приговорил своего брата» (Нарышкин приходился Волынскому зятем). Другого члена суда над Волынским, Шилова, спросили, не было ли ему слишком тяжело, когда он подписывал приговор? «Разумеется, было тяжело, – отвечал он, – мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным».

Все эти суды были заочными и формальными, они рассматривали только «экстракты», а не подлинные дела преступников. Суд над подпоручиком В. Я. Мировичем (1764 г.) примечателен тем, что впервые после дела

царевича Алексея преступник лично предстал перед судом, что впоследствии породило фольклорные рассказы о весьма смелых его ответах своим судьям.

Суд над Емельяном Пугачевым назывался «Полным собранием» и заседал два дня (30-31 декабря 1774 г.). В его состав включили сенаторов, членов Синода, «первых 3-х классов особ и президентов коллегий», находящихся в Москве. Этому «Собранию» предстояло заслушать доклад следователей и затем составить приговор – «Решительную сентенцию», которую надлежало послать в Петербург на утверждение самодержице.

Допрос Пугачева перед судом был ограничен шестью вопросами. Целью его было не судебное расследование обстоятельств дела, а только стремление убедить судей, что перед ними – тот самый Пугачев, простой казак, беглый колодник, самозванец, что на следствии он показал всю правду и теперь раскаивается в совершенных им преступлениях («1. Ты ли Зимовейской станицы беглой донской казак Емелька Иванов сын Пугачев? 2. Ты ли, по побегу с Дону, шатаясь по разным местам, был на Яике и сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом назвал себя покойным государем Петром Федоровичем?» и т. д.). Пугачев, упав на колени, «во всем признался, объявля, что сверх показанного в допросах ничего объявить не имеет...». Затем от «Собрания» была послана «депутация» в тюрьму к сообщникам Пугачева, чтобы их «вопросили, не имеют ли они еще чего показать...». Вернувшись, депутация донесла, что «все преступники и пособники злодейские признавались во всем, что по делу в следствии означено, и утвердились на прежних показаниях». На этом судебное расследование крупнейшего в истории России XVIII века мятежа,

приведшего к гибели десятков тысяч людей, закончилось.

И все же следует отметить, что «Решительная сентенция» в отличие от подобных приговоров не была целиком готова до суда и лишь подписана судьями. Екатерина II, контролируя подготовку процесса, дозируя информацию для судей, дала им определенную свободу действий при выборе средств наказаний, но суд использовал ее только для ужесточения приговора. Как известно, русское дворянство было потрясено пугачевщиной, опасалось за сохранение крепостного права, а поэтому требовало жестокой казни бунтовщиков. У Екатерины II были все юридические основания и силы казнить тысячи мятежников, как это в свое время сделал Петр I, уничтожив фактически всех участников стрелецкого бунта 1698 года и выслав из Москвы тысячи их родственников. Но императрица не пошла на такую демонстративную жестокость. Она дорожила общественным мнением Европы. «Европа подумает, – писала она в декабре 1773 года, – что мы еще живем во временах Иоанна Васильевича». Устраивать в столице средневековую казнь с колесованием и четвертованием императрица не хотела.

Конечно, дело было не только в нежелании Екатерины казнями огорчать Европу. Она считала, что жестокость вообще не приносит пользы и мира обществу и нужно ограничиться минимумом насилия. В переписке с генерал-прокурором А. А. Вяземским императрица наметила «контуры» будущего приговора: «При экзекуциях чтоб никакого мучительства отнюдь не было и чтоб не более трех или четырех человек», то есть речь

шла о более гуманных казнях, да и то только для нескольких человек.

Между тем судьи, как и все дворянство, были исполнены мстительного желания примерно наказать взбунтовавшихся «хамов», «чтоб другим неповадно было». Суд приговорил к смерти шестерых пугачевцев, при этом двоих – самого Пугачева и Перфильева – к мучительной казни четвертованием. Екатерине пришлось одобрить «Решительную сентенцию» без изменений. И все-таки Вяземский сумел выполнить негласный указ императрицы о смягчении наказания: во время казни он обманул публику, собравшуюся на Болоте, о чем будет сказано ниже.

Дело А. Н. Радищева (1790 г.) уникально в истории политического сыска XVIII века тем, что впервые дело о политическом преступлении было передано в общий уголовный суд для рассмотрения в узаконенном судебном порядке. Дело было возбуждено по воле Екатерины II. Услышав о выходе скандальной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», она приказала найти ее, прочитала, сделала многочисленные замечания по тексту книги, которые передала начальнику Тайной экспедиции С. И. Шешковскому. Тот, исходя из пометок императрицы на полях книги, составил вопросы для арестованного автора. 13 июля 1790 года императрица послала главнокомандующему Петербурга графу Я. А. Брюсу указ, в котором охарактеризовала книгу Радищева как наполненную «самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми выражениями противу сана и власти царской». Екатерина

повелела судить Радищева «узаконенным порядком в Палате уголовного суда Санкт-Петербургской губернии».



*А. Н. Радищев*

Преступление Радищева (публикация и продажа литературного произведения) рассматривалось как распространение материалов, наносивших ущерб государству и самодержавной власти, то есть существующему строю. Весь процесс тщательно режиссировался. 16 июля Шешковский направил Брюсу копию написанного Радищевым чистосердечного раскаяния с припиской, что преступник «описал гнусность своего сочинения, и кое он сам мерзит (презирает. – Е. А.)». Тем самым Шешковский давал знать, что преступник уже вполне подготовлен к процессу и подтвердит на нем все, что от него потребуют.

Материалы суда свидетельствуют, что он велся с нарушением принятого тогда процессуального права, судьи проигнорировали многие важные вопросы, даже не вызвали свидетелей. Но все эти странности легко объяснимы. Суть в том, что судебное расследование, в сущности, было ненужным – еще до начала суда большинство важных эпизодов дела, которые уличали Радищева в распространении анонимной книги, выяснили в ведомстве Шешковского. Радищев был приговорен к смертной казни, замененной императрицей ссылкой «в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание». В принципе, этот указ о ссылке Радищева мог появиться и без всякого процесса – мы знаем, как решались дела об «оскорблении чести Ея и. в.». Но в конце XVIII века в екатерининской России просто приговорить к смерти дворянина стало трудно. Основы сословного и правового государства, которое строила Екатерина II, входили в явное противоречие с исконным проявлением самодержавной воли, остававшейся, как и сто лет назад, ничем не ограниченной. Поэтому и потребовалась процедура явно фиктивного, но все-таки суда.

Надо полагать, что опыт суда над Радищевым оказался удачным, и когда в 1792 году началось дело издателя Н. И. Новикова, то Екатерина II решила также провести его через судебный процесс. Однако Новиков на допросах вел себя «изворотливо» и защищался умело, кроме того, обвинение в принадлежности к масонству, которое не запрещали до этого, можно было предъявить многим людям высшего света. Короче, императрица поняла, что процесс может завершиться большим скандалом и превратить власть в посмешище. 1 августа 1792 года появился именной указ: Новикова «запереть»



на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость «по силе законов». Резолюцию «По силе законов» часто использовал Петр Великий, когда затруднялся в указании конкретной статьи, по которой осуждал преступника. Так Екатерина II свернула на проторенную дорогу бессудных решений и поступила так, как ей позволяли традиция и закон: вынесла приговор-резолюцию только на основании материалов политического сыска.



*Н. И. Новиков*

Таким образом, даже управляемый и ограниченный в своих возможностях суд над Радищевым оказался единственным исключением в непрерывной череде бессудных расправ над политическими преступниками. По поручению самодержца руководители политического сыска возбуждали дела, вели расследование, выносили приговоры и сами приводили их в исполнение.

Степень вины конкретного преступника определялась весьма расплывчатыми, с нашей точки зрения, критериями: «важные вины», «средние вины», «малые вины». Причем в одних случаях преступник с «средней виной» мог выйти на свободу, а в других – оказаться в Сибири. Думаю, что начальники сыска в этом не видели никакой проблемы: существовали традиционные и довольно устойчивые принципы (особенно если шла речь о рядовых, «неважных» делах), которые позволяли определить, какая из «средних вин» серьезнее, и вынести соответствующий приговор. Так, правовые нормы не дают никаких градаций «непристойных слов», но между тем различия в наказаниях за их произнесение бросаются в глаза. За одни «непристойные слова» людей отпускали из сыска с выговором и предупреждением, а за другие подвергали пыткам и мучительной казни. Чем же определялась «цена» этих слов?

В документах политического сыска мы не встретим единообразия: в одних случаях «непристойные слова» воспроизводятся, а в других – нет. В экстракте из дела поручика Кондырева (1739 г.) записано практически все, что он сказал, когда за какую-то служебную провинность его пытались заковать в кандалы: «Я ведаю, кто меня кует: сука, курва императрица!» На допросе Кондырев сначала утверждал, что «сукой» императрицу не называл, а только «курвой», но потом признал, что «может быть, что он [государыню] и "сукою" называл, да не помнит». Обычно же бранные, нецензурные слова почти никогда «прямо», то есть буквально, не записывали. Люди опасались повторять на бумаге «непристойное слово», несшее угрозу каждому, кто его произносил или писал. Как записано в протоколе допроса

в 1729 году, некий колодник произнес такие непристойные слова, «которых и записывать неприлично». В 1740-х годах академик Гольдбах, дешифровавший донесения французского посланника Шетарди, требовал особого указа, который бы разрешал ему безбоязненно записывать встречавшиеся в донесениях «непристойные речи» об Елизавете Петровне.

При передаче содержания «непристойных слов» канцеляристы сыска чаще всего прибегали к эвфемизмам. В XVII веке писали обобщенно: «Про государя говорит неистовое слово». В документах XVIII века уже встречается иная, более откровенная и пространная «зашифровка». В приговоре 1727 года о крестьянине Никите Заботове, который ложно донес на своего помещика, сказано, что, по словам извечика, помещик государя «бранил матерно прямо». В некоторых делах матерная брань передана почти буквально. О преступлении солдата Алексея Язвецова, сосланного в 1752 году в Сибирь без ноздрей и с сеченой спиной, в приговоре сказано, что он об императрице Елизавете сказал: Иван Долгорукий ее «прогреб (выговорил то скверно), а потом-де Алексей Шубин, а сейчас Алексей Григорьевич Разумовский гребет (выговорил скверно ж)». Иногда в документах сыска использовали «усиленный» вариант глагола, который обозначал как бы «многоэтажность» брани: «расперегреб». Встречается и весьма «прозрачный эвфемизм»: «Государыня такая мать (выговорил то слово по-матерны прямо)» или «Называл Ея императорское величество женским естеством (выговорил прямо,)».

В некоторых случаях мы можем довольно точно установить соответствие реально сказанных

преступником слов с эвфемизмами приговоров. Известный читателю солдат Иван Седов сказал об императрице Анне: «Я бы ее с полаты кирпичом ушиб, лучше бы те деньги салдатам пожаловала». В приговоре его поступок оценен как «оказывание важных злодейственных слов, касающихся к превысокой персоне Ея и. в.».

Определить степень вины преступника по произнесенным им «непристойным словам» опытными следователям было нетрудно. Со временем это стало бюрократической рутинной. Просто бранное, «продерзостное» слово, да еще сказанное «с пьяну», «с проста», обычно наказывали битьем кнута, но чаще – сечением батогами или плетью. Потом виновного выпускали на свободу – вспомним изречение Ушакова: «Кнутом плутов посекаем да на волю выпускаем». Если же в «непристойных словах» усматривались «злодейственность», «важность», умысел, особая злоба, да еще с элементом угрозы в адрес государя, то тяжесть наказания возрастала: кнут, ссылка на каторгу в Сибирь, с отсечением языка – члена, «виновного» в появлении на свет «непристойного слова», и даже смертная казнь.

Однако все критерии в оценке «непристойных слов» сразу же смещаются, если речь идет о делах крупных, в которых замешаны видные люди, или даже о делах рядовых, но по каким-то причинам признанных «важными» и привлечших особое внимание самодержца. На вынесение приговора по таким делам влияли уже не нормы судебной рутины, а скрытые политические силы, воля самодержца.

Какой приговор ожидал государственного преступника XVIII века? Считалось нормой, когда его приговаривали сразу к нескольким различным наказаниям: позорящим (шельмование, клеймение), калечащим (вырывание ноздрей, отсечение членов), болевым (кнут, батоги), а также к разным видам лишения свободы и к конфискации имущества. Закон допускал, к примеру, такую комбинацию: шельмовав (опозорив) преступника, палач отрубал ему голову. Термин «казнить» подразумевал не только смертную казнь, но и всякого рода экзекуции. Поэтому в приговорах встречаются формулировки: «Казнить смертью» или «Казнить – вырезать ему язык».

Смертная казнь известна в России с древности. В XVIII веке было шесть основных способов лишения преступника жизни: 1. Отсечение головы; 2. Колесование; 3. Четвертование; 4. Повешение; 5. Сожжение (разновидность – копчение); 6. Посаждение на кол.

Впрочем, были и другие виды казней, которыми политических преступников почти не казнили. Во-первых, это аркебузирование – расстрел для военных преступников. В 1727 году к расстрелу приговорили генерал-фискала А. А. Мякина, а в 1739 году – березовского воеводу Ивана Бобровского за поправки князьям Долгоруким. Во-вторых, это закапывание живым в землю – специфическая мучительная казнь для женщин-мужеубийц. «Посаждение в воду» – это казнь через утопление. Так был казнен Иван Болотников. Этот вид казни в XVIII веке уже не применяли.

Формулировка «Казнить смертью» обозначала более легкий вид смертной казни – чаще всего простое

отсечение головы. Когда в приговоре написано «Казнить без всякой пощады» или «Учинить смертную казнь жестокою», то преступника ждали колесование, четвертование и другие мучительные способы лишения жизни. Такие виды смерти так и назывались – «мучительная смерть».

Приговор к колесованию всегда уточнялся, так как применяли колесование двух видов: «верхнее» (отсечение головы, а затем переламывание членов трупа) и «нижнее», начинавшееся с тела, то есть более мучительное (в приговорах писали: «Колесовать живова»).

Казнь четвертованием была также двух видов: у преступника либо сначала отсекали голову, а потом руки и ноги, либо ему отсекали сначала руки и ноги, а потом отрубали голову. Последний вариант казни был, естественно, мучительней первого. Приговор в этом случае гласил: «Четвертовать и потом отсечь головы». Так умер князь Иван Долгорукий. Если же выбирали первый, «облегченный» вариант, то в приговоре писали: «Вместо мучительной смерти отсечь головы».

Приговоры о повешении предполагали три вида казни: простое повешение, когда человека вешали «за шею», и мучительное – когда преступника подвешивали за ребро или за ноги.

К сожжению приговаривали преимущественно еретиков, отступников от православной веры, богохульников, а также колдунов и волшебников. Способ сожжения в приговорах обычно не уточнялся. Сжигали в России чаще всего в специальном срубе, но были сожжения и на костре. Казнь эта имела еще и символический характер. В приговоре 1683 года об Иване

Меркурьеве сказано: «Зжечь в костре... и пепел разметать и затоптать». Таков же приговор 1686 года о сожжении раскольников: «Жечь в трубе и пепел развеять». Григорий Талицкий и его сообщник Иван Савин в 1700 году были приговорены к редкой казни – «копчению».

Приговоры фальшивомонетчикам были особенно суровы – им заливали горло расплавленным металлом.

Политическая смерть в отличие от «натуральной смерти» не была физическим уничтожением преступника, она уничтожала человека как члена общества. Чаще всего приговор к такому наказанию рассматривался как помилование. В приговоре расстриге Захарию Игнатьеву в 1725 году сказано: «Вместо натуральной смерти политическую: бить кнутом нещадно и, вырезав ноздри, послать в Рогервик в каторжную вечную работу». Почему в данном случае эта казнь называется политической, сказать трудно.

Шельмование как вид наказания близко к политической смерти. Казнь шельмованием, появившаяся при Петре I, также не вела к физической гибели человека, а представляла собой сложный позорящий преступника ритуал. Его «бесчестили», или «шельмовали», исключая из числа честных людей (шельма – плут, обманщик, негодяй, пройдоха). В указе Петра I за 1714 год об этом говорится: «Шел[ь]мован и из числа добрых людей извержен». Шельмованный исключался из общества, изгонялся из своей социальной группы, дома, семьи, он терял службу, чины, не мог выступать свидетелем, его челобитные в судах не

принимались. Такого человека запрещалось под страхом наказания приглашать в гости или навещать.



*Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского*

Слово «шельма» считалось, как и слово «изменник», позорящим человека, и называть им даже в шутку честных людей значило нанести им оскорбление. Шельмованный терял даже свою фамилию. После подобного приговора среди узников Соловков в 1772 году появился «бывший Пушкин». Это – дворянин Сергей Пушкин, приговоренный к заключению и шельмованный. В списке 1775 года о людях, которым запрещено въезжать в столицы, отмечены ранее шельмованные «бывшие Семен, Иван и Петр Гурьевы».



Шельмовали как штатских, так и военных, обвиненных в измене и трусости. Шельмование в XIX веке стало называться гражданской казнью с сохранением всех старых позорящих преступника атрибутов шельмования. Через эту казнь прошли петрашевцы на Семеновском плацу в 1849 году, публицист М. Л. Михайлов в 1861 году на Сытном рынке, Н. Г. Чернышевский в 1864 году на Мытной площади в Петербурге и др.

Приговоры к телесным наказаниям формально к смерти не вели. Они были трех видов: членовредительные (калечащие), болевые, позорящие (метящие). Членовредительные наказания были введены еще в XVI веке. К ним относится отсечение (отрезание) различных частей тела: ушей, языка, ноздрей, ног, рук или пальцев рук и ног. Это связано с «талионом» – мезтью, «материальным наказанием» того члена, который «совершал преступление». Богохульство карали тем, что раскаленным железом прожигали произнесший страшные слова язык. Чаще всего язык отсекали тем, кто произносил «непристойные слова». У воров отрезали уши, сначала левое, при рецидиве – правое. Впрочем, властям порой было неважно, какую часть тела отрезать у преступника: «Помянутого колодника, отрезав ему нос или ухо, послать в Сибирь».

К болевым наказаниям относилось кнутование («Бить кнутом», «Сечь кнутом»), битье розгами и спицрутенами, а также морскими кошками, плетью, батогами. В некоторых приговорах число ударов было указано точно, в большинстве же писалось обобщенно: «Бить кнутом нещадно» («жестоко», «без всякого

милосердия», «наижесточайше») или просто: «Бить кнутом».

Приговор «Запятнать», «Поставить знаки» означал, что человек подвергался позорящему и одновременно метящему наказанию: вырезанию ноздрей, клеймению лба и щек. Знак на лице выделял его, точнее – отделял, от честных людей. Если преступника при экзекуции не метили, то тем самым его миловали, облегчали его наказание. В 1733 году в указе о священниках – ложных доносчиках – было велено их наказывать, как и всех ложных доносчиков, кнутом и ссылкой в Сибирь, но, уважая священнический сан, «без вырезания ноздрей».

Лишение свободы – весьма частое наказание политических преступников. Почти всегда публичные казни (если они не вели к смерти) сочетались с последующим лишением свободы. В России с давних пор было два способа изолировать преступников: тюрьма и ссылка. Специальных тюрем для постоянного содержания преступников в те времена не строили. Тюрьмами служили монастыри, крепости, остроги.

Отсутствие системы специальных тюрем для постоянного сидения объясняется не только неразвитостью пенитенциарной культуры, но и тем, что в России была одна огромная тюрьма – Сибирь, ссылка в которую на поселение или на каторгу часто и заменяла тюремное заключение, хотя и тюрьмы в Сибири тоже были. В приговоре по делу Лестока в 1748 году сказано: «Послать его в ссылку в Сибирь, в отдаленные города, а именно в Охотск и велеть его там содержать до кончины живота его под крепким караулом». «Крепкий караул» – обычно эвфемизм тюрьмы в самой ссылке.

«Ссылка» – понятие широкое («Удалять куда против воли, в наказание, в опалу», – поясняет его В. И. Даль). В основе ссылки лежала древнейшая суровая кара: изгнание члена общины за ее пределы, что было тогда равносильно смерти. Рассмотрим все виды ссылки.

Как опалу и наказание воспринимали вельможи XVII-XVIII веков царские указы о назначении воеводой (губернатором, воинским начальником) какого-нибудь забытого Богом Кизляра, Тотьмы, а тем более – Селенгинска или Якутска. Видом ссылки был перевод из московских чинов на службу в провинцию. Перевод из гвардии в полевую армию, а тем более – в гарнизонные полки (так произошло с Абрамом Ганнибалом в 1728 г.) считался серьезным наказанием. Запись в солдаты как наказание стремились усугубить отправкой в действующую армию (если шла война) или в Персию. Это был вернейший способ сократить жизнь ссыльного с помощью малярии, скорпионов, змей и тигров Мазандарана.

Для высокопоставленных преступников распространенным наказанием была ссылка в деревню, как правило, с указанием: «без выезда», «вечно», «до указу». Приговоры «Сослать на поселение» подразумевали переселение преступника в некую отдаленную местность: «В дальние города», «В дальние сибирские города», «Сослать в Сибирь на вечное житье в самые дальние города», причем из приговоров часто неясно, куда именно намеревались отправить ссыльного. Перед ссылкой преступника обычно наказывали кнутом, плетями, вырезали ноздри (реже язык, уши), клеймили. Ссылка без телесного наказания в приговоре отмечалась

особо: «Без наказания сослать в Сибирь на вечное житье».

Каторга как тяжелейшая форма ссылки становится в XVIII веке высшей мерой наказания, особенно после фактической отмены смертной казни при Елизавете Петровне. Понятие «каторга», «каторжанин» связано с турецким названием гребного судна – галеры. Силой, приводящей галеры в движение, были прикованные к банкам (скамьям) преступники – «каторжные». Термином «каторга» довольно скоро стали обозначать в России не только работу гребца галеры, но всякую подневольную работу на заводах, рудниках, стройках.

Каторга как принудительная работа для преступников появилась при Петре I. Разумеется, и раньше преступников приговаривали к тяжелым работам, но только петровская эпоха сделала приговоры «В ссылку на каторгу», «В работу вечно» обычными в политических и уголовных процессах. Причина появления каторги лежит на поверхности: нуждаясь в рабочих руках для задуманных им огромных строек, Петр I стремился извлечь из преступников ту или иную пользу для государства. В конце XVII – начале XVIII века самыми «популярными» местами каторги стали Азов и Таганрог, потом – Санкт-Петербург. Сибирь также была местом не только ссылки, но и каторги. В петровскую эпоху началось промышленное освоение Сибири, но рабочих рук на копях, металлургических и иных заводах не хватало, и туда, «в казенные заводы», стали отправлять каторжных невольников.

Конфискация («отписание в казну» или «на государя») движимого и недвижимого имущества была обычно последним пунктом приговора. Иногда отписание

было вечным – «безповоротным», иногда – «с поворотом» по возвращении из ссылки. В тех случаях, когда конфискации не назначались (а это в XVIII веке бывало редко), то в приговорах отмечалось: «Не отнимая у него ничего» или «А имению его быть при нем».

Срок заключения или ссылки был самым важным вопросом для приговоренного. В приговорах упоминаются самые разнообразные сроки тюремного заключения: от месяца до пожизненного, но в общем создается впечатление, что десять лет – это максимум для «срочных» приговоров. Приговор «Сослать на каторгу» уточнялся не всегда, но можно выделить два типа приговоров: пожизненная ссылка на каторгу («Сослать на каторгу в вечную работу») и ссылка на какой-то срок: «На год», «На пять лет», «На десять лет». Неясно с приговором: «До срока» или «До указа». Когда мог последовать такой указ, не знал никто. Указ об освобождении мог прийти и через месяц, а мог никогда не прийти.

Постепенно, в течение XVIII века, усиливаются тенденции дифференцированного подхода к преступлению, становится заметно стремление определить меру наказания с учетом различных обстоятельств дела. Но все же приговоры по многим политическим делам разрушают все наши представления о соотношении тяжести преступления и суровости наказания. Здесь нельзя не согласиться с большим знатоком истории русского сыска М. И. Семевским, который писал: «Инквизиторы – так именовали членов Тайной канцелярии, обыкновенно почти никем и ничем не связанные в своем произволе, зачастую судили и рядили по своему "разсуждению". Вот почему, пред многими их приговорами останавливаешься в тупике:

почему этому наказание было строже, а тому – легче? А – наказан батоги нещадно, а Б – вырваны ноздри и бит кнутом, С – бит кнутом и освобожден, а Д – бит плетью и сослан в каторгу, в государеву работу вечно и т. д. И нельзя сказать между тем, чтобы внимательный разбор всех обстоятельств дал ответ на наш вопрос. Будь известны обстоятельства, при которых судили и рядили инквизиторы, о!, тогда – другое дело! Мы бы знали сильные пружины, руководившие судьями в произнесении их приговоров».

Согласившись с Семевским, все же выделим несколько обстоятельств, которые несомненно влияли на приговор и судьбу преступника. Усугублял вину и, соответственно, наказание рецидив. Мягче организаторов («заводчиков») группового преступления наказывали рядовых соучастников. Облегчали судьи и участь тех, кто преступал закон по принуждению других. Смягчалось наказание из-за юного возраста преступника. В приговорах о казнях участников стрелецкого мятежа 1698 года отмечалось: «За малыми леты не казнено». В 1733 году за одну и ту же вину взрослый солдат Алтухов получил кнут, а соучастники его «дети малые» – лишь плети. Меньшее число ударов кнута получали женщины, учитывали при наказании и беременность преступницы. О дворовой девке Марфе Васильевой, которая к моменту вынесения приговора оказалась беременна, в 1747 году вынесено решение: «Когда она от родов свободится, учинить наказание – бить плетью». О беременной Софье Лилиенфельд в приговоре 1743 года мы читаем: «Отсечь голову, когда она от имевшаго ея бремя разрешится».

Но больше всего на коррекцию приговоров воздействовала сила неуправляемой самодержавной власти. Каприз государя, его неосновательное

подозрение меняли всю тогдашнюю логику соотношения преступления и наказания, всю шкалу наказаний. И тогда недоумение приговором выражали даже те люди, которые были причастны к политическому розыску.

В 1792 году Екатерина II, как помнит читатель, вынесла суровый приговор Н. И. Новикову, а в отношении его подельников ограничилась официальным выговором – «внушением» и ссылкой их в деревни. Приговор вызвал вопросы главнокомандующего Москвы А. А. Барятинского, который тщательно готовил этот процесс и полагал, что под суровый приговор суда подпадут минимум шесть-семь масонов, связанных с Новиковым. Получив указ императрицы, Барятинский писал С. И. Шешковскому: «Я не понимаю конца сего дела, как ближайšie его сообщники, если он преступник, то и те преступники! Но до них, видно, дело не дошло. Надеюсь на дружбу вашу, что вы недоумение мое объясните мне». Конечно, Барятинский рассчитывал раздуть из дела Новикова большой процесс и стать разоблачителем зловредных масонов – врагов отечества и престола. Но он не понял, что к концу следствия настроения императрицы изменились, она по неизвестным причинам решила свернуть все дело.

Раскаяние преступника было одной из задач политического сыска. Человеку никогда не позволяли уйти из застенка с высоко поднятой головой. Его не только пытали, но и всячески унижали, ломали. «Бесстрашие», «упрямство» каралось сурово. Человек был обязан не просто признать свою вину, но и каяться, униженно просить о помиловании. При этом мало кого

интересовала его искренность, важно было формальное покаяние.

Правильным, с точки зрения следствия, было поведение В. В. Долгорукого, который после вынесения ему приговора по делу царевича Алексея написал государю покаянное письмо. Это облегчило его участь. Разумно поступил в 1743 году Иван Лопухин, который признал, «что ему в его вине нет оправдания, и он всеподданнейше просит милосердия, хотя для бедных малолетних своих детей». Словом, «повинную голову и меч не сечет» – Лопухин, благодаря раскаянию, головы не потерял. Впрочем, известно, что прошение князя Матвея Гагарина, повинившегося в 1721 году перед Петром I в своих преступлениях, ему не помогло – царь указал повесить сибирского губернатора. Не был помилован раскаявшийся и выдавший всех своих сообщников царевич Алексей.

Нераскаявшийся преступник вызывал серьезное беспокойство властей, вынуждал их суетиться, добиваться его «прозрения». Во время суда над Василием Мировичем заметили, что при ответах на вопросы он проявляет упрямство, «некоторую окаменелость». Часть судей принялись «увещевать его наедине и приводить в раскаяние», но безрезультатно: Мирович не раскаялся, а только выразил сожаление о печальной судьбе тех 70 солдат, которых он увлек в бунт. После этого суд постановил сковать преступника в наказание за упрямство цепями и так держать под строгим караулом. Но даже кандалы не смутили Мировича – он так и не раскаялся в содеянном. Полковник гвардии Евграф Грузинов в 1800 году настроил против себя следственную комиссию своим упорством и «не показал ни малейшего о преступлениях



своих раскаяния и решительно и дерзко отказался от всякого ответа», за что подвергся зверской казни кнутованием насмерть.

Помилование преступника при утверждении приговоров государем входило в «правила игры» вокруг эшафота, его часто предусматривали заранее. «Сентенция о казни смертью четвертованием Бирона» была принята судом 8 апреля 1741 года, а указ о «посылке» Бирона с семьей в Сибирь был подписан за три месяца до этого – 30 декабря 1740 года. Более того, поручик барон Шкот, посланный в Пелым для строительства тюрьмы для Бирона, рапортовал 6 марта 1741 года, что заканчивает стройку и уже ставит палисад.

«Миловать подданных» было принято по случаю различных церковных, светских празднеств, рождений и похорон в царской семье, при вступлении на престол нового властителя. Милости были разные. Одним дарили жизнь, другим колесование живьем заменяли на колесование уже после отсечения головы, третьих вместо посажения на кол четвертовали. Приговоренный к мучительной смерти всегда мог надеяться, что государь определит ему смертную казнь без мучений или «помилует» ссылкой на каторгу. Приговор к «нещадному» битью кнутом заменяли на просто «битье кнутом», а для тех, кого приговаривали к простому кнутованию, кнут уступал место более «щадящему» инструменту порки – батогам или плети. Известен и уникальный случай «помилования». За ложный извет на своего господина крепостной Козьма Жуков был в 1705 году приговорен в Преображенском приказе к смертной

казни. Петр I одобрил приговор, но при этом распорядился: «Того Кузьму смертью казнить не велел, а велел для анатомии послать к доктору» Николаю Бидлоо на его двор, где Жуков после опытов известного хирурга через шесть дней умер.

В этом контексте и следует рассматривать фактическую отмену казни при Елизавете Петровне. Согласно легенде, совершая переворот 25 ноября 1741 года, цесаревна дала клятву, что, став императрицей, никогда не подпишет ни одного смертного приговора. Действительно, в царствование дочери Петра ни один человек не был лишен жизни на эшафоте, а приговоренных к смерти ссылали на каторгу. Конечно, и раньше смертная казнь порой заменялась «нещадным» битьем кнутом, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу. В петровское время при этом исходили из соображений рациональных: на стройках и рудниках не хватало рабочих рук и поэтому не казнили даже рецидивистов. При Елизавете сделали следующий шаг.

Особо знаменитым считается указ от 7 мая 1744 года, который приостанавливал приведение в исполнение приговоров к смертной казни без санкции Сената. Указов же, одобряющих вынесенные приговоры, местные суды из Сената так и не дождались. Эта фактическая отмена смертной казни была утверждена указом 1754 года, по которому «натуральная смертная казнь», то есть лишение преступника жизни, заменялась в обязательном порядке иным наказанием: «Подлежащим к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, ставить на лбу «В», а на щоках: на одной «О», а на другой «Р» и, заковав в кандалы, ссылать на каторгу». Так в России на смену смертной казни пришло «нещадное наказание» кнутом.

Конечно, для человека, приговоренного к смерти, кнут был предпочтительнее намыленной петли, топора или кола, но часто кнутование было лишь иной формой смертной казни.

Проблема смертной казни волновала и Екатерину II. На нее сильное впечатление произвела популярная в Европе книга Цезаря Беккариа «О преступлении и наказании», в которой была выражена свежая для тогдашних времен мысль о необходимости отменить смертную казнь и другие публичные наказания, так как они не устрашают людей, а лишь ожесточают нравы. Екатерина была в принципе согласна с Беккариа, даже преклонялась перед его взглядами. Впрочем, не следует забывать отношение Екатерины к ученым и теориям вообще. Как-то она сказала Дидро фразу, весьма уместную в данной книге: «В своих преобразовательных планах вы упускаете из виду разницу нашего положения: вы работаете на бумаге, которая все терпит, ваша фантазия и ваше перо не встречает препятствий; но бедная императрица, вроде меня, трудится над человеческой шкурой, которая весьма чувствительна и щекотлива». Императрица объявляла себя «великой противницей» смертной казни, но в то же время считала ее «некоторым лекарством больного общества». Поэтому-то смертная казнь с приходом к власти Екатерины II была возобновлена, лишь после подавления восстания Пугачева и казней мятежников ее фактически заменили кнутом.

# «ЗАУТРА КАЗНЬ»

Преступник, которому вынесли приговор, узнавал об этом накануне казни в тюрьме. Объявить приговор могли за несколько дней до казни или буквально за несколько часов до нее. В 1740 году А. П. Волынскому приговор объявили в Петропавловской крепости за четыре дня до казни. Там же в день казни, 27 июня, ему совершили часть экзекуции – «урезали язык», завязали рот платком и повели на Обжорный рынок (Обжорку), к построенному накануне эшафоту.

Как вели себя люди, узнав о предстоящей казни, известно мало. Артемий Волынский после прочтения ему приговора разговаривал с караульным офицером и пересказывал ему свой вещий сон, приснившийся накануне. Потом он сказал: «По винам моим я наперед сего смерти себе просил, а как смерть объявлена, так не хочется умирать». К нему несколько раз приходил священник, с которым он беседовал о жизни и даже шутил – рассказал попу «соблазнительный анекдот об одном духовнике, исповедовавшем девушку, которая принуждена была от него бежать». Так же свободно вел себя перед казнью Василий Мирович.

Естественно, что не каждый мог так мужественно и спокойно встретить страшное известие. В 1742 году советнику полиции князю Якову Шаховскому поручили объявить опальным сановникам приговор о ссылке в Сибирь и немедленно отправить их с конвоем из Петербурга. Он заходил к каждому из узников Петропавловской крепости и читал им приговор. Вначале Шаховской зашел в казарму, где сидел бывший первый министр А. И. Остерман – сам большой любитель и

знаток сыскного дела: «По вступлении моем в казарму, – вспоминал Шаховской, – увидел я одного бывшего кабинет-министра графа Остермана, лежащего и громко стенающего, жалуясь на подагру, который при первом взоре встретил меня своим красноречием, изъявляя сожаление о преступлении своем и прогневлении... монархини».



*А. Н. Остерман*

Тяжелой для Шаховского оказалась встреча и с бывшим обер-гофмаршалом графом Р. Г. Левенвольде. Это был один из типичных царедворцев того времени – холеный вельможа, обычно надменный и спесивый. Не таким он предстал перед Шаховским: «Лишь только вступил в оную казарму, которая была велика и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который при том в смятенном духе так тихо говорил, что я и речь его расслушать не мог, паче ж что

вид на голове его вклоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда нимало не вообразили мне того, для которого я туда шел, но думал, что то был кто-нибудь по иным делам из мастеровых людей арестант ж».

' В таком же плачевном виде оказался и третий арестант – М. Г. Головкин: «Я увидел его, прежде бывшего на высочайшей степени добродетельного и истинного патриота, совсем инакова: на голове и на бороде отрослые долгие волосы, исхудалое лицо, побледнелый природный на щеках его румянец, слабый и унылый вид сделали его уже на себя непохожим, а притом еще горько стенал он от мучащей его в те часы подагры и хирагры».

И только фельдмаршал Б. Х. Миних показал себя мужественным человеком и на пороге тяжелых испытаний выглядел молодцом: «Как только в оную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поворотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях порохом окуриваемого видать, шел ко мне навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я начну».

С момента объявления приговора главным человеком для осужденного становился священник, который был обязан вселять в душу преступника страх Божий и «возбуждать расположение к чистосердечному раскаянию в соделанном преступлении». В XVII веке закон предполагал, что приговоренный к смертной казни после приговора должен просидеть шесть недель в

покаянной палате тюрьмы, чтобы подготовиться к смертному часу. В XVIII веке никаких покаянных палат уже не было, и на покаяние давали всего день-два. Отпущенное судом время уходило на душеспасительные беседы со священником, исповедь, и если приговоренный своим чистосердечным раскаянием этого заслуживал, то и на причащение. Священник сопровождал процессию до самого эшафота, где в последнюю минуту давал преступнику приложиться к кресту.

Прежде чем рассказать о процедуре публичной казни, остановлюсь на тайных казнях. К их числу относится казнь царевича Алексея Петровича. Есть две основные версии причины его смерти. Согласно одной из них, царевич умер от последствий пыток, согласно другой – его тайно казнили в Петропавловской крепости после вынесения смертного приговора. Один из сподвижников Петра I А. И. Румянцев сообщал в своем письме, что вместе с ним царевича казнили приближенные царя П. А. Толстой, И. И. Бутурлин и А. И. Ушаков. Они удушили Алексея подушками в казарме Петропавловской крепости: «На ложницу (ложе. – Е. А.) спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, глаза его накрыли, пригнетая, дондеже движения рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалось скоро ради его тогдашней немощи... И как то совершилось, мы паки положили тело царевича, яко бы спящего и, помолився Богу о душе, тихо вышли». Есть серьезные сомнения в подлинности этого письма, хотя факт насильственной смерти царевича представляется почти несомненным.



*Царевич Алексей Петрович*

Есть и другие версии казни царевича. По одной из них, наиболее правдоподобной, царевича казнили, дав ему бокал с ядом. Как бы то ни было, можно утверждать, что смерть Алексея произошла в самый, если так можно сказать, нужный для Петра I момент. 24 июня 1718 года суд приговорил царевича к смерти. Царь должен был либо одобрить приговор, либо его... отменить. На раздумье ему отводилось всего несколько дней: 27 июня предстоял великий праздник – годовщина победы под Полтавой, а 29 июня – именины царя в день святых Петра и Павла. К этим датам логичнее всего было приурочить акт помилования. Но, по-видимому, у Петра была другая цель – покончить с сыном, который, по его мнению, представлял опасность для детей от второго брака с Екатериной и для будущего России. Но как это сделать? Одобрить приговор означало и привести его в исполнение, то есть вывести царевича на эшафот и



публично пролить царскую кровь! Но даже Петр I, не раз пренебрегавший общественным мнением, на это не решился. Он не мог не считаться с последствиями публичного позора для династии, когда один из членов царской семьи попадал в руки палача.

Не забудем, что после Стрелецкого розыска 1698 года у Петра были основания казнить и царевну Софью – серьезнейшего конкурента в борьбе за власть, однако по той же причине он не решился этого сделать и ограничился лишь заточением сестры в монастырь. С Алексеем заточение в монастыре проблемы не решало. Пролитие же царской крови считалось в те времена вещью недопустимой. Как известно, казни английского короля Карла I и французского короля Людовика XVI воспринимались в европейском обществе (добавим – монархическом) как серьезнейшее нарушение устоев общественной и государственной жизни. В России это понимали подобным же образом. Когда Арсений Мациевич узнал, что охранники убили Ивана Антоновича, то сказал слова, которые бы поддержали многие: «Как же дерзнули... поднять руки на Ивана Антоновича и царскую кровь пролить?» Словом, тайная казнь царевича оставалась единственным выходом из крайне затруднительного положения, в котором оказался царь, сгоряча устроивший «законный суд» над сыном и добившийся вынесения ему смертного приговора.

Тайная казнь Алексея не была в Петропавловской крепости единственной. В 1735 году был утвержден приговор нераскаявшемуся старообрядцу Михаилу Прохорову: «Казнить смертью в пристойном месте в ночи». В 1738 году приговорили к смерти старообрядца Ивана Павлова. Из журнала Тайной канцелярии известно, что «раскольнику Ивану Павлову смертная казнь учинена

в застенке пополудни в восьмом часу, и мертвое его тело в той ночи в пристойном месте брошено в реку». Так как была зима, то, надо полагать, труп Павлова спустили под лед. Думаю, что стойких старообрядцев казнили тайно потому, что публичная экзекуция давала бы им ореол святости в глазах народа, а пролитая ими за Бога кровь воспринималась бы как святая.

Церемония публичной казни была хорошо продумана. В утро казни к приговоренному приходили назначенный старшим экзекутором чиновник, священник и начальник охраны. Преступник мог дать последние распоряжения о судьбе своих личных вещей, драгоценностей: что-то он отдавал священнику, охранникам, что-то просил передать на память детям или продать, чтобы вырученные деньги раздали нищим. Так поступил А. П. Волынский. Из материалов XVIII века не следует, что преступника перед экзекуцией переодевали, как было в XIX веке, в свежее белье, в черную (траурную) одежду или саван. Специальная одежда для приговоренных появилась в 1840-х годах, когда преступнику стали выдавать суконный черный кафтан и шапку. На грудь преступника уже в XVII веке вешали черную табличку с надписью о виде преступления.

От тюрьмы до места казни приговоренного сопровождал конвой. Начальник конвоя назначался особым указом заранее, и его миссия была очень важной: вся ответственность за проведение экзекуции и порядок на месте казни лежали на нем. До наших дней дошла одна из таких инструкций начальнику конвоя. Так, в день казни братьев Гурьевых и Петра Хрущева в Москве гвардейский офицер, назначенный начальником конвоя,

должен был явиться к сенатору В. И. Суворову и «требовать известных преступников письменно». Оформив прием и получив приговоренных на руки, он назначал к каждому из преступников по восемь солдат и одному сержанту под командой офицера. Другие солдаты вставали в каре вокруг преступников. Следовал сигнал, и под бой барабанов начиналось движение к лобному месту.

Пастор Зейдер, приговоренный в 1800 году к двадцати ударам кнута и пожизненной ссылке в Нерчинск, в рудники, так описывал процедуру выхода на казнь: «Один из офицеров, по-видимому старший чином, сделал знак гренадеру, тот подошел ко мне и велел мне следовать за собою. Он повел меня во двор полиции. Боже! Какое потрясающее зрелище! Солдаты составили цепь, раздалась команда, и цепь разомкнулась, чтобы принять меня. Двое солдат с зверским выражением схватили меня и ввели в круг. Я заметил, что у одного из них под мышкой был большой узел, и я убедился в страшной действительности: меня вели на лобное место, чтобы исполнить самое ужасное из наказаний – настал мой последний час! Цепь уже замкнулась за мною, когда я поднял глаза и увидел, что все лестницы и галереи двора были переполнены людьми. Моему взгляду ответили тысячи вздохов, тысячи стонов... Мы двинулись на улицу. Отряд всадников обступил окружавших меня солдат. Медленно двигалось шествие вдоль улиц, я шел посередине твердым шагом, глаза мои, полные слез, были обращены к небу. Я не молился, но всеведущий Господь понимал мои чувства!..»

К месту казни преступника либо вели пешком, либо везли на специальной повозке – «позорной колеснице». На телегах по двое, со свечами в руках, сидели стрельцы,

которых 30 сентября 1698 года везли для казни из Преображенского в Москву. Все это, по-видимому, выглядело как на известной картине В. М. Сурикова «Утро стрелецкой казни», правда, с той только поправкой, что массовые казни проводились в разных местах Москвы, а на Красной площади казнили 18 октября только десять стрельцов.

В 1723 году бывшего вице-канцлера П. П. Шафирова везли к эшафоту в Кремле «на простых санях». В 1740 году на Обжорку А. П. Волынский и его конфиденты шли пешком, как и в 1742 году на площадь перед коллегиями на Васильевском острове шли Б. Х. Миних, М. Г. Головкин и другие приговоренные. Только больного А. И. Остермана доставили туда на простых дровнях. Для Василия Мировича в 1764 году сделали какой-то особый экипаж. 18 октября 1768 года Салтычиху везли к эшафоту на Красной площади в санях.

Зейдер продолжает: «Наконец мы дошли до большой, пустой площади. Там уже стоял другой отряд солдат, составлявший тройную цепь, в которую меня ввели. Посредине стоял позорный столб, при виде которого я содрогнулся, и нет слов, которые бы могли выразить мое тогдашнее настроение духа. Один офицер верхом, которого я считал за командующего отрядом и которого, как я слышал впоследствии, называли экзекутором, подозвал к себе палача и многозначительно сказал ему несколько слов, на что тот ответил: "Хорошо!" Затем он стал доставать свои инструменты. Между тем я вступил несколько шагов вперед и, подняв руки к небу, произнес: "Всеведущий Боже! Тебе известно, что я невиновен! Я умираю честным! Сжался над моей женою

и ребенком, благослови, Господи, государя и прости моим доносчикам!"»

Прокомментируем рассказ пастора. Надо думать, что его вели к одной из конских площадок, где продавали лошадей, но иногда кнутовали уголовников. В конце XVIII века в Петербурге было два таких места: у Александро-Невского монастыря и «у Знамения», то есть на Знаменской (ныне Восстания) площади. Казнь пастора, судя по всему, происходила на Знаменской площади. Грандиозные публичные казни знаменитых преступников проводились обычно на рыночных площадях, торгах, перед казенными зданиями, при большом стечении народа. В Петербурге местом таких публичных казней стала Троицкая площадь. Устраивали экзекуции и в самой Петропавловской крепости, на Плясовой площади. Но самое известное место казней в столице – площадь у Обжорного (Сытного) рынка, Обжорка. Здесь рубили головы, вешали и секли кнутом как простых уголовников, так и важных государственных преступников. Здесь же на столбе и колесах выставляли тела казненных. В 1740 году на Обжорке сложили свои головы А. П. Волынский и его конфиденты. Казнь А. И. Остермана и других в январе 1742 года была проведена на Васильевском острове, перед зданием Двенадцати коллегий. Там же казнили в 1743 году и Лопухиных.

В выборе в новой столице места для казни можно усмотреть московскую традицию. В первопрестольной казнили в трех основных местах: на торговой площади – Красной, «у Лобного места... пред Спасских ворот», перед зданиями приказов в Кремле, а также на пустыре у Москвы-реки, известном как Козье болото или просто Болото. Здесь лишили жизни Разина, Пугачева и множество других преступников. По-видимому, казнь на

поганом пустыре, обычно заваленном разным «скаредством», имела и символический, позорящий преступника оттенок – не случайно тело преступника (как это было с телом Разина) оставляли на какое-то время среди падали и мусора и даже не отгоняли псов, которые рвались к кровавым останкам. Публичную казнь не проводили вдали от городов. Наоборот, делалось все, чтобы экзекуцию видело возможно большее число людей. Идеальным считалось, чтобы казнь состоялась на месте совершения преступления, на родине преступника и при скоплении народа. Но совместить эти условия было непросто, поэтому считалось достаточным выбрать наиболее людное место, если речь шла о казни в столице.

Эшафот, возвышавшийся на площади, представлял собой высокий деревянный помост. Эшафот Пугачева был высотой в четыре аршина (почти 3 метра). Он имел ограждение в виде деревянной невысокой балюстрады. Делалось такое высокое сооружение для того, чтобы всю процедуру казни видело как можно больше людей. Помост был вместительным – на нем ставили все необходимые для казни орудия: позорный столб с цепями, виселицу, дубовую плаху, колья. Сверху специального столба горизонтально к земле прикреплялось тележное колесо для отрубленных частей тела. Все это ужасавшее зрителей сооружение венчал заостренный кол или спица, на которую потом водружали отрубленную голову преступника.

Указ о возведении эшафота полиция получала буквально накануне казни, так что плотники рубили сооружение даже ночью, при свете костров. Это тоже характерный момент публичных казней. Возможно, так стремились предотвратить попытки сторонников

казнимого подготовиться к его освобождению (прокопать к месту экзекуции подземный ход, заложить мину, организовать нападение и т. д.).

Но казнили и без всякого эшафота. Сотни стрельцов в 1698 году лишились голов или были повешены в самых разных местах Москвы, причем многие трупы висели на бревнах, которые были вставлены в зубцы городских стен, а также под Новодевичьим монастырем и на его стенах. В ноябре 1707 года для казни тридцати астраханских стрельцов прямо на землю были положены пять брусьев, на каждый из них клали свои головы шесть человек. Палач подходил к одному за другим и ударом топора отсекал им головы.

Пастор Зейдер в 1800 году видел, как палач что-то нес под мышкой, и догадался, что это орудия его будущей казни. Действительно, палач прибывал на казнь со своим инструментом, причем постепенно сложился особый «комплект палача» – так называли набор палаческих инструментов. Кроме кнутов, плетей, батогов, розог, клейм (штемпелей) палач имел топор (или меч) для отсечения головы, пальцев, рук и ног, щипцы для вырывания ноздрей, клещи, нож для отсечения ушей, носа и языка и других операций, ремни, веревки для привязывания преступника и т. д. Особой подготовки требовало «посаждение» на кол. Для этой экзекуции нужны были тонкий металлический штырь или деревянная жердь. Переносная жаровня и угли требовались палачу, если экзекуция включала предказневые пытки огнем.

Палач был главной (разумеется, после самого казнимого) фигурой всего действия. В XVIII веке ни одно центральное или местное учреждение не обходилось без

штатного «заплечного мастера». С древних времен палачами могли быть только свободные люди. При отсутствии добровольцев власти насильно отбирали в палачи «из самых молодчих или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палачей не было». При нехватке палачей брали на эту работу мясников.

В обществе к палачам относились с презрением и опаской, но работа эта была выгодной и денежной. Палаческие обязанности являлись пожизненными и, возможно, потомственными. Среди палачей были свои знаменитости. Палачами могли стать только люди физически сильные и неутомимые – заплечная работа была тяжелой. Палачу нужно было иметь и крепкие нервы – под взглядами тысяч людей, на глазах у начальства он должен был сделать свое дело профессионально, то есть быстро, сноровисто. Профессия палача требовала специфических навыков и приемов, которым обучали его коллеги – старые заплечные мастера. Твердость руки, сила и точность ударов отрабатывались на муляжах, на берестяном макете человеческой спины.





*Плаха и топор*

Во время фактической отмены смертной казни в царствование Елизаветы Петровны палачи двадцать лет никого не казнили и утратили квалификацию. Поэтому для казни В. Я. Мировича в 1764 году в полиции тщательно отбирали одного палача из нескольких кандидатов. Накануне он «должен был одним ударом отрубить голову барану с шерстью, после нескольких удачных опытов, допущен к делу и... не заставил страдать несчастного». По-видимому, навыки палача не ограничивались умением владеть кнутом или топором, а требовали и некоторых познаний в анатомии, что было

необходимо при пытках и во время казней. Это видно из записок Екатерины II, которая писала о том, что от искривления позвоночника ее лечил местный данцигский палач, который в этом случае выполнял роль, по-современному говоря, мануального терапевта.

В XIX веке найти людей, готовых взяться за топор, стало непросто. Все чаще вместо вольнонаемных заплечных мастеров палаческие функции стали исполнять преступники, которым за это смягчали наказание. Власти предписывали назначать преступников в палачи, «не взирая на их несогласие» и с «обязательством пробыть в этом звании по крайней мере три года». Позже, когда начались казни народовольцев и эсеров, поиск палачей превратился для правительства в огромную проблему.

При экзекуции палачу требовались ассистенты, порой их нужно было немало. Кроме учеников помощниками палача выступали гарнизонные солдаты, низшие чины полиции и... даже люди из публики. Так, с древних времен при казни кнутом существовал обычай выхватывать из любопытствующей толпы, теснившейся вокруг эшафота, парня поздоровее и использовать его в качестве живого «козла», чтобы сечь преступника на спине этого «ассистента».

Приведенного или привезенного под усиленной охраной преступника пропускали внутрь цепи или каре стоявших на месте казни войск. У солдат в оцеплении было две задачи: одна реальная, другая – гипотетическая. Во-первых, они сдерживали, подчас с трудом, народ, стремящийся подойти к эшафоту поближе. Во-вторых, организаторы казни опасались

попыток отбить преступника, что происходит, кажется, только в современных исторических фильмах.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В рапорте Петру I в 1708 году о казни Кочубея и Искры сообщалось, что в момент экзекуции вокруг эшафота стояли «великороссийской пехоты три роты с набитым (т. е. заряженным. – Е. А.) ружьем».

Войска, окружавшие в 1764 году Лобное место, на котором казнили Василия Мировича, также имели заряженные ружья «при полном числе патронов».

С боевыми зарядами стояли солдаты на Болоте во время казни Емельяна Пугачева в 1775 году.

При экзекуции в Черкасске в 1800 году к эшафоту прикатили четыре заряженные пушки. Их стволы были нацелены в толпу, и артиллерийская прислуга держала наготове зажженные фитили.

Приговоренный, доставленный к подножию эшафота, слушал последнюю молитву священника, прикладывался к кресту и в окружении конвойных поднимался на помост. На эшафоте преступника расковывали, но есть сведения о том, что некоторых вешали в оковах. Звучала воинская команда: «На караул!», раздавалась барабанная дробь, чиновник (секретарь) громко, «во весь мир», зачитывал приговор.

Приговор, объявляемый преступнику, с древних времен был по форме выговором «неблагодарному государеву холопу» от имени государя: «Вор и изменник и клятвопреступник, и бунтовщик... стрелец Артюшка Маслов! Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич... велел тебе сказать...» – далее следовало перечисление «вин» преступника. Во времена Екатерины II прямого обращения к казнимому уже не было, но приговоры сохраняют повышенную эмоциональность: «Кречетов, как все его деяния обнаруживают его, что он самого злого нрава, и гнусная душа его наполнены злом против государя и государства... яко совершенный бунтовщик и обличен в сем зле по законам государственным яко изверг рода человеческого...» – и т. д.

Все присутствующие ждали, когда прозвучит окончание документа – там содержалась самая важная часть приговора: «И Великий государь указал... учинить тебе смертную казнь – колесовать»; «Ея и. в. указала всем вам учинить смертную казнь: вас, Степана, Наталью и Ивана Лопухиных – вырезав языки, колесовать и тела ваши на колеса положить; вас, Ивана Мошкова, Ивана Путятина – четвертовать, а вам, Александру Зыбину – отсечь голову и тела ваши на колеса же положить; Софье Лилиенфельтовой отсечь голову, когда она от имевшагося ей бремя разрешится».

После этого секретарь либо заканчивал чтение, либо делал паузу, после которой оглашал уже тот «приговор внутри приговора», которым суровое наказание существенно смягчалось: «Ея и. в., по природному своему великодушию и высочайшей своей императорской милости, всемилостивейше пожаловала, указала вас всех от приговоренных и объявленных вам

смертных казней освободить, а вместо того, за показанные ваши вины, учинить вам наказание: вас – Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, и Анну Бестужеву – высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку, а вас, Ивана Мошкова и Ивана Путятину, высечь кнутом же, а тебя, Александра Зыбина, – плетьюми и послать всех в ссылку же».

При казни Пугачева произошел примечательный случай. Как только секретарь прочитал имя и фамилию Пугачева, обер-полицмейстер Н. П. Архаров прервал его и громко спросил Пугачева: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же громко ответил: «Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Архаров не случайно прервал чтение приговора. Своим громогласным вопросом он лишний раз позволил всем убедиться, что казнят не Петра III, а самозванца.

Как вели себя приговоренные накануне и в момент казни, мы знаем мало, многие источники кратки: «Положа на плаху, смертью показнили» или «Казнен отсечением головы на плахе». Иностранцев, видевших русские казни, поражала покорность, с какой принимали свой удел казнимые. Один из них вспоминал, что стрелец, идущий на казнь мимо царя, произнес что-то вроде русского варианта латинского выражения «Идущие на смерть приветствуют тебя», а именно: «Посторонись, государь, это я должен здесь лечь».

Через несколько лет другой путешественник, Корнелий де Бруин, видевший в Москве казнь тридцати стрельцов-астраханцев, заметил: «Нельзя не удивляться, с какой ничтожной обстановкой происходит здесь казнь,

а что того более, с какой покорностью люди, будучи даже не связаны, словно барашки, подвергают себя этому наказанию, на что в других краях потребно столько приготовления, чтобы избавить общество от одного какого-нибудь негодяя».

Датчанин Юст Юль в 1709-1711 годах несколько раз видел смертные казни и писал: «Удивления достойно, с каким равнодушием относятся [русские] к смерти и как мало боятся ее. После того как [осужденному] прочтут приговор, он перекрестится, скажет «Прости» окружающим и без печали бодро идет на [смерть], точно в ней нет ничего горького».

Его земляк Педер фон Хавен, посетивший Петербург в 1736 году, сообщал, что в столице «и во всей России смертную казнь обставляют не так церемонно, как у нас или где-либо еще. Преступника обычно сопровождают к месту казни капрал с пятью-шестью солдатами, священник с двумя маленькими одетыми в белое мальчиками, несущими по кадилу, а также лишь несколько старых женщин и детей, желающих поглядеть на сие действо. У нас похороны какого-нибудь добропорядочного бюргера часто привлекают большее внимание, нежели в России казнь величайшего преступника». Как увидит читатель ниже, путешественник сильно преувеличил скромность церемонии – наверное, он видел казнь какого-нибудь заурядного разбойника. Совсем иное дело, когда на эшафоте оказывался знаменитый злодей или известный человек.

Тем не менее датчанин описывает поведение казнимого, как и предыдущие наши авторы: «Как только пришедший с ними судебный чиновник зачитает приговор,

священник осеняет осужденного крестом, осужденный сам тоже несколько раз крестится со словами "Господи, помилуй!", и затем несчастный грешник предаёт себя в руки палача и так радостно идёт навстречу смерти, словно бы на великий праздник. Палач, являющийся в сём действе главной персоной, часто исполняет свои обязанности очень неторопливо и жалостливо, как плохая кухонная девушка режет тельца. Вообще же достойно величайшего удивления то, что, как говорят, никогда не слышали и не видали, чтобы русский человек перед смертью обнаруживал тревогу и печаль. Это, без сомнения, отчасти объясняется их верой в земное предопределение и его неизбежность, а отчасти – твердым убеждением, что все русские обретут блаженство, и, наконец, отчасти великими тягостями, в которых они живут в сём мире».

В таком отношении приговоренных к казни видна одна из главных черт русского менталитета: «Умирать не страшно и не жалко» (К. Случевский), той скверной жизнью, которой живет русский человек, лучше вообще не жить. Немаловажно и то, что подготовка к казни (переодевание в черную одежду или в саван, исповедь, причастие), сама церемония (свеча в руке, медленное движение черного экипажа) – все это говорило, что приговоренный участвует в траурной процедуре собственных похорон. В XIX веке это впечатление усиливалось тем, что в процессии ехали еще и дроги с пустым гробом, который ставили у эшафота. В такие минуты приговоренный впадал в состояние прострации, особенно если при этом много молился.

Траурность процедуры, по мнению М. М. Щербатова, выгодно отличала смертную казнь от подающей надежду на сохранение жизни порки кнутом.

Щербатов пишет: «По судебным обрядам ведомый человек на смерть сошествует есть со всеми знаками погребальными: возжение свещ, присутствие отца [духовного] и чюствие, что уже не может избежать смерти и малое число минут остается ему жить, поражает его сердце, может преставить ему всю тщетность и суету жизни человеческой». Это, по мнению Щербатова, открывает самому ужасному злодею путь к искреннему раскаянию, покаянию и даже к спасению души. Власти это обстоятельство прекрасно понимали и поэтому посылали к умирающему на плахе или на колесе священника, чтобы получить не только раскаяние в совершенном преступлении, но и какую-то новую информацию о сообщниках и прочем.

Из многих описаний казни видно, что существовал определенный ритуал в поведении приговоренного к смерти. При казни Федора Шакловитого в 1689 году «по прочтении громогласном... тех всех вин никакого слова к оправданию своему он, Щегловитый, не учиня, казнен смертью. Отсечена голова». Правильнее, как полагалось государеву холопу, повел себя товарищ Шакловитого, Оброська Петров, который «пред всем народом голосно со слезами о тех воровских своих винах чистое покаяние свое приносил».

Полностью выдержал этикет казни и боярин Семен Стрешнев, приговоренный к наказанию кнутом и к ссылке на службу в Вологду (вместо сибирского заточения). Он «поклонился в землю и молвил: на государской милости челом бью, что государь его пожаловал жестокого наказанья учинить и в дальние сибирские города в тюрьму сослать его не велел». В. В. Голицын, выслушав



приговор, «поклонился и сказал, что ему трудно оправдаться перед своим государем».

Издавна было принято, чтобы по дороге на эшафот и на нем самом приговоренный кланялся во все стороны народу, просил у людей прощения, крестился на купола ближайших церквей. Юст Юль так описывает казнь троих мародеров на месте пожара в Петербурге в августе 1710 года: «Прежде всего без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу (приставленную к виселице), он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном, потом три раза перекрестился, когда его сбрасывали с лестницы. Замечательно, что, будучи сброшен с нее и вися [на воздухе], он еще раз осенил себя крестом, ибо здесь приговоренным при повешении рук не связывают. Затем он поднял [было] руку для нового крестного знамения, [но] она [наконец бессильно] упала». Другому казненному удалось перекреститься даже дважды.

О казни П. П. Шафирова в Кремле в 1723 году Берхгольц писал, что с возведенного на эшафот бывшего вице-канцлера сняли парик и шубу, он «по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил голову на плаху».

Спокойно вел себя на эшафоте обер-камергер Виллим Монс в ноябре 1724 года: «...при прочтении ему приговора... поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорей приступать к делу».

Если преступник не раздевался сам или мешкал, то палач вместе с подручными раздевал его, стремясь при

этом демонстративно разодрать одежду от ворота до пояса. В этом был заложен ритуальный смысл: тот, кто «на публичном месте наказан или обнажен был», терял свою честь. Это была общеевропейская норма. Именно поэтому французский король Людовик XVI, державшийся на эшафоте спокойно, начал сопротивляться, когда пытались ему связать руки и остричь волосы. К сказавшему в 1720 году «непристойное слово» фискалу Веревкину проявили редкую милость. По приговору указано было его «вместо кнута бить батоги нещадно... не снимая рубахи», что сохраняло ему честь. Особой милостью Петра I, проявленной к фрейлине Марии Гамильтон, стало обещание, что во время казни к ней не притронется рука палача. И действительно, тот снес преступнице голову по тайному сигналу царя внезапно, не притрагиваясь к ней и не обнажая ее, в тот самый момент, когда она, стоя на коленях, просила государя о пощаде.

Вот как отразилась в памяти современника казнь Василия Мировича в 1764 году: «Прибыв на место казни, он спокойно взошел на эшафот, он был лицом бел, и замечали в нем, что он в эту минуту не потерял обыкновенного своего румянца на лице, одет он был в шинель голубого цвета. Когда прочли ему сентенцию, он вольным духом сказал, что он благодарен, что ничего лишнего не взвели на него в приговоре. Сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающемся своем имени, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней, сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его сколько можно удачнее

исполнить свое дело и не мучить его, потом сам, подняв длинные свои белокурые волосы, лег на плаху...»



*Топор для отрубания рук и ног*

Внешне спокойно, беседуя на ходу с офицерами конвоя, шел в 1742 году на казнь фельдмаршал Миних. Он, по воспоминаниям современников, в отличие от других узников, был чисто одет и, что удивительнее всего, выбрит. Как это ему удалось сделать – загадка. Известно, что никаких острых и режущих орудий заключенным, а тем более приговоренным к казни, иметь не разрешали. Так, у Волынского отобрали даже деревянный гвоздь, который он нашел на полу камеры. Тем более никакой, даже самый проверенный парикмахер не мог быть допущен с «опасной» бритвой (а иных тогда не было) к шее,, предназначенной для

топора, поэтому приговоренные шли на казнь и отправлялись в ссылку бородами.

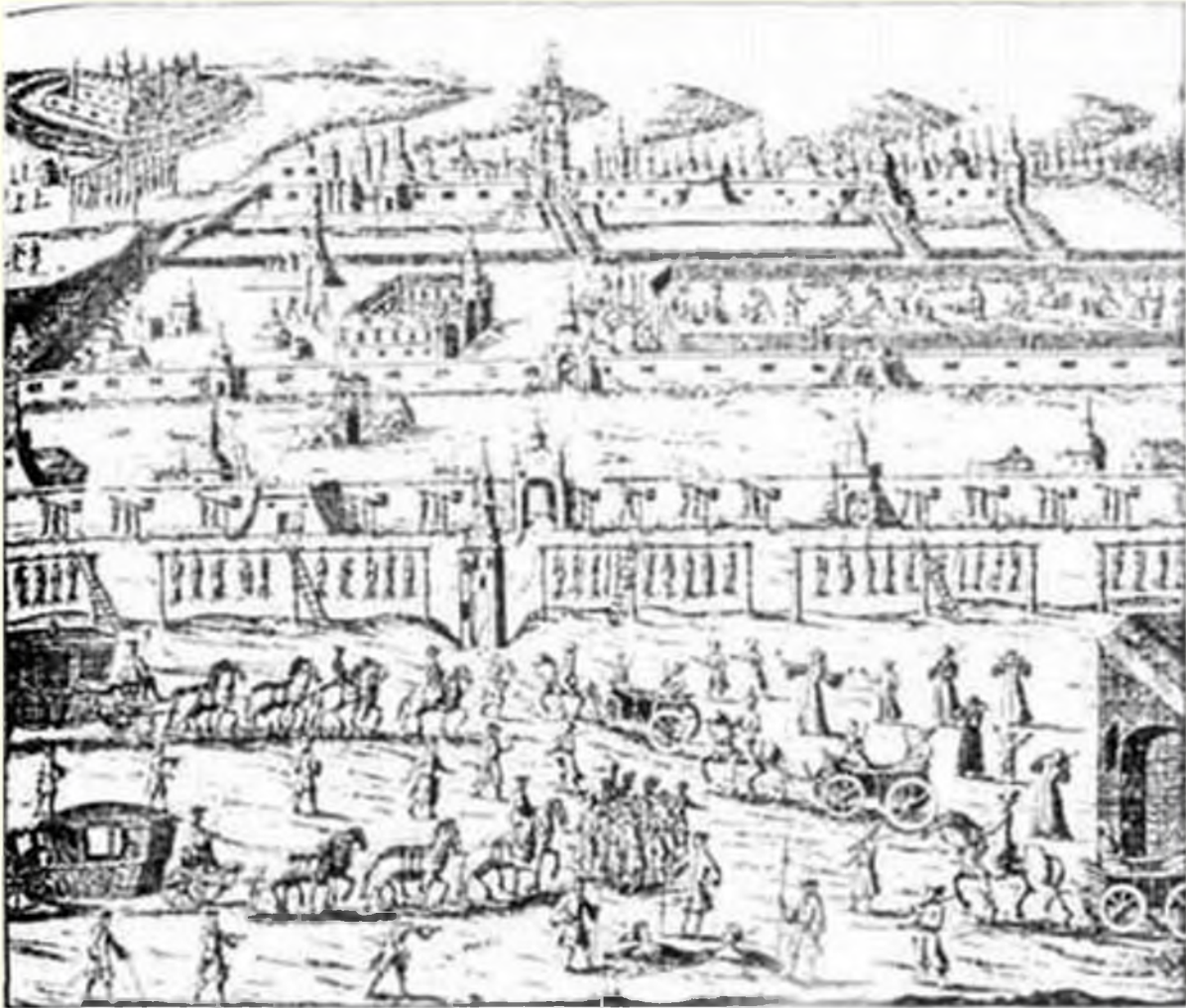
Казнь отсечением головы записывалась в протоколе сыского учреждения так: «Казнен: отсечена голова на плахе». Из документов неясно, каким орудием пользовались при экзекуции, хотя выбор был невелик – или топор, или меч. Неясно, каким был топор – мясницкий, топор дровосека или это была секира. Когда отсекали голову мечом, то приговоренного ставили на колени и палач широким замахом сносил преступнику голову с плеч. При казни топором неизменным атрибутом была плаха – чурбан из дуба или липы, высотой не более метра, возможно, с выемкой для головы. Опытный палач отделял голову от туловища одним ударом и тотчас, поднимая ее высоко за волосы, показывал толпе. Предъявление головы публике также было полно символического смысла: зрители удостоверились, что казнь действительно свершилась без обмана.

Если за палаческую работу брались непрофессионалы или палач был неопытен, то казнимого ожидали страшные муки. Известно, что палач Марии Стюарт с первого и со второго раза промахнулся – сначала попал в затылок, а потом только рассек шею. Когда же он схватил отсеченную голову за волосы, то они остались у него в руке. Это был парик, а голова шотландской королевы покатила по помосту.

Когда в 1698 году в Москве казнили стрельцов, то Петр заставил всех своих приближенных лично участвовать в экзекуции. Перед каждым боярином ставили преступника, и ему предстояло произнести приговор и затем привести его в исполнение,

собственноручно обезглавив виновного. Боярин Б. А. Голицын «был настолько несчастлив, что неловкими ударами значительно увеличил страдание осужденного». Петр вообще был сердит на многих бояр, у которых при исполнении казни тряслись руки. Сам царь бестрепетно обезглавил в Преображенском пятерых стрельцов, а Меншиков хвастался, что казнил двадцать человек.

Иногда палач получал особое распоряжение мучить жертву. В 1687 году сыну опального гетмана Украины Ивана Самойловича, Григорию, отрубили голову не сразу, а в три приема, нарочно, затем, чтобы увеличить страдания. К этому нужно добавить, что сознание не угасало сразу после отделения головы от тела. Исследования французских врачей конца XIX века показали, что голова казненного несколько секунд и даже минут жила, и закрытые веки открывались в ответ на названное имя. Эти выводы послужили причиной отмены казни на гильотине, которая сама по себе была более совершенна, чем палач, – ведь в ответственный момент человеческая рука могла дрогнуть и принести казнимому огромные страдания.



*Казни стрельцов в октябре 1698 г.*

В допетровские времена, если казнимый преступник оставался жив после первого удара палача или срывался с виселицы, то ему по давней традиции даровали жизнь. В 1715 году этот обычай был отменен: «Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить, а веревка порветца и осужденный с виселицы оторветца и еще жив будет, того ради осужденный несвободен есть, но палач имеет чин свой (т. е. обязанность. – Е. А.) до тех мест (т. е. до тех пор. – Е. А.) отправлять, пока осужденный живота лишится...» Когда во время казни декабристов летом 1826 года двое из приговоренных сорвались с виселицы, главный экзекутор приказал их

повесить заново, и в этом он строго следовал нормам петровского законодательства.

Казнь через повешение, как уже сказано выше, была трех видов: обычное повешение, подвешивание за проткнутое ребро и повешение за ноги. Повешение совершалось обычно на виселице, стоящей на эшафоте но случалось, что для этих целей использовали дерево или ворота. При подвешивании за ребро смерть не наступала сразу, и преступник мог довольно долго жить. Берхгольц описывает случай, когда подвешенный за ребро преступник ночью «имел еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытащить из себя крюк. Упав на землю несчастный на четвереньках прополз несколько сот шагов и спрятался, но его нашли и опять повесили точно таким же образом». Эту казнь могли совмещать с другими видами наказания. Никита Кирилов в 1714 году был подвешен за ребро уже после колесования.

Казнь четвертованием представляла собой расчленение тела преступника с помощью меча или топора – точнее, специального топорика для отсечения рук и ног. Иногда преступнику вначале отрубали голову а затем уже руки и ноги. Такой вариант казни был выражением милости государя к преступнику. В других случаях преступнику вначале отрубали левую руку и правую ногу (или наоборот), затем это же повторялось с оставшимися рукой и ногой, и только после этого отсекали и голову. Такое четвертование называлось «рассечение живого» и усугубляло предсмертные муки. Ужесточению муки казнимого на эшафоте в XVIII веке, как и раньше придавалось большое символическое значение – пытки накануне казни и непосредственно во

время публичной экзекуции были формой государственной мести.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Казнь четвертованием известна из описания голландца Людвиг Фабрициуса в 1671 году: «Когда пришло время палачу приступить к делу, Стенька [Разин]несколько раз перекрестился, обратившись к церкви... И вот зажали его промеж двух бревен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу по колено, а затем топором отсекли ему голову, все было совершено в короткое время с превеликой поспешностью. И Стенька ни единым вздохом не обнаружил слабости духа». Англичанин Т. Хебден писал, что Разину «отрубили руки, ноги, потом голову и насадили их на пять кольев». Все это означает, что Разина четвертовали живым.





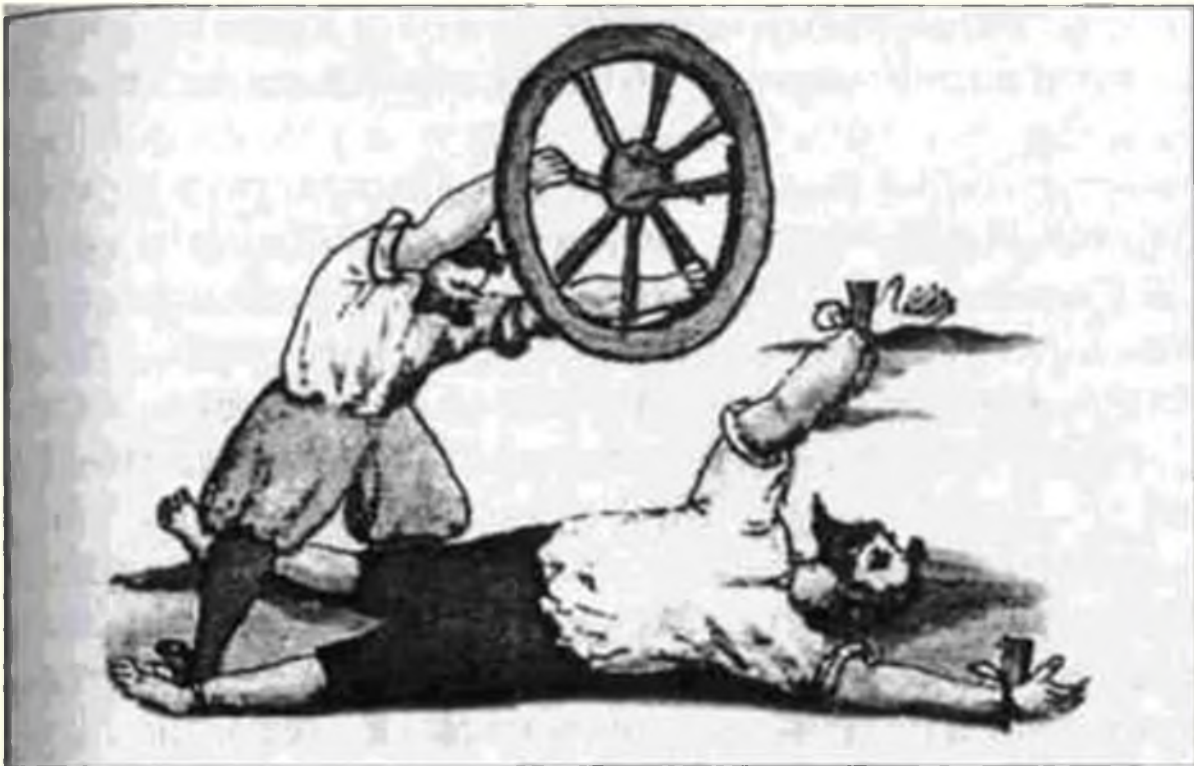
*Казнь через повешение за ребро*

Приговоренный в 1740 году к смертной казни Артемий Волынский просил А. И. Ушакова передать императрице просьбу об изменении приговора. Именно как четвертование он понял указ Анны, заменившей ему прежний приговор – «посаждение на кол» – более мягким: вырезанием языка, отсечением сначала правой руки, а затем головы. Однако просьба не была уважена.

Казнь колесованием состояла в том, что преступнику переламывали кости с помощью лома или колеса («Колесом разломан»). Средневековые гравюры и описания современников позволяют судить о технике этой казни. Сохранившееся палаческое колесо, датированное XVIII веком, позволяет прийти к выводу, что это орудие казни внешне походило на каретное колесо. Его деревянный обод был снабжен железными оковками, края которых были загнуты для того, чтобы усилить ломающий кости удар. Преступника, опрокинутого навзничь, растягивали и привязывали к укрепленным на эшафоте кольцам или к вбитым в землю кольям. Под суставы (запястья, предплечья, лодыжки, колени и бедра) подкладывали клинья или поленья, а затем с размаху били ободом колеса по членам, целясь в промежутки между поленьями так, чтобы сломать кости, но не раздробить при этом тела. В приговорах указывалось, что именно ломать: ребра, руки, ноги и т. д. В основном ломали руки и ноги. Экзекуцию над голландцем Якобом Янсенем в 1696 году можно считать первой зафиксированной казнью колесованием. После Петра I эта казнь еще применялась в России, но, в отличие от других стран Европы, довольно редко, и к середине XVIII века исчезла совершенно.

Приговор «Колесовать руки и ноги» означал колесование живого. Этот вид казни считался очень жестоким. После того как преступнику ломали руки и ноги, его клали на укрепленное на столбе колесо, где он медленно умирал. Ломая кости, палачи при этом стремились не повредить внутренних органов, чтобы не ускорить смерть и чтобы мучения затянулись. Положенные на колеса преступники жили иногда по нескольку дней, оставаясь в сознании. По словам одного

из современников, колесованные в 1697 году стрельцы «не много не сутки на тех колесах стонали и охали».



*Колесование*

Датчанин Юль в 1710 году писал, что преступникам «сломали руки и ноги и положили на колеса – зрелище возмутительное и ужасное! В летнее время люди, подвергающиеся этой казни, лежат живые в продолжение четырех-пяти дней и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу... мороз прекращает их жизни в более короткий срок».

Берхгольц видел такую же казнь в октябре 1722 года. Он записал в дневнике, что трое преступников получили лишь по одному удару колесом по каждой руке и ноге и затем были привязаны к колесам на высоких столбах. Один, по-видимому, умер сразу, но двое были весьма румяны и «так веселы, как будто с ними ничего не случилось, преспокойно поглядывали на всех и даже не Делали кислой физиономии. Но больше всего меня

удивило то, что один из них с большим трудом поднял свою раздробленную руку, висевшую между зубцами колеса (они только туловищем были привязаны к колесам), отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее место, мало того, запачкав несколько каплями крови колесо, на котором лежал лицом, он в другой раз, с таким же усилием, снова втащил ту же изувеченную руку и рукавом обтер его». Более гуманным был приговор, в котором указывалось: «После колесования, отсечь голову». Так в 1739 году колесовали И. А. Долгорукого.

По-видимому, как и при обычных переломах, колесованного можно было спасти. В 1718 году положенный на колесо Ларион Докукин согласился дать показания. Его сняли с колеса, лечили, а потом допрашивали. Вскоре он либо умер, либо ему отрубили голову. Счастливец мог считать себя приговоренный к «колесованию мертвым», ибо казнь начиналась с отсечения головы, после чего ломали уже бездыханное тело.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Как сообщал австрийский дипломат Плейер, на следующий день после казни 17 марта 1718 года лежавший на колесе Александр Кикин, увидев проходящего мимо Петра I, просил «пощадить его и позволить постричься в монастырь. По приказанию царя его обезглавили». М. И. Семевский дает еще одну версию казни А. В. Кикина. Правда, не ссылаясь на источник, он пишет, что бывший сподвижник Петра был разорван железными лапами. Такая казнь существовала в Западной Европе в XVI-XVIII веках. Железный снаряд

(«кошачья лапа», или «испанское щекотало») был величиной с человеческую ладонь, напоминал грабельки и укреплялся на деревянной ручке. Преступника растягивали на доске с помощью веревок и затем рвали его тело этой лапой.

«Посажённые на кол» было одной из самых мучительных казней. Историк XIX века Н. Д. Сергеевский считает, что кол вводился в задний проход и тело под собственной тяжестью насаживалось на него. По-видимому, были разные школы сажания на кол. Искусство палача состояло в том, чтобы острие кола или прикрепленный к нему металлический стержень ввести в тело преступника без повреждения жизненно важных органов и не вызвать обильного кровотечения, приближающего конец. Кол с преступником закреплялся вертикально. При казни Степана Глебова к колу была прибита горизонтальная рейка, чтобы казнимый под силой тяжести тела не сполз к земле. Кроме того, поскольку Глебова казнили в декабре, его одели в шубу, чтобы он не замерз, и тем самым продлили его мучения.



*«Посаждение на кол»*



*«Кошачья лапа»*

Были и другие ужасающие подробности сажания на кол. Отсылаю интересующихся ими к основанным на исторических источниках романам Генриха Сенкевича «Пан Володыевский» и Иво Андрича «Мост на Дрине», где технике сажания на кол посвящено несколько леденящих душу страниц, перечитывать которые невозможно.

Сожжение было в России не очень распространенной казнью, не то, что в Европе, где костры с еретиками горели весь XVII и XVIII века. Среди подобных экзекуций в России наиболее известна казнь 1 апреля 1681 года в Пустозерске, когда в срубе сожгли протопопа Аввакума и трех его учеников – Лазаря, Епифания и Никифора. Смерть в срубе была мучительна, и, скорее всего, казнимый погибал не от огня, а от удушья. Для казни рубили небольшой бревенчатый

домик, наполняли его смоляными бочками и соломой, потом преступника вводили внутрь сруба и запирали там. Иногда преступников опускали в сруб сверху, «так, что затем нельзя было их ни видеть, ни слышать». Есть сведения и о другой «технологии» этой казни: преступника бросали («метали») в горящий сруб.

В 1714 году на Красной площади был сожжен изрубивший икону Фома Иванов. Казнь была сложной. Вначале сожгли руку преступника, к которой было привязано орудие преступления – «косарь», а потом сожгли и самого Фому.

В 1722 году видел такую же казнь Берхгольц. Преступника, выбившего в церкви палкой икону из рук епископа, казнили в соответствии с обычаем талиона, то есть казнили вначале член, совершивший преступление. Для этого приговоренного привязали цепями к столбу, у подножья которого был разложен горючий материал. Правую руку преступника вместе с палкой, которой был нанесен удар по иконе, прикрепили проволокой к прибитой на столбе поперечине и плотно обвили просмоленным холстом. После этого подожгли руку. Она сгорела за 7-8 минут, и, когда огонь стал перебрасываться на тело преступника, был дан приказ поджечь разложенный под его ногами костер. При этом Берхгольц отмечает необыкновенное самообладание казнимого, который не издал ни одного звука во время этой страшной экзекуции.

Сравнительно много было сожжений в царствование Анны Иоанновны. После крупнейших московских пожаров 1737 года заживо сожгли Марфу Герасимову, которую поймали на месте «с тряпицей и горелым охлопком» и уличили как поджигательницу. В том же году в

Петербурге сожгли троих крестьян, обвиненных в поджогах. Заживо сжигали вероотступников и чародеев. В 1736 году на костер возвели «волшебника» Ярова, в 1738-м – татарина Тойгильду, на следующий год сожгли перешедшего в иудаизм капитан-поручика Возницына.

«Копчение» – это казнь на медленном огне. В 1701 году Григорий Талицкий и его последователь Иван Савин были приговорены к такой казни. Их в течение восьми часов обкуривали каким-то едким составом, от которого у них вылезли волосы на голове и бороде, а тела стали истаявать, как свеча. Мучения оказались столь невыносимы, что Талицкий, к вящему негодованию Савина, терпевшего во имя идеи такую же нечеловеческую боль, «покаялся и снят был с копчения», а затем четвертован.

Фальшивомонетчикам заливали горло металлом (обычно это было олово), который у них находили при аресте. Как и других преступников, их тела водружали (привязывали) на колесо, а к его спицам прикрепляли фальшивые монеты. Берхгольц описывает казнь 1722 года, при которой одному из преступников олово прожгло горло и вылилось на землю. На следующий после казни день любознательный иностранец видел его еще живым.

Признание преступником своей вины, отречение его от прежних взглядов власть, как уже говорилось выше, воспринимала с удовлетворением и могла облегчить участь приговоренного либо перед казнью (назначали более легкую казнь), либо во время экзекуции. Тот, кто просил пощады, раскаивался или давал показания, мог рассчитывать на снисхождение, получить, как тогда



говорили, «удар милосердия». Такому покаявшемуся преступнику облегчали мучения – отсекали голову или пристреливали. В некоторых случаях «удар милосердия» открывал казнь: преступника умерщвляли с помощью бечевки или убивали с первого же удара, причем тайно от зрителей. По секретному указу Екатерины II именно так поступили с Пугачевым в 1775 году. Зрители, слышавшие приговор и думавшие, что четвертование начнется «снизу», то есть с рук и ног, когда увидели, что палач сразу же отсек преступнику голову, были удивлены происшедшим. Многие сочли, что палач ошибся и его накажут.

Даже во время мучительной казни преступников призывали к покаю. После того как в 1724 году обер-фискал Нестерова четвертовали «живова», или «снизу», к нему подошел священник и стал уговаривать признать свою вину, «то же самое, от имени императора, сделал майор Мамонов, обещая несчастному, что в таком случае ему окажут милость и немедленно отрубят голову». Нестеров же упорствовал в своем непризнании. Поэтому его не лишили жизни сразу, а грубо поволокли туда, где только что казнили сообщников бывшего обер-фискала, и, бросив лицом в лужу крови, отрубили ему голову.

Власть добивалась от казнимого не только раскаяния, но и дополнительных показаний. Страшные физические мучения делали самых упрямых колодников покладистыми если не в пыточной камере, то на колесе или на колу, когда мучительная смерть растягивалась на сутки. И это позволяло вытянуть из полутрупа какие-то ранее скрытые им сведения. Поэтому рядом с умирающим всегда стоял священник, а иногда и чиновник сыскного ведомства, готовый сделать запись

признания или раскаяния. При этом смертному показанию, как и исповедальному признанию, была определена высшая цена: «Ростригу Игнатъя Иванова определено казнить смертью, а что он, рострига, при смерти станет объявлять, тому и верить».

Особая история произошла с майором Степаном Глебовым, уличенным в 1718 году в сожителстве с бывшей царицей Евдокией. На следствии Глебов держался мужественно, обвинения от себя отводил, но главное – не раскаялся в своих поступках и не просил у государя прощения. Это вызвало страшное раздражение Петра I. Глебова подвергли пыткам, похожим на те, которые применял к своим врагам Иван Грозный. Тем не менее майор так и не покался ни перед государем, ни перед церковью. В манифесте 6 марта 1718 года сказано, что Глебов «с розыска не винулся», и поэтому он обвинялся в «бесстрашии» и «бесприкладном (т. е. беспримерном. – Е. А.) преступлении». К нему, приговоренному и посаженному на кол 15 марта 1718 года на Красной площади, приставили двух священников, чтобы они, постоянно находясь у места казни, приняли покаяние преступника. Но церковники так и не дождались раскаяния Глебова. Лишь однажды умирающий «просил в ночи тайно» причастить его, но в этой просьбе ему отказали. Утром 16 марта Глебов умер. Три года спустя Петр расправился с любовником своей первой жены еще и посмертно: ему объявили анафему – вечное церковное проклятие. С тех пор по всем церквям должны были возглашать: «Во веки веков да будет анафема!» – упоминая рядом с Гришкой Отрепьевым и Ивашкой Мазепой и Степку Глебова.

Церемония политической казни проводилась в точности так же, как и натуральной, только кончалась иначе – преступнику оставляли жизнь. До самого конца преступник мог не знать, что его не собираются лишать жизни, а устроят лишь имитацию «натуральной смерти». Казнимого раздевали, зачитывали смертный приговор, клали на плаху и тут же с нее снимали. При этом оглашали указ об освобождении от смертной казни.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

11 апреля 1706 года глава Преображенского приказа Ф. Ю. Ромодановский вынес приговор: «Иноземцев Максима Лейку и Ягана Вейзенбаха казнить смертью, отсечь головы и, сказав им эту смертную казнь, положить на плаху и, сняв с плахи, им же иноземцам сказать, что Великий государь, царь Петр Алексеевич... смертью их казнить не велел, а велел им за то озорничество (подрались с охраной царевича Алексея. – Е. А.) учинить наказание – бить кнутом». Но, не дождавшись начала кнутования, горячий Ромодановский бросился к иноземцам и стал их избивать своей тростью, удары которой показались им, надо полагать, сплошным счастьем.

Имитация казни состоялась в 1713 году, когда обвиненного в преступлениях и приговоренного к расстрелу капитана Рейса было приказано привязать к позорному столбу, завязать ему глаза и «приготовить к расстрелянию», но потом объявить помилование в виде ссылки в Сибирь.

«Политическая казнь» была сопряжена с различными официальными оскорблениями казнимых и

переносилась высокопоставленными преступниками тяжело. В 1723 году казнили в Кремле П. П. Шафирова. Ассистенты палача не дали бывшему вице-канцлеру спокойно положить голову на плаху, а «вытянули его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе». Палач «поднял вверх большой топор, но ударил им возле [головы] по плахе, и тут Макаров (кабинет-секретарь Петра I. – Е. А.), от имени императора объявил, что преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь». После казни медик пускал Шафирову кровь – таким сильным было потрясение.



*П. П. Шафиров*

Пастор Зейдер никогда бы не написал записок о своей казни в Петербурге, если бы перед самой экзекуцией на площадь не прибыл курьер от генерал-губернатора графа Палена и не «сообщил что-то на ухо палачу. Последний почтительно отвечал: "Слушаюсь-с!"», а затем... стал бить кнутом не по спине,

а по широкому кушаку пасторских штанов. Это свидетельствует о том, что ни приговоренный к казни, ни палач до последнего мгновенья не знали с несомненностью, чем закончится экзекуция.

Впрочем, даже имитация казни оставляла на всю жизнь более чем сильные впечатления. Н. И. Греч, знавший пастора в 1820-х годах, когда он служил священником в гатчинской кирхе, писал, что Зейдер «был человек кроткий и тихий и, кажется, под конец попивал. Запьешь при таких воспоминаниях!»

Битье кнутом – пожалуй, самый распространенный вид экзекуции в России XVIII века. Вообще порка, физическое наказание в виде сечения, битья, играла в России огромную роль вплоть до отмены крепостного права в 1861 году, но сохранилась, в сущности, до 1917 года. Причина такой «популярности» телесного наказания не только в так называемой суровости Средневековья или в принятом во всех странах XVIII века весьма жестоком обращении с человеком, но и в особенностях политического и социального порядка, установившегося в России после утверждения в ней самодержавия и крепостничества. Безграничная власть государя делала всех подданных равными перед ним и... кнутом. Когда читаешь записки И. А. Желябужского о царствовании Петра I, то они кажутся летописью непрерывной порки за самые разные преступления людей разных состояний и положения в обществе. Подьячий и боярин, крестьянин и князь, сенатор и солдат в качестве наказания получали кнут, плети, батоги. Исследователи, начиная с М. М. Щербатова, отмечают отсутствие в общественном сознании допетровской

России (да и при Петре) ощущения позора от самого факта публичных побоев и телесных наказаний человека на площади. Лишь во времена Екатерины II порка стала считаться позором.

Бесспорно, что телесные наказания стимулировало и крепостное право. Как писала в своих записках Екатерина II, в середине XVIII века в Москве не существовало такого помещичьего дома, в котором не было бы камер пыток и орудий истязания людей. Спустя 70 лет об этом же писал М. Л. Магницкий: «Во всех помещичьих имениях, у живущих помещиков на дворах, а у их управителей при конторах, есть равным образом все сии орудия» – кандалы, рогатки, колодки и т. д. Многочисленные источники свидетельствуют, что помещики сажали людей в «холодную», на цепь, в колодки, пытали и убивали их в домашних застенках, пороли батогами, кнутом на конюшне – традиционном месте казни крепостных. Порка была настолько распространена, что синонимов слова «пороть» в русском языке так много, что их список содержит свыше 70 выражений и уступает только списку синонимов слова «пьянствовать».

Связь системы наказаний в помещичьих поместьях и в государстве была прямой и непосредственной – ведь речь шла об одних и тех же подданных. В петровскую эпоху произошло не только резкое усиление жестокости наказаний (об этом свидетельствовал рост упоминаний в законодательстве преступлений, по которым полагалась смертная казнь), но и значительное увеличение наказаний в виде порки различных видов. Можно говорить о целенаправленной политике запугивания подданных с помощью «раздачи боли». Пример такого отношения к людям подавал сам Петр I, чья знаменитая

дубинка стала одним из выразительных символов эпохи прогресса через насилие в России. Мало того, что пороли в каждом помещичьем доме, власти устраивали массовые экзекуции, перепарывая население целых деревень и сел, оказавших сопротивление властям или не подчинявшихся помещику.

Приговоренного к битью кнутом взваливали на спину помощника палача или привязывали к «кобыле» либо к столбу посередине площади. Англичанин Джон Говард, который в 1781 году видел в России казнь кнутом мужчины и женщины, вспоминал: «Женщина была взята первой. Ее грубо обнажили по пояс, привязали веревками ее руки и ноги к столбу, специально сделанному для этой цели, у столба стоял человек, держа веревки натянутыми. Палачу помогал слуга, и оба они были дюжими молодцами. Слуга сначала наметил свое место и ударил женщину пять раз по спине... Женщина получила 25 ударов, а мужчина 60. Я протеснился через гусар и считал числа, по мере того, как они отмечались мелом на доске. Оба были еле живы, в особенности мужчина, у которого, впрочем, хватило сил принять небольшое даяние с некоторыми знаками благодарности. Затем они были увезены обратно в тюрьму в небольшой телеге».



*Наказание женщины кнутом*

Как выглядела «кобыла», известно по описаниям середины XVIII – начала XIX века. Она представляла собой «толстую деревянную доску, с вырезами для головы, с боков для рук, а внизу для ног». Доска «поднималась и опускалась на особом шарнире так, что наказуемый преступник находился под удобным для палача углом наклона. Палачи клали преступника на кобылу, прикрепляли его к ней сыромятными ремнями за плечи и ноги и, пропустив ремни под кобылу чрез кольцо, привязывали ими руки, так что спина после этой перевязки выгибалась».



Издатель записок пастора Зейдера в 1802 году пояснял читателю, что в России «на месте казни стоит вкось вделанная в раму толстая доска, называемая плахой... Преступника, присужденного к такому наказанию, обнажают до бедер и привязывают к доске так, чтобы все мускулы спины были совершенно натянуты». И хотя издатель записок Зейдера и называет «машину» плахой, думаю, что это была именно «кобыла». До «кобылы» кнотование проходило на «козле». Как выглядело это орудие, неизвестно, и сказать точно, когда «кобыла» вытеснила «козла», мы не можем.

В течение XVII и почти всего XVIII века использовалась и техника битья кнутом «на спине». Преступника раздевали до пояса и клали на спину помощника палача, который держал его за руки. Ноги же связывали веревкой, которую крепко держал другой человек, чтобы преступник не мог двигаться. За осужденным в трех шагах стоял палач и бил его длинным и толстым кнутом. Была и третья разновидность казни кнутом – «в проводку», то есть на ходу, когда преступника, водя по оживленным торговым местам, били кнутом. Разные виды битья могли сочетаться. В этом случае в приговоре отмечалось: «Бить кнутом на козле и в проводку».

Кнотование сопровождалось своими ритуалами и обычаями. Обратимся к описанию историка XIX века Г. И. Студенкина: «Приготовив преступника к наказанию, палачи брали плети, лежавшие дотеле в углу эшафота, накрытые рогожею, становились в ногах осужденного, клали конец плети на эшафот и, перешагнув через этот конец правой ногой (вероятно, чтобы не зацепить себя. – Е. А.), ждали начать наказание от исполнителя

приговора. Начиная сперва стоявший с левой стороны палач: медленно поднимая плеть, как бы какую тяжесть, он с криком "Берегись, ожгу!" наносил удар, за ним начинал свое дело другой. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядочном промежутке один подле другого». После экзекуции следовало благодарить палача, что не изувечил сильнее, чем мог.

«Кнутование» было одним из самых жестоких наказаний, часто вело к мучительной смерти и почти всегда означало для наказанного увечья и инвалидность. Общее впечатление современников от кнутования было страшным. Олеарий пишет, что спины наказанных при нем людей «не сохранили целой кожи даже на палец шириною, они были похожи на животных, с которых содрали кожу». Через полтора века с ним согласится князь М. М. Щербатов, «природный русак» и совсем несентиментальный человек. В своих «Размышлениях о смертной казни» ученый писал, что приговоренные к сечению кнутом фактически обрекаются на смерть. Им дают по триста и более ударов и «все такое число, чтобы несчастный почти естественным образом снести без смерти сего наказания не мог. Таковых осужденных однако не считают, чтобы они были на смерть осуждены, возят виновных с некими обрядами по разным частям города и повсюду им сии мучительные наказания возобновляют. Некоторые из сих в жесточайшем страдании, нежели усечение головы или виселица или самое пятерение (т. е. четвертование. – Е. А.), умирают». Однако отменить наказание кнутом при Щербатове не удалось, и люди видели эти страшные экзекуции еще долгие десятилетия.

В первой четверти XIX века за отмену кнута боролся адмирал Мордвинов, который писал, что «менее

лютейшим нашел бы он (зритель. – Е. А.) наказание, когда бы видел острый нож в руках палача, которым бы он разрезывал тело человеческое на полосы, вместо того, что он просекает полосы ударами терзающего кнута». Мордвинов считал кнут не орудием «исправительного наказания», а орудием пытки: «Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мещет по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека; мучение лютейшее всех других известных, ибо все другия, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20 ударов кнутом потребен целый час и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невиннаго, продолжается от восходящаго до заходящаго солнца».

Формально кнутом не убивали. В истории казней в России известен только один случай казни до смерти с помощью кнута. Это произошло 27 октября 1800 года в Черкасске (Старочеркасске), где был публично заперот насмерть полковник гвардии Евграф Грузинов за «непристойные слова» об императоре. Несчастного били по очереди четыре палача, и казнь, начавшаяся «при восхождении солнца продолжалась до двух часов пополудни» – до тех пор, пока обессиленный палач не бросил кнут и не отошел в сторону. «Поэтому решили умертвить Грузинова другим способом: приказали дать ему напиток холодной воды, от чего он тотчас и скончался».

Смертный исход после наказания кнутом был очень частым. Уильям Кокс, педантично изучавший проблему наказания кнутом в России, писал, что «причиной смерти бывает не столько количество ударов, получаемых

преступником, сколько тот способ, каким они наносятся, ибо палач может убить его тремя или четырьмя ударами по ребрам». Англичанин считал, что наказание кнутом было лишь одним из видов смертной казни, причем весьма мучительной. Он писал, что приговоренные «сохраняют некоторую надежду на жизнь, однако им фактически приходится лишь в течение более длительного времени переживать ужас смерти и горько ожидать того исхода, который разум стремится пережить в одно мгновение... едва ли сможем назвать приговор, вынесенный этим несчастным людям, иначе, чем медленной смертной казнью». Даже если кнотование не убивало, то калечило человека, делало его инвалидом.

Жизнь человека, приговоренного к наказанию кнутом, зависела в немалой степени и от продажности экзекуторов. Как вспоминал пастор Зейдер, его мрачные мысли были прерваны палачом, который потребовал денег. «В кармане у меня было всего несколько медных денег, но в бумажнике было еще 5 рублей. Доставать их было неудобно, это могло обратить внимание, поэтому я снял часы и, отдавая их, сказал, как только мог яснее по-русски: "Не бей крепко, бей так, чтобы я остался жив!" – "Гм! Гм!" – пробурчал он мне в ответ».

О взятках накануне казни нам известно из разных источников. Смысл взятки состоял в том, чтобы опытный, профессиональный палач замахивался сильно, а бил слабо и не вкладывал в удар всю силу. Проверить или проконтролировать силу удара было очень трудно. Как писал современник, «одного удара достаточно для того, чтобы разрезать кожу так глубоко, что кровь заструится. С другой же стороны подкупленный палач... окровавит спину преступника и следующими ударами размазывает только текущую кровь...» М. И. Семевский писал, что во

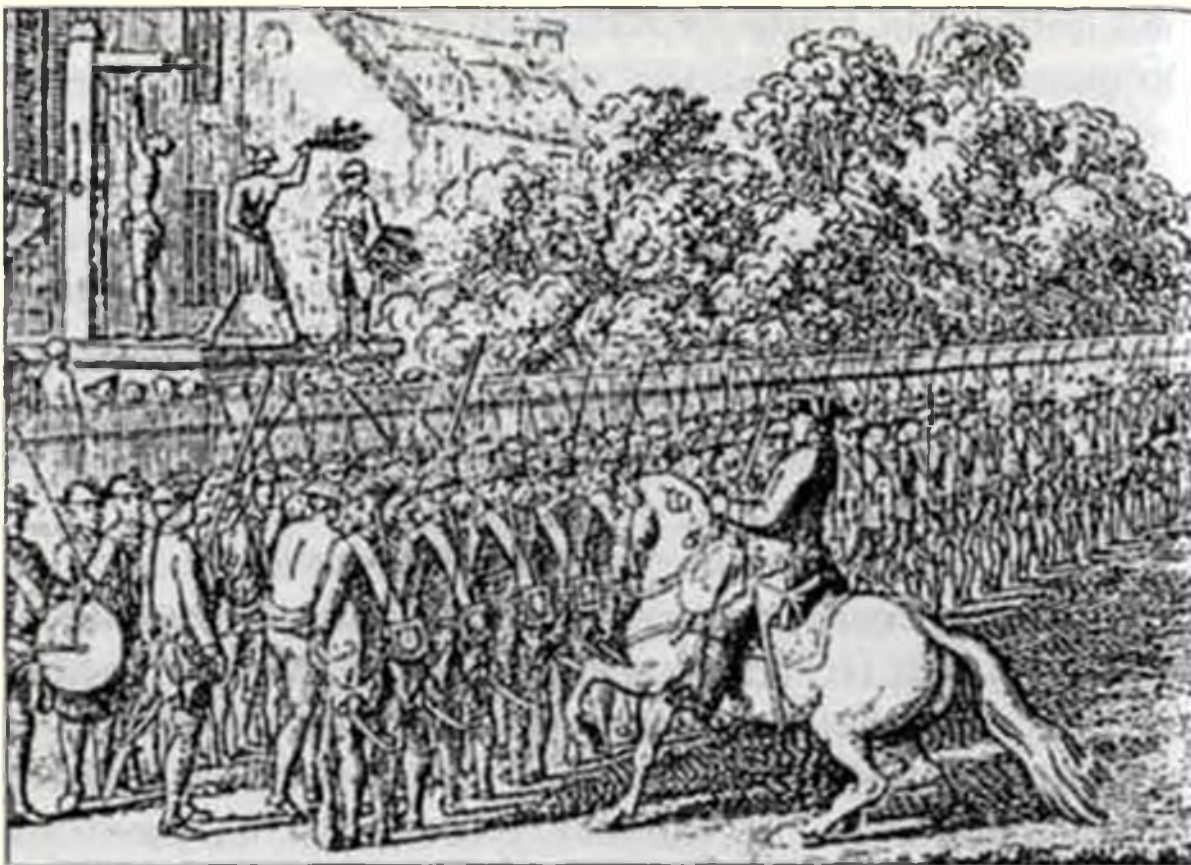
время казни в 1743 году знатной дамы Натальи Лопухиной в тот момент, когда палач сдирал с нее платье, она сумела сунуть ему в руку золотой с бриллиантами крест. Поэтому палач бил женщину легко, не так, как рядовых преступниц.

Эта дикая казнь оставалась в арсенале власти очень долго. Правда, с годами ее стали «стесняться». Секретный циркуляр министерства внутренних дел времен Николая I гласил: «В июле месяце 1832 года сын французского маршала князя Екмюльскаго, быв в Москве, купил тайным образом, чрез агента своего, у заплечного мастера два кнута, коими наказываются преступники. По всеподданнейшему докладу о сем государю императору, Его величество высочайше повелеть соизволил: "Впредь ни кнутов, ни заплечного мастера никому не показывать"».

«Гнать сквозь строй», «Наказать спиц-рутенами» (шпицрутенами) – экзекуция под таким названием появилась при Петре I как воинское наказание. Из всех телесных наказаний в армии шпицрутенны были самым распространенным и воспринимались как дисциплинарное наказание, не лишавшее военного и дворянина чести. Однако с самого начала «прогуляться по зеленой улице» заставляли не только провинившихся солдат, но и гражданских преступников.

Наказание шпицрутенами в XVIII веке ничем не отличалось от экзекуций, описанных в мемуарной и художественной литературе XIX века. Солдатам раздавали розги, полк (или батальон) выстраивался на плацу «коридорным кругом»: две шеренги солдат стояли напротив друг друга по периметру всего плаца.

Обнаженного по пояс преступника привязывали к двум скрещенным ружьям, причем штыки с ружей не снимали, так что они упирались несчастному в живот и не позволяли ему идти быстрее. Не мог наказанный и замедлить шаги, унтер-офицеры тянули его за приклады ружей вперед. Каждый солдат делал шаг вперед из шеренги и наносил удар. За силой удара внимательно следили унтера и офицеры, не допуская, чтобы солдат-палач пожалел своего товарища. Если наказанный терял сознание, то его волокли по земле или клали на розвальни и везли до тех пор, пока он не получал положенного числа ударов или не умирал на пути по «зеленой улице». Соучастников и свидетелей его проступка в воспитательных целях вели следом так, чтобы они видели всю процедуру в подробностях и могли рассказать об этом другим.



*Наказание шпицрутенами*

Розга (рутен) представляла собой тонкую, гладкую ветку – «лозовый прут» длиной в 1,25 аршина (чуть меньше метра), очищенную от листьев и мелких веточек. Розги использовались достаточно тяжелые, но гибкие, не сырые, но и не сухие, а слегка подвялые. Менять их полагалось после десяти ударов. Сведениями о том, что розги предварительно вымачивали в соленой воде, мы не располагаем. Закон не устанавливал никакой нормы наказания шпицрутенами. Артикул воинский 1715 года предписывал за минимальное преступление – кражу на сумму не более 20 рублей – гонять «сквозь полк», то есть через тысячу человек шесть раз, при повторной краже – двенадцать раз. Случалось, что преступников гоняли по три, пять, двенадцать раз через батальон.

Люди переносили шпицрутены по-разному. Одни умирали, не выдержав и минимума наказаний – трех проводок через батальон. Другие же выживали и поправлялись и после куда более жестоких наказаний, которые, в сущности, приравнялись к смертному приговору.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1740-х годах камер-юнгю Ивана Петрова прогнали «через полк сорок два раза», то есть он выдержал 42 тысячи ударов, причем он чувствовал себя на «зеленой улице» привычно: до этого приговора его гоняли через батальон 61 раз и много раз бивали кошками.

Пугачевский атаман Федор Минеев умер после проводки через 12 тысяч шпицрутен, а солдат Кузьма Марев «за многие его продерзости гонен был в разные времена спиц-рутен девяносто семь раз (т. е. в общей сложности. – Е. А.), да бит батогами». Если бы числительные в цитируемом документе не были написаны словами, то можно было бы признать здесь описку, ведь снести эти минимум 48 тысяч ударов (даже если иметь в виду, что Марева гнали не через полк, а через батальон – 500 прутьев) человек не может, и тем не менее несгибаемый Марев это выдержал и потом за брань в адрес императрицы Елизаветы был снова наказан и сослан в Оренбург.

Моряков пороли линьками – кусками веревки с узелком на конце или морскими кошками – многохвостными плетками. Кроме того, их еще килевали – наказанного протаскивали на веревке под килем



корабля, что продолжалось несколько минут и угрожало жизни истязуемого. Для церковников (чтобы их не расстригать) использовали шелепы – толстый веревочный кнут.



*Битье батогами*

Наказание шелепами не считалось позорящим, не требовало расстрижения и являлось дисциплинарным наказанием духовных персон, так называемым «усмирением». Получается, что моряки и монахи имели свои особые орудия наказания.

Батоги (палки) считали легким наказанием, что отразилось в приговорах: «Бить батоги в кнута место» и в пословице: «Батоги – дерево Божье, терпеть можно». Как проводилась эта экзекуция, описывает в 1687 году Шлейссингер: «Батоги даются таким образом: если кто-либо украдет нечто мелкое или совершит другой незначительный проступок, то его кладут на землю, после чего один слуга садится ему на шею, а другой – на ноги. И каково преступление, таково и количество ударов провинившемуся. Его бьют малыми прутьями по спине, затем переворачивают и бьют таким же образом по животу в соответствии с тем, что он заслужил. И иногда бьют так долго, что он умирает».

Ту же технику битья батогами описывает и полстолетия спустя Берхгольц, наблюдавший ее в Петербурге в 1722 году. Он уточняет, что преступника бьют по голой спине, что палки толщиной в палец и длиною в локоть и что еще двое ассистентов держат его в растяжку за руки. Позже битье батогами упростили – наказываемого стали привязывать к «кобыле». Другое наказание батогами предназначалось для должников и недоимщиков. В этом случае батогами били по голым ногам – по икрам или пяткам.

Членовредительство означало отсечение конечностей или иных частей тела, что непосредственно не вело к смерти. Отсекали руки (до локтей), ноги (по колену), пальцы рук и ног. За более легкие преступления (или в милость) отрубали менее важные для владения руками пальцы, в других случаях отсекали все пальцы. Самым легким считалось отсечение одного пальца на левой руке, самым тяжелым – отсечение правой руки и

обеих ног. Впрочем, правы те историки, которые пишут, что руки, ноги, пальцы, уши секли как придется, как вздумается исполнителям. С началом петровских реформ власти поняли, что преступники – бесплатная рабочая сила, и поэтому отсечение членов (в том числе пальцев), не позволявшее работать, фактически прекратилось.

«Урезание (урывание) языка» впервые упоминается в 1545 году, в последний раз – в 1743-м. Урезание делалось с помощью заостренных щипцов и ножа. Как именно это делали, точно неизвестно. М. И. Семевский описывает эту операцию, проведенную над Лопухиной, бывшей статс-дамой императрицы Елизаветы: «Сдавлив ей горло, палач принудил несчастную высунуть язык: схватив его конец пальцами, он урезал его почти на половину. Тогда захлебывающуюся кровью Лопухину свели с эшафота. Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутики ради: "Не нужен ли кому язык? Дешево продам!"»

Приговоры обычно не уточняли, как глубоко нужно вырезать язык. В них часто говорилось обобщенно: бить кнутом и сослать, предварительно «урезав» или «отрезав» язык. Наблюдать за действиями палача при экзекуции было трудно, поэтому можно было дать палачу взятку, и тогда он отсекал у приговоренного только кончик языка. Полное удаление языка делало жизнь изуродованного человека очень трудной – говорить ему было уже нечем, и к тому же лишенный языка во сне постоянно захлебывался слюной и с трудом глотал еду.

«Рвать ноздри и резать уши» – так обычно писали об экзекуции, уродующей человека, метящей его как

преступника. С ней не все ясно. В источниках постоянно встречаются пять глаголов, обозначающих эту экзекуцию: «пороти», «рвать», «вынимать» («ноздри выняты»), «вырезать» и «резать». В допетровскую эпоху эта операция в основном называлась «Пороти ноздри и носы резати». Это означало нанесение рваных ран при удалении специальными щипцами крыльев носа. Позже эту операцию стали называть «рвание (вырывание) ноздрей». Отсюда выражение, применявшееся к каторжникам: «рваные ноздри». Ноздри удаляли с помощью специальных клещей, которые очевидцам напоминали щипцы для завивки буклей парика. Неясно, раскаляли их перед операцией или нет. Казнимого ставили перед палачом на колени или сажали на плаху.



*Отрезание носа*

Клеймили преступников, подлежащих ссылке на каторгу. Это делалось для того, чтобы они «от прочих добрых и не подозрительных людей отличны были». В

указе 1765 года об этом говорится: «Ставить на лбу и щеках литеры, чтобы они (преступники. – Е. А.) сразу были заметны». Клейменный позорным тавром человек становился изгоем. Если вдруг приговор признавался ошибочным, то приходилось издавать особый указ о помиловании, иначе «запятнанного» человека власти хватили повсюду, где бы он ни появлялся.

Какими буквами клеймили и как происходило само клеймение? В XVII веке преступников пятнали двумя способами: разбойников буквами «Р», «З», «Б», а татей – на правой щеке «твердо», на лбу «аз», на левой щеке «твердо», то есть «Т», «А», «Т». Были и другие варианты. Сосланных в 1698 году в Сибирь стрельцов клеймили в щеку одной буквой – думаю, что либо буквой «Б» («бунтовщик»), либо буквой «В» («вор»).



*Инструменты для клеймения и клейма «ВОР» и «КАТ»*

В XVIII веке чаще всего на щеках и лбу преступника ставили слева направо четыре литеры «В», «О», «Р» и

«Ъ», после 1753 года – только три первые буквы. Во второй половине XVIII века стали стремиться обозначить («написать») на лице человека его преступление. Убийце ставили на лице литеру «У». Самозванца Кремнева по указу Екатерины II в 1766 году клеймили в лоб литерами: «Б» и «С» («беглец» и «самозванец»), а его сообщника попа Евдокимова – литерами «Л» и «С» («ложный свидетель»). Пугачевцев в 1774 году клеймили буквами «З» – «злодей», «Б» – «бунтовщик» и «И» – «изменник». С 1846 года слово «ВОР» заменили словом «КАТ» для каторжных, литерами «С» и «Б» для ссыльно-беглых и «С», «К» для ссыльнокаторжных. Наносили литеры и на руки преступника. С 1712 года рекрутам выкалывали крест на руке, а потом ранки натирали порохом. В народе эти наколки называли «клеймом Антихриста».

Техника клеймения состояла в том, что специальным прибором с иглами наносили небольшие ранки, которые затем натирали порохом. В указе 1705 года предписывалось натирать ранки порохом «многожды накрепко», чтобы преступники «тех пятен ничем не вытравливали». Сохранилось описание прибора для нанесения клейм и инструкция к его использованию. Прибор состоял из медных сменных дощечек с вызолоченными стальными иглами в форме букв «К», «А», «Т», а также коробки, из которой дощечку резко выбрасывала тугая пружина. Прибор срабатывал тогда, когда коробку прикладывали ко лбу или щекам преступника и нажимали на спусковой крючок. С помощью специальной кисточки образовавшиеся ранки заполняли смесью туши и индиго. Рану завязывали и запрещали прикасаться к ней сутки.

Колодники умели выводить позорные клейма, они не давали заживать «правильным» ранкам и

растравливали их. В результате четкие очертания букв терялись. Не случайно указ о наказании закоренелых преступников в 1705 году предписывал: «Пятнать новым пятном». Но в тюрьме и на каторге всегда находилось много разных «умельцев», которые лечили каторжников, так что через несколько лет клейма и даже рваные ноздри становились почти незаметны. Сохранилось тобольское предание о трансплантации – заращивании вырванных ноздрей. «Я слышал в детстве от стариков, – пишет сибирский старожил Н. Абрамов, – что будто пониже плеча правой руки его был вырезан кусочек мяса, приложен к ноздрям, и посредством разгноения, зарощены вырванные части».

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Об успехах «тюремной медицины» свидетельствовал указ Петра I 1724 года «переклеймить» и заново рвать ноздри у каторжников из-за того, что преступники заживляли раны. В 1765 году Сенат вновь предписывал: «Посылающимся в каторжные работы навеки вырезать ноздри до кости и ставить на лбу литеры, чтоб они сразу были заметны, а не таким образом, как ныне у пойманных в Белевском уезде разбойников, на которых вырезание ноздрей почти незаметно, а литер и вовсе не видно».



*Клейменный преступник*

Уже в начале XIX века просвещенные чиновники понимали дикость вырезания ноздрей и клеймения людей. Особенно живо обсуждалась эта проблема в начале царствования Александра I, когда стало известно дело о двух крестьянах, которых приговорили за убийство к вырезанию ноздрей, клеймению и ссылке в Нерчинск, но вскоре выяснилось, что они оба не виновны. Им выдали вольную и постановили: «К поправлению варварского вырезания ноздрей и штемпелевания по лицам, следует снабдить их видом, свидетельствующим невинность». Однако клеймение и рвание ноздрей отменили только по указу 17 апреля 1863 года.

Символические казни покойников были издавна приняты в России. Этим власть демонстрировала, что у



нее такие длинные руки, что преступнику не будет покоя и после того, как жизнь покинет его тело.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

При Петре I экзекуцию над Соковниным и Цыклером в 1697 году сочетали со страшным церемониалом посмертной казни боярина И. М. Милославского, умершего за 12 лет до казни заговорщиков. Боярина обвиняли, что он-то и был при жизни духовным наставником заговорщиков. Труп Милославского извлекли из фамильной усыпальницы, доставили в Преображенское к месту казни в санях, запряженных свиньями. Гроб открыли и поставили возле плахи, на которой рубили головы преступникам: «Как головы им секли, и руда (кровь. – Е. А.) точила в гроб на него, Ивана Милославского». Затем труп Милославского разрубили и части его зарыли во всех застенках под дыбами.

Самоубийство рассматривалось не только как греховное деяние против Бога, давшего человеку жизнь, но и как вид дезертирства, пренебрежения волей самодержца. Жизнь и смерть государева холопа любого уровня – от дворового до первого боярина – была в руках государя, и только он мог распоряжаться ими. О старообрядцах, которые добровольно сгорали в «гарях», в указах писали: «-Самовольством своим сожглись». Военнослужащего, пойманного при попытке самоубийства, вылечивали, а потом вешали как преступника. Закон этот распространялся не только на военных. В 1767 году архангельский мастеровой Быков удавился в собственном доме, и его «мертвое тело тащено было... по улицам в страх другим».

Приговоренный к смерти преступник, «улизнувший» на тот свет, все равно подвергался экзекуции. В 1725 году об умершем до приговора преступнике Якове Непеине сказано: «Мертвое тело колодника... за кронверхом на указном месте, где чинят экзекуции, повесить», что и было сделано.

Казнили (в основном на огне) не только трупы, но и различные предметы, связанные с преступлением. Чаще всего это были подметные письма, «воровские», «волшебные» тетради, а также книги, признанные «богопротивными» или наносящими ущерб чести государя.

В 1708 году казнили куклу, изображавшую гетмана Ивана Мазепу. В экзекуции участвовали канцлер Г. И. Головкин и А. Д. Меншиков, которые содрали с истукана Андреевскую ленту, а палач вздернул его на виселице.

Осенью 1775 года в Казани была устроена казнь портрета Емельяна Пугачева. Перед толпой сначала зачитали указ Секретной комиссии: «Взирайте, верные рабы великой нашей государыни и сыны Отечества!.. Здесь видите вы изображение варварского лица самозванца и злодея Емельяна Пугачева. Сие изображение самого того злодея, которому злые сердца преклонились и обольщали простодушных... Секретная комиссия по силе и власти, вверенной от Ея и. в., определила: сию мерзкую харю во изобличение зла, под виселицей, сжечь на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царственном граде Москве, где уже он содержится». Выведенная перед толпой вторая жена Пугачева Устинья публично объявила, что она жена Пугачева и сжигаемая «харя есть точное изображение изверга и самозванца ее мужа».

С умерщвлением преступника казнь не заканчивалась. Только в XIX веке тела казненных сразу стали класть в гроб и увозить для погребения. В XVII-XVIII веках было принято выставлять трупы или отдельные части тела казненного в течение какого-то времени после казни. Все эти посмертные позорящие наказания преследовали цель предупредить преступление: «И в страх иным с виселиц их не сымать» (из указа 1698 г.). В одних случаях речь шла о часах, в других – о днях, в третьих – о месяцах и годах.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Датчанин Юст Юль видел в мае 1711 года в Глухове головы казненных осенью 1708 года сообщников Мазепы.

Сибирский губернатор князь М. П. Гагарин был казнен на Троицкой площади Петербурга в марте 1721 года, а в ноябре того же года Петр I приказал опутать труп, который уже разлагался, цепями и так повесить снова. Он должен был устрашать всех как можно дольше.

Саратовский воевода М. Беляев в конце января 1775 года докладывал, что казненные осенью 1774 года сообщники Пугачева были «во многих местах... повешены на виселицах, а протчие положены на колесы, головы ж, руки и ноги их воткнуты на колья, кои и стоят почти чрез всю зиму и, по состоянию морозов, ко опасности народной от их тел ничего доныне не состояло». В связи с начавшимся потеплением воевода просил

начальство разрешить захоронить тела, чтобы в городе не было «вредного духа».

Известны многочисленные случаи, когда после казни власти стремились возможно дольше сохранить тело или его части (особенно голову) на страх населению. Туловище Степана Разина было отдано на растерзание уличным псам, а отрубленные члены «злодея» виднелись на кольях еще несколько лет. Страшные впечатления ожидали путешественника, въезжавшего в Москву осенью 1698 года. Окруженные вороньем трупы сотен (!) казненных стрельцов раскачивались на виселицах и лежали на колесах по всем большим дорогам, на городских площадях и крепостных стенах Белого и Земляного города. Очевидец пишет, что на земле оставались трупы казненных топором. «Их приказано было оставить в том положении, в котором они находились, когда им рубили головы, и головы эти рядами лежали подле них на земле» всю зиму.

О теле казненного в 1764 году Василия Мировича в приговоре говорилось: «Отсечь голову и, оставя тело на позорище народу до вечера, сжечь оное потом, купно с эшафотом». Так же поступили с телом Пугачева. При этом части тела Пугачева и его сообщников, казненных в 1775 году на Болоте, развезли по всей Москве и выставили на колесах в наиболее оживленных местах. Вскоре их сожгли вместе с эшафотом, колесницей и прочим. Весь этот акт имел не только ритуально-символический смысл очищения земли от скверны, но и вполне прагматическую цель – лишить сторонников казненного возможности похоронить тело.

Каменный столб с водруженными на нем головой и частями тела преступников был символом казни после

казни. Первым из них был столб на Красной площади в 1697 году, построенный для останков Соковнина и Цыклера. На вершине каменного столба торчали головы казненных, а по сторонам на спицах виднелись отрубленные части тел преступников. После казни в 1718 году сторонников царевича Алексея в Москве на площади была устроена целая «композиция» из трупов казненных. На верхушке широкого каменного столба «находился четырехугольный камень в локоть вышиною», на нем положены были трупы казненных, между которыми виднелся труп Глебова. По граням столба торчали шпичи с головами казненных. В таком положении трупы оставались надолго: «И сидит на том шпиче преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится, як вяла рыба, так что, когда ветер повеет, то он крутится кругом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю».

В ритуале казни после казни особое место занимала голова преступника. Ее показывали толпе после отсечения, втыкали на заостренный кол или столб с металлическим стержнем наверху и стремились сохранить как можно дольше, даже если тело при этом сжигали. Порой отрубленную в столицах голову казненного посылали на родину преступника или в места, где он совершал злодеяния.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Обезглавленное тело Варлама Левина после казни 26 июля 1722 года в Москве было сожжено, но голову его отправили в Пензу – по адресу совершенного им преступления. В день казни Левина генерал А. И. Ушаков писал доктору Блюментросту: «Извольте сочинить спирт в

удобном сосуде, в котором бы можно ту голову Левина довести до означенного города (до Пензы), чтоб она дорогою за дальностию пути не избилась». Доставленная в Пензу голова была водружена именно там, где преступник кричал «непристойные слова» – на городском базаре.

До тех пор, пока части тела преступника торчали на колах или лежали на колесах, их родственникам не было покоя. Берхгольц сообщает, что в апреле 1724 года вдова Авраама Лопухина просила Петра I о том, «чтоб голову ее мужа, взоткнутую в Петербурге, позволено было снять». Значит, голова Лопухина провисела на колу более пяти лет после казни. При этом известно, что сами тела (туловища) Лопухина и других казненных 8 декабря 1718 года по делу царевича Алексея были сняты с колес и выданы родственникам в праздник Пасхи 29 марта 1719 года.



*Колеса с телами казненных*

10 июля 1727 года указом Петра II предписано, «чтоб на столбах головы здесь и в Москве снять и столбы разрушить, понеже рассуждается, что не надлежит быть в резиденции в городе таким столбам, но вне города». Из этого указа следует, что столбы убирали только из центра столиц. Скорее всего, предписание это объясняется тем, что на столбах еще висели головы казненных в 1718 году сторонников царевича Алексея – отца издавшего указ императора. Столбы же и колья с головами продолжали торчать по всей стране и во времена подавления восстания Пугачева и, возможно,

позже. Когда они исчезли с площадей русских городов, сказать трудно – особого указа об этом не известно.

На местах казней – у эшафотов, виселиц, позорных столбов, в местах сожжения и развеивания по ветру останков преступника – вывешивали указы, написанные на нескольких железных листах. Указ разъяснял суть преступления казненных. Возле такого столба всегда стояла охрана, которая препятствовала родственникам и сочувствующим снять и захоронить останки.

Позже «листы» стали заменять публичным чтением манифестов о казни преступника, которые начинались словами: «Объявляем во всенародное известие». Манифесты печатали в сенатской типографии и рассылали по губерниям и уездам. Там их читали в людных местах и по церквям. Были и публикации в газете. Так, через два дня после казни Василия Мировича 17 сентября 1764 года в № 75 «Санкт-Петербургских ведомостей» был опубликован отчет о происшедшем на Обжорке. Впрочем, одновременно ставили, как и раньше, «листы» на месте казни.



# НАРОД У ЭШАФОТА

Публичная казнь – один из традиционных элементов жизни человеческого общества – уходит своими корнями в глубокую древность, но сохраняется и сегодня в некоторых странах мира. Казнь на площади в присутствии тысяч людей – явление обычное для России XVII– XVIII веков. «Педагогическое» значение казни считалось одной из главных причин устройства этой кровавой экзекуции. С точки зрения государства, публичность казни была важным средством воспитания подданных в духе послушания. Зрелище казни, мучений преступника служило грозным предупреждением всем настоящим и будущим нарушителям законов. Ссылка на «примерность» наказания весьма часто встречается в приговорах преступникам и вообще в законах: «В страх других», «Прочим в страх», «Дабы впредь, на то смотря, другим никому делать было неповадно» и т. д.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1732 году руководитель Московской конторы Тайной канцелярии запрашивал Петербург о том, как наказывать преступников, приговоренных к битью кнутом: «Перед окнами на улице чинить или ж так, как ныне чинитца, внутрь двора?» Тайная канцелярия распорядилась: «Велеть виновным колодникам наказанье чинить перед канцеляриею публично, а не внутрь двора, дабы, на то смотря, другие продерзостей чинить не дерзали».

Что публичные казни воспитывают, считали почти все люди XVIII века. Когда помещик и автор мемуаров Андрей Болотов поймал и с помощью пытки уличил

деревенских воров, то устроил им показательную казнь, причем порка сочеталась с позорящими наказаниями: «Желая всему селу показать, как наказываются воры, велел их, раздев донага, вымазать всех дегтем и водить с процессиею по всем улицам села, и всем жителям, выгнанным из изб для смотрения перед вороты, кричать, чтоб смотрели они, как наказываются воры, и что со всеми другими поступлено будет так же, кто изобличится хотя в малейшем воровстве. Маленьких же ребятишек велено всех согнать к мосту и в то время, когда поведут воров через оный, велел заставлять кричать: "Воры! Воры!" и кидать в них грязью, а потом, собрав всех крестьян, торжественно им сказал...», и далее следует речь помещика, обещавшего всему селу еще большие неприятности в случае повторения преступлений. В итоге, пишет Болотов, результат оказался волшебный: «Все крестьяне... ровно как переродились, и помянутое образцовое наказание отстрашало их от всех прежних шалостей», и всюду стало «смирно и безопасно».

Чтобы чиновники боялись воровать, перед приказными палатами провинциальных городов, на площади у приказов в Кремле, перед канцеляриями на Троицкой площади и коллегиями на Васильевском острове в Петербурге регулярно пороли канцеляристов. Неслучайно тело казненного в 1721 году губернатора-вора князя Матвея Гагарина несколько месяцев висело именно перед зданием коллегий, чтобы каждый чиновник, взглянув в окно, видел, что его ожидает, если он будет вести себя подобным образом.

После подавления восстания Пугачева в Оренбургской губернии, в десятках сел и деревень, жители которых примкнули к бунтовщикам, участвовали в погромах и убийствах помещиков и священников или не

оказали пугачевцам должного сопротивления, были поставлены «глаголи» – виселицы в виде столба с перекладиной (буквой «Г»). На них не было висельников, но сделано это было «в страх, на будущее время». Для воспитания в народе уважения к закону власти устраивали массовые публичные порки.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1752 году на Полотняном заводе А. А. Гончарова пороли в один день 270 взбунтовавшихся против хозяина работных людей: 91 человека из них били кнутахми, а 179 человек – плетьюми и кошками. Делать это предписывалось «при публикации с барабанным боем, в собрании народа». Такой же экзекуции подверглись не только 215 крестьян из владения Н. Н. Демидова, но и женщины – жены и сестры демидовских мужиков. Происходили эти массовые избиения в людных местах – на торговой площади Калуги, «при большой Московской дороге», на помещицьем дворе.

В разгар восстания Емельяна Пугачева в 1774 году, когда власти опасались, что он может двинуться на Москву, в древней столице был публично казнен один из «воевод» Пугачева – Белобородое. Казнь эта была совершена специально «в страх бездельникам», причем императрица Екатерина II, несмотря на свою гуманность, не возражала против показательной казни Белобородова. Главнокомандующий Москвы князь М. Н. Волконский 6 сентября 1774 года рапортовал государыне: «Вчерашнего числа вору Белобородову, из Казани присланному, учинена

смертная казнь отсечением головы при многих тысячах зрителей, не только городских жителей, но и поселян, ибо я приновил сию экзекуцию в торговый день, то многое число крестьян, на торг приехавших, в числе зрителей были. И так повсюду слух скоро разнесется, и я надеюсь, всемилостивейшая государыня, что сей страх хороший в черни эффект сделает. Впрочем, здесь все тихо и спокойно, и болтанья гораздо меньше стало».

О предстоящей казни власти оповещали заранее. По улицам с барабанами ходили глашатаи и зачитывали указ, священники делали это в церквях перед службой. Знатным горожанам через полицию посылали «повестку» или устно извещали их о предстоящем «позорище». Впрочем, на казнь знаменитого преступника незачем было сгонять зрителей – они сами загодя спешили на экзекуцию. Публичная казнь становилась незаурядным, запоминающимся событием в жизни людей. Они с нетерпением ждали казнь, о ней задолго говорили по всей столице. И. И. Дмитриев – свидетель казни Емельяна Пугачева – вспоминал: «В целом городе, на улицах, в домах только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей, но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтоб мы ни на шаг от него не отходили».

Казни собирали огромное число зрителей – тысячи горожан, жителей окрестных деревень съезжались на площадь задолго до экзекуции. О том, что пустырь у Москвы-реки, где казнили Степана Разина (Болото), был

переполнен, пишут современники-иностранцы. Очевидец казни 17 октября 1768 года знаменитой Салтычихи и ее сообщников сообщал в письме своему адресату: «Что ж надлежит до народу, то не можно поверить, сколько было оно: почти ни одного места не осталось на всех лавочках, на площади, крышах, где бы людей не было, а карет и других возков несказанное множество, так, что многих передавили, и карет переломали довольно».

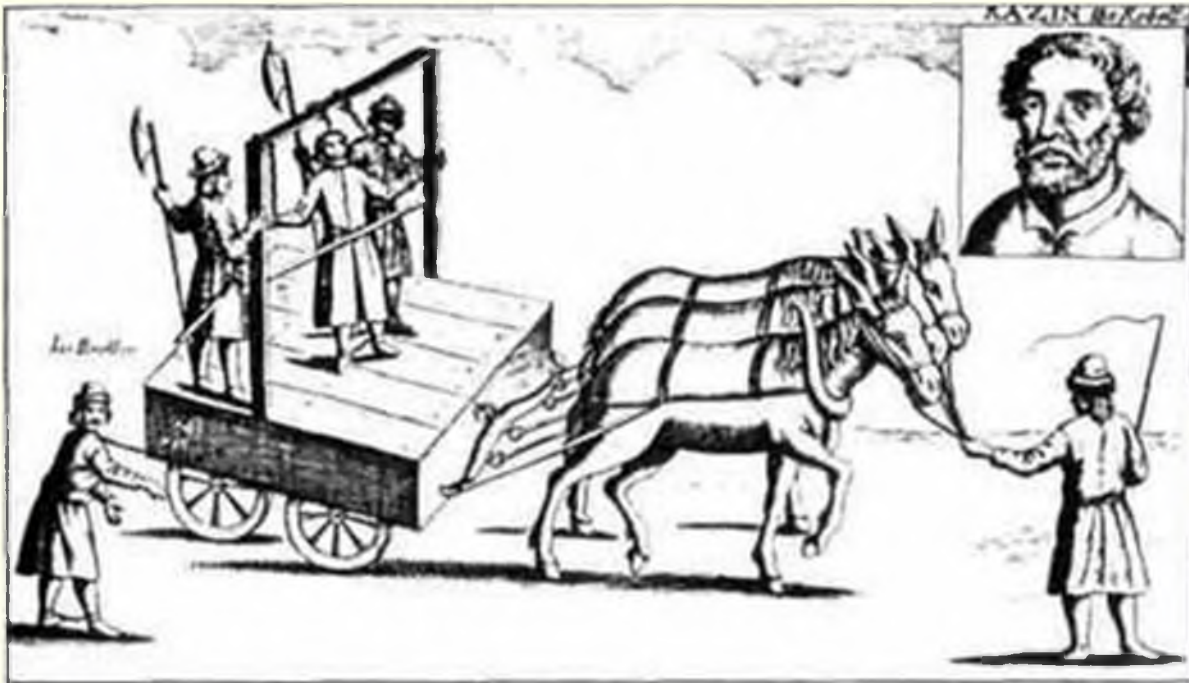
О том же пишет зритель казни Пугачева Андрей Болотов: «Мы нашли уже всю площадь на Болоте и всю дорогу на нее, от Каменного моста, установленную бесчисленным множеством народа». Другой очевидец, Дмитриев, дополняет: «Позади фронта (стоявших вокруг эшафота полков. – Е. А.) все пространство Болота... все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг все восколебалось и с шумом заговорило: "Везут! Везут!.."»

Люди устремлялись на площадь, протискивались к эшафоту совсем не потому, что стремились получить, как думала власть, «урок на будущее». Ими двигало любопытство. Так же их привлекали всякие церемонии и шествия – парады, коронации, фейерверки, запуск воздушного шара. Валом валили люди в балаганы на Масленице, заполняли пять тысяч мест (!) в оперном театре времен Елизаветы Петровны, чтобы насладиться волшебным зрелищем – в их повседневной, серой жизни развлечений было так мало.

Часами, на морозе, под дождем люди ждали выноса гроба какого-нибудь знаменитого покойника, рискуя жизнью, толпились на улицах во время бунтов, мешали

пожарным подойти к горящему дому. Во время восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года картечь артиллерии правительственных войск сбивала с крыш и заборов зевак не меньше, чем убила мятежников, стоявших на площади в каре, не говоря уж о том, что верным Николаю 1 артиллеристам было трудно протолкнуть к месту событий пушки из-за толп народа, заполнивших «партер». Так было всегда. Вспоминаются телевизионные репортажи об обстрелах «Белого дома» в Москве в октябре 1993 года, когда несметные толпы зевак на крышах высотных зданий и улицах – зрители очередной исторической драмы России – бесстрашно стояли под автоматным огнем.

Процессия с преступником, которая направлялась к эшафоту, составляла важную часть ритуала публичной казни. Вначале знаменитого «злодея» торжественно ввозили в город. До наших дней дошло описание въезда в Москву Степана Разина. «Злодей» стоял на большом движущемся помосте с виселицей, к которой он был прикован. Подобным же образом ввозили в Москву в 1696 году голландца Якоба Янсена, который перебежал под Азовом к туркам, а потом ими был выдан русским. При этом на всеобщее обозрение были выставлены орудия пыток, которыми его предстояло мучить перед казнью. Примечательно, что позорная колесница Янсена шла в общем торжественном праздничном шествии победителей турок под Азовом.



*Степана и Фрота Разиных везут на казнь*

Емельяна Пугачева везли иначе, но цель всего шествия была также подчеркнута публично. Капитан С. И. Маврин, снаряжая конвой с только что пойманным Пугачевым к дороге из Яицкого городка в Москву, писал 16 октября 1774 года, что распорядился «вести его церемониально – для показания черни» и велел сделать специальную повозку с клеткой. Шествие двигалось через Симбирск, Алатырь, Муром, Владимир и вызывало всеобщее любопытство жителей этих мест. Власть стремилась убедить возможно большие массы народа в том, что он – не император Петр III, а самозванец, простой казак. В Симбирске скованного Пугачева вывели на запруженную народом площадь, и перед именитыми гражданами города граф П. И. Панин публично допрашивал «злодея». Когда Пугачев стал дерзить своему высокопоставленному следователю, тот избил его. 1 октября 1774 года Панин писал своему брату Никите Ивановичу: «Отведал он от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода,

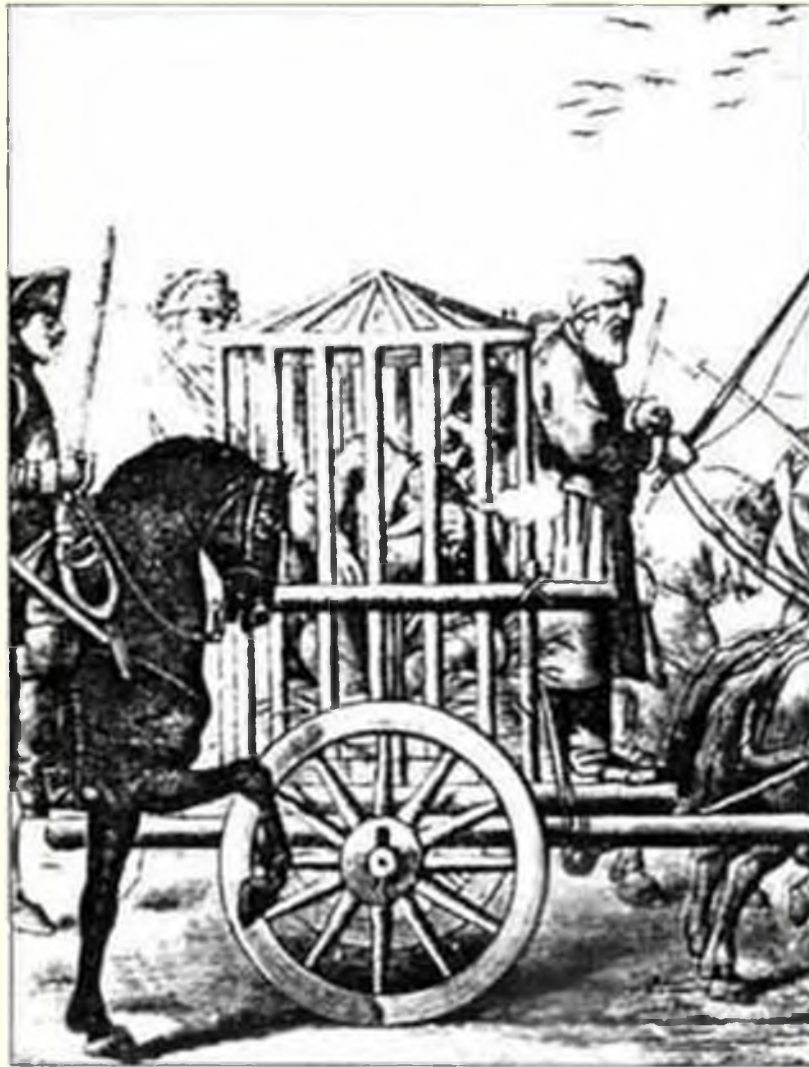
которую он Российское государство жаловал, – довольного дранья. Он принужден был пасть пред всем народом скованной на колени и велегласно на мои вопросы извещать и признаваться во всем своем злодеянии». То, что царский генерал таскал за бороду и бил по морде «анператора», должно было убедить сотни собравшихся на площади зрителей в том, что перед ними не настоящий государь, а самозванец.

Перед въездом в Москву в селе Ивановском 3 ноября была сделана остановка. Еще 5 октября 1774 года М. Н. Волконский испрашивал разрешения у Екатерины II на традиционный торжественный ввоз преступника в столицу: «Когда злодей Пугачев суды привезен будет, то, по мнению моему, кажется надо ево чрез Москву вести публично и явно, так, чтоб весь народ ево видеть мог». Однако императрица воспротивилась излишней демонстративности и парадности «вошествования» преступника и отвечала, что «к Москве прикажите его привезти... безо всякой дальней афектации и не показывая дальнего уважения к сему злодею и изменнику». Как мы видим, Екатерина была против эффектов и, наоборот, считала, что нужно снижать всеобщее внимание к личности «злодея».

Предписания императрицы были исполнены. Князь П. А. Вяземский писал в Петербург своему брату генерал-прокурору А. А. Вяземскому о предстоящем событии: «Завтрашний день привезут к нам в Москву злодея Пугачева. И я думаю, что зрителей будет великое множество, а особливо – барынь, ибо я сегодня слышал, что везде по улицам ищут окошечка, откуда бы посмотреть. Но я думаю, что никто ево не увидит, ибо он везется в кибитке, притом будут ево окружать казаки и драгуны, следственно, и видеть нельзя». Волконский 5



ноября сообщал, что «как везли злодея по городу, то зрителей было великое множество... и во все то время, как я сам был, народу в каретах и дам столь было у Воскресенских ворот много, что проехать с нуждою было можно... Однако зрители в сем обманулись, что его видеть никак невозможно».



*Емельян Пугачев в клетке  
для доставки его в Москву после ареста*

Странно, что, вопреки этим документам, крупный специалист по восстанию Пугачева Р. В. Овчинников сообщает, что утром 4 ноября Пугачева ввезли в Москву церемониально: «Он был виден всем: скованный по

рукам и ногам кандалами, сидел он внутри железной клетки, установленной на высокой повозке. На всем пути следования процессии по Москве – от Рогожской заставы до Красной площади – толпы народа запрудили улицы. Все забыли в это утро о своих обычных делах и занятиях... Простой народ, связывавший свои надежды на освобождение с именем Пугачева, молча смотрел на своего вождя в оковах». К сожалению, автор не дает ссылки на источник этих сведений. Дальше он пишет: «Дворяне, купцы, духовенство, богатые горожане ликовали при виде пленного "бунтовщика Емельки Пугачева"».

Действительно, дворянство воспринимало казнь нагнавшего на помещиков страху «Пугача» как праздник. Слово «праздник» в данном случае вполне уместно, его использовал Болотов, описывая казнь Пугачева. В день казни мемуарист, закончив все дела в Москве, отправился к себе домой, в деревню, но «не успел поравняться при выезде из Москвы с последнею заставою, как увидел меня стоявший на ней знакомый офицер г. Обухов и закричал:

– Ба! Ба! Ба! Андрей Тимофеевич, да куда же ты едешь?

– Назад в свое место, – сказал я.

– Да как это, братец, уезжаешь ты от такого праздника, к которому люди пешком ходят?

– От какого такого? – спросил я.

– Как, разве ты не знаешь, что сегодня станут казнить Пугачева, и не более, как часа чрез два. Остановись, сударь, это стоит любопытства посмотреть.

Что ты говоришь? – воскликнул я. – Но, эх какая беда! Хотелось бы мне и самому это видеть, но как я уже собрался и выехал, то ворочаться не хочется».

Знакомый уговорил Болотова, и они вместе отправились к месту казни – на Болото. Успели они как раз вовремя – преступника только что вывезли из Старого Монетного двора, что стоял у Красной площади, в направлении Болота у Москвы-реки. Медленное движение сквозь толпу необыкновенно высоких, выкрашенных в черный цвет саней с помостом, на котором сидел Пугачев со священниками, блеск оружия пеших и конных солдат, окружавших позорную колесницу, грохот барабанов – все это придавало процессии некую торжественность и театральность. Это был тот момент, который описывает со своей точки наблюдения Дмитриев: «Везут! Везут!» «И мы вскоре за сим, – сообщает бывший где-то в той же толпе Болотов с приятелем, – увидели молодца, везомого на превысокой колеснице в сопровождении многочисленного конвоя из конных войск... Повозка была устроена каким-то особым образом и совсем открытая, дабы весь народ мог сего злодея видеть. Все смотрели на него с пожирающими глазами, и тихий шопот и гул раздавался от того в народе. Но нам некогда было долго смотреть на сие шествие, производимое очень медленно, а мы, посмотрев несколько минут, спешили бежать к самому эшафоту, дабы захватить для себя удобнеее место для смотрения».

Протиснуться к самому эшафоту Болотову ни за что бы не удалось, если бы не два обстоятельства: во-первых, он шел с приятелем – полицейским офицером, которого коллеги в оцеплении хорошо знали и поэтому без разговоров пропускали через цепи солдат, и,

во-вторых, внутри обширного каре войск, стоявших вокруг эшафота, разрешали пройти только «чистой публике» – дворянам и именитым горожанам. Болотов пишет, что здесь царило оживление: «Как их набралось тут превеликое множество, то судя по тому, что Пугачев наиболее против них восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем. Нам с господином Обуховым удалось, протиснувшись сквозь толпу господ, пробраться к самому эшафоту и стать от него не более как сажени на три, и с самой той восточной стороны оною, где Пугачев должен был на эшафоте стоять. И так имели мы наивыгоднейшее и самое лучшее место для смотра».

Как мы видим, Болотов – весьма просвещенный человек, ученый, мыслитель – был счастлив, что подобрался как можно ближе к месту мучительного убийства одного человека другим. Этот отрывок его мемуаров напоминает рассказ заядлого театрала о том, как благодаря настырному приятелю он попал в директорскую ложу на бенефис знаменитой примы и с нетерпением ждал начала театрального действия.

Действительно, в публичной казни, во всем ее церемониале и ритуале, была своя театральность. Этим-то во многом и объясняется особая притягательность казни для толпы. Учтем и то, что люди XVIII века встречались со смертью чаще, чем мы, для их восприятия смерти была характерна большая простота, которую романтики XIX века будут называть «загрубелостью нравов». Нельзя не вспомнить здесь пушкинскую строчку из «Андрея Шенье»: «Заутра казнь, привычный пир народу».

Публичная казнь, да еще людей известных, была всегда грандиозным представлением, настоящим спектаклем. В нем были главный герой, сценарий, действо-ритуал, трагический апофеоз и интригующий всех (возможно, счастливый) финал. Не забудем при этом звуковое сопровождение – флейты, а главное, барабаны, задававшие всему действию ритм. Даже обычные публичные порки сопровождались барабанной дробью: «Чинить ему наказание при барабанном бое, бить морскими кошками нещадно».

Театральность казни подчеркивало и то, что действие это происходило на «сцене» – возвышенном, обозреваемом со всех сторон помосте, поначалу пустом, на котором вдруг появлялось множество людей, каждый со своей ролью. Чтение приговора секретарем заставляло толпу утихнуть, хотя довольно трудный для восприятия текст указа тысячи зрителей понять и даже услышать не могли. Они больше смотрели на вышедших на помост и застывших перед произносимым царским словом «актеров».

Люди смотрели на палача (известно, что палачи одевались в ярко-красные рубахи), но особенно жадно на «главного героя театра казни» – самого преступника. На него были устремлены все взоры зрителей, и оказывалось, что этот реальный, еще живой человек прост, невзрачен и совсем не страшен, даже ничтожен в сравнении со своей кровожадной славой. Долгие месяцы молва рисовала его неким титаном, с которым не могут справиться знаменитые генералы и их несметные войска, да и царские указы давали ему самые высшие негативные оценки: «злодей», «варвар», «тиран», «враг всего человеческого рода», «лютый зверь», «виновник

бедствия и губитель многих невинных людей». А тут зрителей постигало разочарование.

«Пугачев, – пишет Дмитриев, – с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в лице его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали, нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бородку клином».

Стоявший неподалеку от юного Дмитриева и уже повидавший жизнь Болотов смотрел на Пугачева почти теми же глазами: «Он стоял в длинном нагольном овчинном тулупе почти в онемении и сам вне себя и только что крестился и молился. Вид и образ его показался мне совсем не соответствующим таким деяниям, которые производил сей изверг... Бородка небольшая, волосы включенные и весь вид ничего незначущий и столь мало похожий на покойного императора Петра Третьего, которого случилось мне так много раз и так близко видеть, что я, смотря на него, сам себе несколько раз в мыслях говорил: "Боже мой! До какого ослепления могла дойти наша глупая и легковверная чернь и как можно было сквернавца сего почестъ Петром Третьим!"».

Что же происходило вокруг эшафота, среди моря голов людей, глазевших на казнь? Толпа, спозаранку собравшаяся возле эшафота, поддавалась массовому психозу, который неизбежно возникал во время мрачной, обставленной страшными процедурами церемонии. Об этом говорят действия и ощущения такого умного, образованного человека, как Болотов, который за два часа до казни преспокойно ехал в свою деревню, но,

сбитый с толку приятелем, устремился сквозь толпу на Болото и был так доволен, что пробрался поближе к эшафоту. Воздействие церемонии публичной казни на психику людей вообще оказывалось весьма сильным. В рапорте тихвинской полиции за 1794 год описывалась даже не казнь живого человека, а сожжение палачом бумаги-пасквиля, которое сопровождалось эмоциональными проявлениями толпы: «Одна часть оно́го [народа], быв свидетельницею столь поразительного зрелища и считая себе то за несчастье, не могла воздержаться от слез; другая, негодуя на сочинителя того пасквиля, готова была не только сама всячески его изыскивать, но и в ту же минуту наказать своими руками, если б то ей было позволено».

Н. В. Гоголь, описывая в повести «Тарас Бульба» казнь в Варшаве Остапа и его товарищей, достаточно точно нарисовал все то, о чем сказано выше на основе документов:

«Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых... не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. "Ах, какое мученье!" – кричали из них многие с истерической лихорадкой, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольно долгое время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом

знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом... Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу.

На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич... Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. "Вот это, душечка Юзыся, – говорил он, – весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, – то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, не пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы". И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством.

Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные



напитки и съестное... Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: "Ведут... Ведут!.., козаки!.."».

Театральность всему происходящему на помосте-эшафоте добавляло извечное ожидание пощады – ведь с древних времен было принято в последний момент либо объявлять помилование страшному грешнику, либо изменять наказание на менее суровое. Примечательно, что французский дипломат Далион, описывая экзекуцию над семьей Лопухиных, приговоренных императрицей Елизаветой к смерти, но помилованных на эшафоте, применяет театральный образ: «Наконец трагедия сыграна, но сцена не была окровавлена».

Почти всегда решение о смягчении участи казнимых принималось заранее, но объявление об этом оставляли на последний момент. С одной стороны, власти хотели напугать толпу предстоящей неминуемой жестокой казнью, а с другой стороны, хотели поразить народ своим бесконечным милосердием даже к отъявленным преступникам. Для казни Гурьевых и Хруцова в 1762 году Екатерина II составила своеобразный сценарий: «Приготовить преступников к им по законам принадлежащему воздаянию, а полиции оное публично совершить... А между тем весь город будет в ожидании, чего одно намалого страха произведет в народе, и никому без изъятия не должно открывать, что при самом исполнении экзекуции Корфу (директору полиции. – Е. А) в карман дан будет указ облегчительный...»



*А. И. Остерман на эшафоте*

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Вот как Н. И. Костомаров описывает казнь на Болоте 28 мая 1672 года (то есть за день до рождения Петра 1) гетмана Украины Демьяна Многогрешного и его брата: «Головы осужденных Демьяна и Василя уже положили на плахи, вдруг прибежал царский гонец... Он всенародно объявил, что «Великий государь [Алексей Михайлович], по упрощению детей своих, царевичей Феодора и Иоанна Алексеевичей пожаловал изменников и клятвопреступников Демку и Ваську, не велел казнить смертью, а указал сослать в Сибирь с их семьями».

Казнь в январе 1742 года бывшего первого министра правительства Анны Леопольдовны А. И. Остермана, который был приговорен к колесованию, была уникальна, так как закончилась двойным помилованием. Вначале секретарь зачитал приговор о казни колесованием, потом он прочел указ о том, что императрица Елизавета Петровна «всемиловитивейше» смягчает казнь и приговаривает преступника к простому отсечению головы. После этого палач содрал с Остермана колпак и парик, положил его голову на плаху, замахнулся топором, но секретарь остановил его движением руки и зачитал новый указ о замене смертной казни Остерману и другим приговоренным ссылкой в Сибирь. Услышав новый приговор, палач как бы с досады пинком сбил с ног поднимавшегося с плахи еще недавно могущественнейшего вельможу.

Толпа у эшафота, как зрители в театре, надеялась увидеть «хороший конец», трогательную «сцену прощения» – уже сама мрачная процедура приготовления к кровавой экзекуции давала сильный эмоциональный эффект, и каждый невольно испытывал ужас. Слухи о прощении ходили в толпе. Так было и во время казни Пугачева. Болотов пишет, что после чтения приговора «были многие в народе, которые думали, что не воспоследует ли милостиво указа и ему прощения, и бездельники того желали, а все добрые того опасались. Но опасение сие было напрасное».

И тем не менее опасения одних и надежды других сохранялись до самого последнего момента, даже тогда, когда смолкал грохот барабанов и в мертвой тишине

палач поднимал топор. И когда чуда прощения не происходило, когда ангел царского великодушия не спускался на «сцену» и палач резко опускал свое страшное орудие на шею преступника, толпа испытывала потрясение. В 1719 году приговоренная к смерти за детоубийство придворная девица Мария Гамильтон уже на эшафоте встала на колени перед Петром I и умоляла его о прощении. Зрители видели, как царь что-то сказал палачу на ухо, и ожидали помилования преступницы-красавицы, но палач взмахнул топором и мгновенно снес ей голову, а царь поднял отрубленную голову и поцеловал ее в губы.



*Казнь Е. И. Пугачева*

Очевидец вспоминает, что в 1764 году на казнь Василия Мировича собралась несметная толпа народа, и люди до последнего мгновения были убеждены, что преступника помилуют. Когда же палач отрубил Мировичу голову, все разом ахнули, и от

непроизвольного движения толпы перила моста возле места казни обломались.

Люди, собравшиеся у эшафота, по-разному воспринимали страшный миг смерти приговоренного. Болотов спокойно наблюдал за происходящим: «Пошла стукотня и на прочих плахах, и вмиг после того очутилась голова Пугачева, воткнутая на железную спицу на верху столба, а отрубленные его члены и кровавый труп, лежащие на колесе. А в самую ту ж минуту столкнуты были с лестниц и все висельники, так что мы, оглянувшись, увидели их всех висящими... Превеликий гул от аханья и многого восклицания раздался тогда по всему несчетному множеству народа, смотревшего на сие редкое и необыкновенное зрелище».

Юный Дмитриев, стоявший в толпе с братом, смотрел экзекуцию до конца, как и Болотов, но с другим чувством: «Тогда он (Пугачев. – Е. А.) всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе; палач взмахнул ее за волосы... Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство и сам осуждал себя: как скоро Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора, чувствительное его сердце не могло выносить такого позорища. Я притворно показывал то же расположение (т. е. делал вид, что отворачивается. – Е. А.), но между тем украдкой ловил каждое движение преступника. Что же этому было причиною? Конечно, не жестокость моя, но единственно желание видеть, каковым бывает человек в столь решительную ужасную минуту».

Те отрывочные сведения, которые сохранились, позволяют сделать вывод, что приговоренный в момент

казни нередко впадал в ступор, оцепенение и воспринимал все окружающее как во сне. Из рассказа старца Епифания, у которого в 1670 году отсеки руку и урезали язык, следует, что молитвой перед экзекуцией он довел себя даже до потери чувствительности и отсечение языка воспринял как мгновенный укус змеи.

В такой же ступор порой впадал и палач, особенно начинающий. Это придавало казни в Черкасске 27 октября 1800 года особый драматизм. Как вспоминает современник, во время чтения приговора о казни полковника Евграфа Грузинова, Ивана Афонасьева и других их товарищей «сделалось так тихо, как будто никого не было. Определение прочитано, весь народ в ожидании чего-то ужасного замер... (добавим от себя, что в момент казни люди снимали шапки. – Е. А.). Вдруг палач со страшною силою схватывает Афонасьева и в смертной сорочке повергает его на плаху, потом, увязавши его и трех товарищей-гвардейцев, стал, как изумленный, и несколько времени смотрит на жертвы... Ему напомнили о его обязанности, он поднял ужасный топор, лежавший у головы Афонасьева. И вмиг, по знаку белого платка, топор блеснул, и у несчастного не стало головы».

Публичные казни весь XVIII век собирали тысячные толпы. Потом люди возвращались к своим делам и долго вспоминали все подробности кровавой экзекуции. После казни Пугачева Болотов с приятелем-офицером не стали досматривать продолжение экзекуции – сечение кнутом сообщников того, чей труп уже лежал на колесе: «Народ начал тотчас тогда расходиться, то пошли и мы отыскивать свои сани и возвратились на них к заставе, где, отобедав у своего знакомца и простившись с ним, пустился я в свой путь в Киясовку с головою,

преисполненною мыслями и воображениями виденного, редкого и необыкновенного у нас зрелища и весьма поразительного, и на другой день к обеду возвратился к своим домашним».

Постепенно отношение к публичным казням менялось. Идеи Просвещения, гуманизма, ставшие достоянием русского общества к середине XVIII века, делали свое дело. Известный оппозиционер князь М. М. Щербатов выступил против казни вообще. Позже появились люди, которые возражали и против публичности казни, видя в этом мало проку. В 1824 году адмирал Мордвинов написал служебную записку с предложением отменить кнутование не только потому, что этот вид наказания отличается особой мучительностью, но и потому, что у зрителей это вызывает не осуждение преступника, а жалость к нему. Мордвинов так описывал реакцию зрителей: «При кровавом, паче отвратительном зрелище такового мучения, пораженные ужасом зрители приводимы бывают в то иступленное состояние, которое не позволяет ни мыслить о преступнике, ни рассуждать о содеянном им преступлении. Каждый зритель видит лютость мучения и невольно соболезнует о страждущем себе подобном... При наказании кнутом многие из зрителей плачут, многие дают наказанному милостыню, многие, если не все, трепещут, негодуют на жестокость мучения».

Однако публичные казни продолжались и весь XIX век, сочетаясь с тайными или полутайными (подобно казни декабристов в 1826 г.). Как и прежде, казнь была «пиром народа», зрелищем для простолюдинов. Люди образованные уже не рвались, подобно Болотову, в первые ряды зрителей. Как вспоминал революционер Г.

Н. Потанин, гражданская казнь которого происходила 15 мая 1868 года в Омске, «я не заметил ни одного интеллигентного лица, ни одной дамской шляпки».



# «ПОД КРЕПКИМ КАРАУЛОМ»

Тюрьмы в XVIII веке были преимущественно пересылочными и назывались острогами. Острог представлял собой территорию, обнесенную высокой (до 10 метров) стеной-тыном из вертикально поставленных бревен, с одними воротами. В центре такого двора стояла деревянная казарма без внутренних перегородок, в ней на голых нарах спали заключенные. Казарма отапливалась печами. Были остроги, где вместо одной большой казармы стояли несколько изб поменьше, внутри каждой находились одна-две камеры – «колодничьи палаты».

По описанию англичанина Кокса, территория Московского острога, построенного в середине 1770-х годов, была разделена внутренними стенами на несколько секторов, внутри которых стояли по четыре-восемь изб, в каждой из них была одна общая камера на 25–30 человек. Всего же острог был рассчитан на 800 заключенных. На сектора острог делился для того, чтобы изолировать подсудимых от осужденных и ссыльных, мужчин от женщин. В других тюрьмах такое деление соблюдалось не так тщательно, и часто разные категории заключенных, а также мужчины и женщины жили вместе, о чем мы узнаем из документов о доносах и драках в тюрьме с участием женщин.

Внутренний режим в тюрьмах того времени был, разумеется, по сравнению с иными временами, весьма свободным. Днем заключенным разрешалось гулять по тюремному двору. Часть из них, скованные общей цепью

(«на связке») и под охраной солдат, могли покидать острог для сбора милостыни Христа ради. Арестанты «на связке» встречались на улицах каждого русского города, сбор милостыни был видом заработка, причем приносил немало. Зрелище заунывно поющих колодников оставляло тяжелое впечатление у прохожих. В указе Сената 1736 года с упреком говорится, что арестанты «отпускаются на связке для прошения милостыни, без одежды, в одних верхних рубахах, а другие пытаны, прикрывая одни спины кровавыми рубашками, а у иных от ветхости рубах и раны битые знать (т. е. видны. – Е. А.)». Выставлять раны и язвы напоказ было одним из приемов профессионального нищенства.



*Острог*

Вернувшись в острог, арестанты делили милостыню на всех колодников. В тюрьмах существовала своя

организация во главе с выборным старостой – типичный для преступного мира «общак». Старосты ведали «общаком», получали и распределяли передачи. Тюремное начальство делало им всевозможные поблажки, сговор («стачка») между тюремными сторожами и тогдашними «авторитетами» был делом обычным.

В один из дворов острога допускались торговцы вразнос, у них арестанты покупали еду, одежду, из-под полы – водку. Весь день тюрьма была открыта для посетителей. Родственники и знакомые приносили еду, одежду, лекарства. Женщины варили тут же тюремным сидельцам еду, стирали им белье. На ночь железные двери тюрьмы тщательно запирали, а снаружи выставляли охрану. За попытки побега, нарушения режима, оскорбление стражи следовали телесные наказания кнутом, плетьюми, батогами.

Побеги не были редкостью при таком достаточно свободном режиме. У преступников было немало способов бежать. Несмотря на неизбежное расследование с пытками и суровое наказание соучастников побега, сговор преступников и охраны был делом обычным. Нередко солдаты охраны, получив деньги и боясь наказания за «слабое смотрение», бежали вместе с преступниками. Пугачев на допросе в 1774 году рассказывал, что он с сообщником бежал из казанской тюрьмы благодаря тому, что «в остроге из караульных заметили мы в одном солдате малороссиянине склонность к неудовольствию в его жизни, то при случае сказали ему о нашем намерении, а солдат и согласился. И все трое вообще начали отыскивать удобный случай, дабы из острога бежать», что им вскоре

и удалось, когда они вышли из острога под охраной солдата-сообщника якобы собирать милостыню.

Для предотвращения побегов и наказания провинившихся использовали различные оковы – цепи, кандалы, стулья, рогатки, колодки. Чаще всего арестантов заковывали в колодки. «Колодка», или «колода», представляла собой две половинки дубового обрубка длиной до аршина с вырезанным в них овальным отверстием для ноги. Обе половинки замыкали замком или заклепывали с помощью штырей. Передвигаться в колодках было трудно, и люди в них «непрестанно падали и ушибались».



*Заклоченный  
в цепных оковах*



*Кандалы*

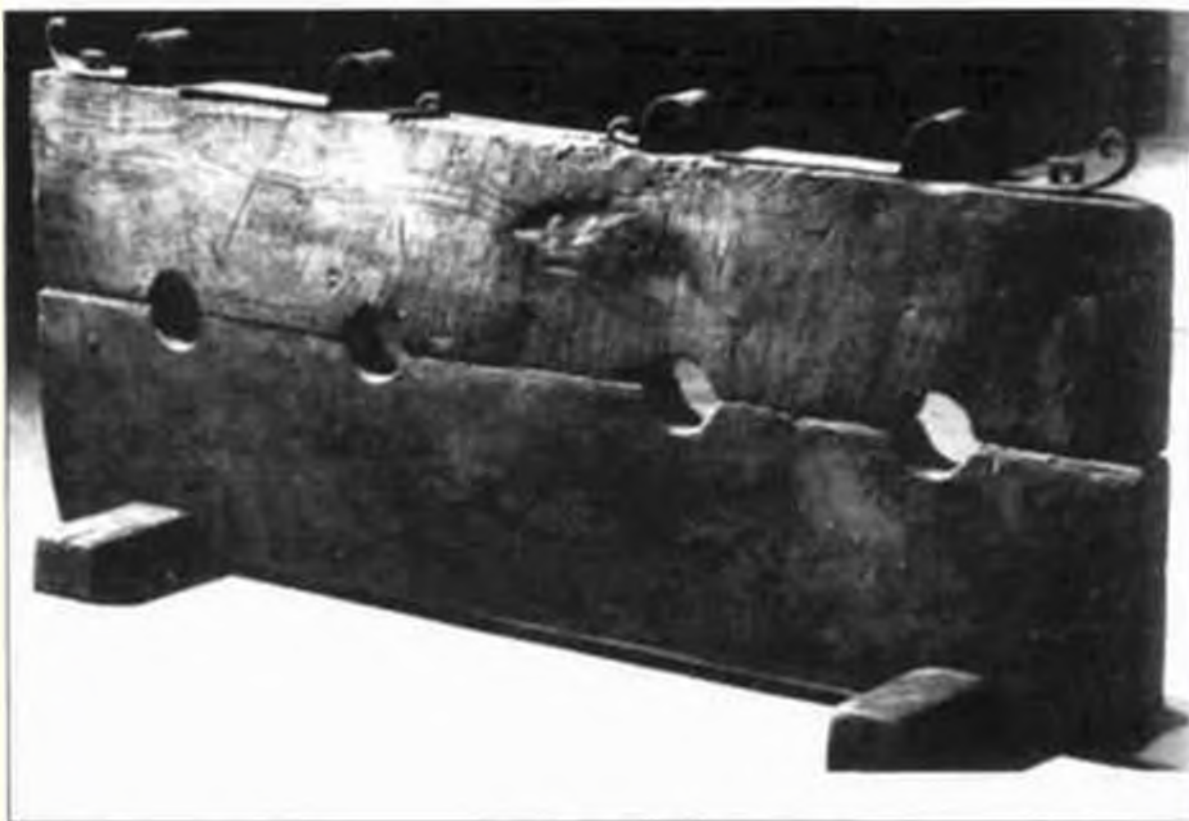
Цепные оковы – это кованая железная цепь с двумя широкими, размыкающимися браслетами на концах. Были цепи трех основных видов: для рук, для ног и для руки,

ноги и шеи одновременно. Существовали «чепи», которые закрепляли на металлическом поясе вокруг талии преступника. В 1774 году любопытствующие из дворян видели Пугачева в симбирской тюрьме «скованного по рукам и ногам железами, а сверх того около поясницы его положен был железный обруч с железной же цепью, которая вверху прибита была в стену». Из других источников известно, что один конец цепи вбивался в стену, лавку или в пол, а на другом конце укреплялся ошейник, ножной браслет или железный пояс с запирающимся на ключ навесным «цепным замком». Такая цепь называлась «настенной», а жизнь заключенного в таком положении называлась «цепным содержанием». Пугачева в московском Монетном дворе содержали так же, как и в Симбирске: «Злодей посажен в уготованное для его весьма надежное место на Манетном дворе, где сверх того, что он в ручных и ножных кандалах, прикован к стене». Кроме того, Пугачев сидел за специальной решеткой. Она ныне хранится в Государственном историческом музее в Москве.

Индивидуальные кандалы, в отличие от общих цепей, которые закрывались замками, были «замочные» и «глухие», которые кузнецы заклепывали наглухо. Упоминаются два вида оков: «тесные железа» и «готовые железа». Различие оков – в их индивидуальной подгонке к рукам и ногам колодника. Тесные делали для того, чтобы суровее наказать арестанта за непослушание, причинить ему боль, страдания. Освобождение от тесных оков нужно понимать как льготу. «Тесные железа» имели и другие названия: «твердые кандалы», «крепкие кандалы».

От воли тюремщиков зависела не только узость – «теснота» оков, но и их вес. Когда Пугачева арестовали в 1773 году, то было приказано ему «сделать кандалы: ножные в тридцать и ручные в пятнадцать фунтов, и злодея в те кандалы заклепать». Иначе говоря, общий вес кандалов составлял 18 килограммов, и, как сказал потом Пугачев, оковы «обломили ему руки и ноги». В Москве в 1774 году на него надели такие же тяжелые оковы. Ножные кандалы весили 1 пуд и 6 фунтов, то есть 18,5 килограмма. Они были длиной в 1 аршин 4 вершка (почти 1 метр). Но и это был не предел. В 1827 году один разбойник имел на себе оковы весом 2 пуда 30 фунтов (44 килограмма)!

Кроме веса оков важным считалось и число звеньев цепи, соединявшей браслеты. Дело в том, что меньший вес оков достигался за счет укорачивания цепи. В итоге в ней оставалось всего одно-два звена, и это не позволяло арестанту делать широкий шаг. От этого браслеты вскоре страшно натирали ноги. Лишь в эпоху Александра I стали думать, как бы заменить старые оковы новыми, более удобными и легкими. Решили остановиться на английском образце кандалов весом (для ручных) до двух килограммов. Но английская новинка в России так и не прижилась. Оказалось, что при плохой охране русских тюрем предотвратить побег заключенного могли только тяжкие оковы.



*«Лиса»*

По той же причине было «обыкновение всех содержащихся заключать на ночь в бревно, вырубленное наподобие колоды, для большей безопасности от побега». Речь идет, по-видимому, о «лисе» – двух половинках распиленного вдоль бревна или бруса с несколькими отверстиями для ног, а иногда и рук. Современник писал, что «лиса» была сделана из двух четырехгранных брусьев, «длиною во всю тюрьму. Нижний брус прибит накрепко к самому полу, а верхний плотно лежит на нем и соединяется с ним на одном конце посредством железных петель или шарниров, а на другом конце прибита толстая железная скоба, которая... запирается большим висячим замком. Во всю длину этих брусьев пробиты в них горизонтально и насквозь круглые дыры такой величины, чтобы могла помещаться плюсна ноги в обуви расстоянием одна от другой на четверть

аршина. Колодники должны лечь на пол навзничь, и, когда верхний брус приподымут, каждый должен положить свои ноги в прорезанные места, тогда верхний брус опускают, и каждый остается с защемленными ногами на всю ночь. Этого мало: сквозь средние кольца всех ножных желез продергивается особая железная цепь, прикрепленная к концу колоды, которая... замыкается замком. Нельзя передать вполне, как мучительно это положение. Невозможно иметь другого движения как только, приподнявшись, сесть и опять лечь на спину и целые 12 часов!»

После этого описания становится понятным, почему во время наводнения в Петербурге 10 сентября 1777 года в городском остроге на взморье погибло 300 узников – вероятно, их на ночь запирали в «лису». Лишь в 1827 году Сенат, узнав о гибели арестанта от долгого держания в «лисе», признал, что это «есть не что иное, как род пытки», и предписал всюду уничтожить подобные станки.

Для наказания нарушителей режима использовали рогатки и «стул». Первое упоминание о рогатках относится к 1728 году, когда обер-фискал М. Косого обвинили в том, что он держит у себя дома арестованных купцов, «вымысля прежде небывалые мучительные ошейники железные с длинными спицами». «Рогатки» известны двух типов. Одни были сделаны в виде замыкающегося на замок широкого ошейника с прикрепленными на нем длинными железными шипами. Их видел в Петербурге в 1819 году иностранец, посетивший женскую тюрьму. На рогатке были три острые спицы длиной в 8 дюймов, которые «так вделаны, что они (женщины. – Е. А.) не могут ложиться ни днем, ни ночью». Рогатки другого типа состояли «из железного



обруча вокруг головы, ото лба к затылку, замыкавшегося [с] помощью двух цепей, которые опускались вниз от висков под подбородок. К этому обручу было приделано перпендикулярно несколько длинных железных шипов».

«Стулом» называлась большая дубовая колода, весом свыше 20 килограммов, с вбитой в нее цепью, свободный конец которой закреплялся с помощью ошейника и замка на шее колодника. Передвигаться с такой тяжестью было мучительно трудно. Шейные рогатки, стулья и шейные цепи официально уничтожили по указу Александра I в 1820 году, хотя фактически их продолжали использовать и позже.

Монастырские тюрьмы считались самыми суровыми. В XVIII веке существовало несколько категорий колодников, которых отсылали в монастырь. Это были расстриженные священники и монахи, нераскаявшиеся старообрядцы («раскольники»), отпавшие от православия миряне, богохульники (среди них было немало сумасшедших), убийцы, приговоренные не просто к тюремному заключению, но и к покаянию и смирению в тяжелых монастырских работах, и, наконец, политические преступники.

Тюрьма Соловецкого монастыря, ставшего местом заключения многих государственных преступников начиная с середины XVI века, пользовалась особенно дурной славой. Содержали узников на Соловках по-разному. В приговорах о заключенных говорилось, что они присланы «под караул» или «под неослабный караул». Лучше было тем, кого сдавали «под крепкое смотрение» монастырских властей. Такие узники жили и работали вместе с монастырскими послушниками. Если в

приговоре не был указан вид работ, то их «употребляли ко всяким работам». Это позволяло некоторым узникам, благодаря взяткам, вообще избежать тяжелого монастырского труда.

Заключение в земляную тюрьму, а также в тесные тюремные «чуланы» считалось самым суровым наказанием. Один из указов об упорствующем раскольнике гласил: «Бить кнутом нещадно и сослать в Соловецкий монастырь в земляную тюрьму для покаяния, и быть ему там до кончины жизни его неисходно». Земляные тюрьмы представляли собой глубокие ямы, выложенные изнутри и по дну кирпичом. Сверху клали засыпанные землей доски. Через небольшое отверстие, которое закрывали железной дверью с замком, вниз подавали скудную еду и воду, вытаскивали нечистоты. Узник жил в яме на гнилой соломе в полной темноте, одолеваемый полчищами паразитов и крыс. В 1768 году в подобную «подземельную тюрьму»-яму при московском Ивановском девичьем монастыре посадили Салтычиху, причем Сенат предписывал держать преступницу в постоянной темноте и еду опускать со свечой, «которую опять у ней гасить, как скоро она наестся».

Если узникам земляных тюрем больше всего досаждали вши, крысы, холод и сырость, то сидевшие в «уединенной тюрьме» – каменных «чуланах» вдоль внутренних стен Корожной башни Соловецкого монастыря – страдали от тесноты: ни встать, ни лечь, ни вытянуть ноги они не могли. В среднем величина каменного мешка была 2,15 на 2,2 метра. Окна камер были очень узки и почти не пропускали света и воздуха. В таком каменном мешке 16 лет просидел последний кошевой Запорожской Сечи П. И. Калнишевский, присланный в 1776 году «на вечное содержание под

строжайший присмотр». Впрочем, посаженный в тюрьму в 87 лет, Калнишевский в 1801 году вышел на свободу в возрасте 110 лет «без повреждения нравственных сил» и прожил в монастыре, уже по доброй воле, до своей смерти еще два года.

Конечно, это случай исключительный – большинству сидение в каменных «чуланах» жизнь не удлиняло. Особенно тяжело было зимой. Как жаловался А. Д. Меншикову в 1726 году узник монастыря Варлаам Овсянников, «оную тюрьму во всю зиму не топили, и от превеликой под здешним градусом стужи многократно был при смерти». Просторнее были камеры в Головленковой башне (6,5 на 2,2 м). В 1718 году в монастырском дворе построили тюремное здание с камерами на двух этажах. Охранять новую тюрьму было легче, чем разбросанные по всему монастырю камеры, ямы и каменные мешки.

Условия содержания узников на Соловках, да и в других монастырях-тюрьмах, определяли следующие обстоятельства: предписания сопроводительного указа, поведение заключенного и, наконец, воля архимандрита. От него зависело ослабление или усиление многих режимных строгостей. Одних заключенных сажали на цепь, годами держали в ямах и каменных мешках, скованными ручными и ножными железками, били кнутом, плетью, шелепами. Им давали только хлеб и воду, заставляли работать на цепи в кухне по 18 часов в сутки: просеивать муку, месить тесто, печь хлеба, выносить нечистоты, стирать белье.

Другие заключенные, по мнению монастырского начальства, были достойны более комфортабельной жизни. Их могли расковать и, при желании узника,

постричь в монахи. Это означало, что человек расставался со всякими надеждами вернуться на материк, но зато он уже не считался колодником. Особенно охотно такую льготу делали для раскаявшихся раскольников, которых годами увещевали отказаться от своих «заблуждений». Вся обстановка сурового, подчас немилосердного содержания в монастыре сильно подвигала некоторых старообрядцев к таким обращениям. Они давали согласие постричься, чтобы избежать земляной тюрьмы или каменного мешка.



*Соловецкий монастырь*

Но и всевластный на Соловках архимандрит или игумен не всегда мог облегчить колодникам жизнь. С одной стороны, он, как и все российские подданные, боялся доносов. Без них жизнь даже здесь, на краю

земли, была немыслима. Монахи следили за сторожами, чтобы тех «не совратили» колодники (среди них порой встречались опытные старообрядческие проповедники), доносили и друг на друга. Да и сам архимандрит побаивался доносов, особенно если он потакал какому-нибудь колоднику. Авторами изветов бывали и сами колодники, которые мечтали таким образом вырваться с островов хотя бы на несколько месяцев – ведь быстрее дело в сыске не вершилось. Во время долгого пути в Москву у них появлялся шанс бежать на волю. Несколько месяцев в 1728 году расследовали дело по извету узника Соловков попа Федора Ефимова, который донес на казначея Феоктиста. По этому делу арестовали и доставили в Москву несколько человек. Кончилось все расследование поркой и возвращением «бездельного» доносчика, а также ответчика и свидетелей в монастырь.

С другой стороны, для особо опасных преступников указы из Петербурга делали невозможным даже малейшее послабление. В 1739 году на Соловки прислали князя Дмитрия Мещерского, которого предписывалось держать «в земляной тюрьме до смерти неизбежно». Лишь через два года пришел второй указ, разрешивший вытащить его из ямы и поселить «на житье» в монастыре. Из приговоров XVIII века с ясностью вытекает, что содержание преступников в монастырях никакого отношения к иноческому подвигу не имело. Монастыри рассматривались как разновидность государственных тюрем, куда отправляли приговоренных к пожизненному заключению или искалеченных на пытке и негодных в каторжные работы преступников. Архимандриты монастырей фактически оказывались начальниками тюрем.

В некоторых случаях архимандрит монастыря даже не знал преступления доставленного колодника – в сопроводительном указе писали глухо: «За некоторую важную его вину» или просто «За вину его». Такие узники назывались «секретными». На секретных узников, окруженных тайной и плотным «собственным» конвоем, власть монастырского начальства не распространялась. С ними запрещали разговаривать, их сажали так, «чтобы ни они кого, ни их кто видеть не могли», а кормили отдельно – на особые деньги, определенные приговором. В июле 1727 года на Соловки привезли бывшего начальника Тайной канцелярии П. А. Толстого и его сына Ивана с огромным конвоем:

пять офицеров и 90 солдат. Часть этого «войска» оставили при Толстых, которых поместили в Головленковой башне. Там они вскоре и умерли.

В той же самой башне восемь лет просидел В. Л. Долгорукий, доставленный в 1730 году в сопровождении 15 солдат во главе с капитаном М. Салтыковым. Капитан привез с собой жену и ее дворовых девушек. С большим трудом игумену Варсонофию удалось выпроводить из мужского монастыря женщин. Когда же в 1745 году власти вознамерились перевести на Соловки вместе с бывшим императором Иваном Антоновичем все его семейство и прислугу, в том числе женскую, то архангелогородский архиерей воспротивился. Он писал, что еще основатели Соловецкого монастыря святые Зосима и Савватий узаконили, «дабы не токмо в монастыре женскаго полу, но и мужчин без бород, також-де и из скотов женскаго полу на тамошнем острове содержать запрещено». Впрочем, если государыня указала бы посадить Брауншвейгское семейство в монастырь, со святыми отцами никто бы и не посчитался.

Но императрице Елизавете не понравилось, что связь с Соловками прерывается на семь месяцев в году и она долго не будет получать рапорты охраны, поэтому Ивана Антоновича и его родных поселили в Холмогорах.

Особо знатные секретные узники имели льготы: сидели не в монастырской, а в собственной одежде, им разрешали брать с собой прислугу из крепостных (у Долгорукого было пять слуг). Ели они, как и все узники, при свече, которую к ним приносили только на время обеда, зато посуда у них была из серебра. В описи вещей, оставшихся от Толстых, учтены дорогие вещи: лисьи шубы, епанча, кафтаны, камзол, сюртук, серебряная и оловянная посуда с ножами (вещь невероятная для обыкновенного колодника), золотые часы, серебряные табакерки, 16 червонцев. Известно, что в первоначальной описи имущества Толстых учтено 100 червонцев, значит, привезенные деньги они тратили на еду и на взятки.

В целом жизнь в Соловецком монастыре отличалась такой особой суровостью, что иным узникам каторга на материке казалась раем. В своей челобитной 1743 года бывший секретарь Михаил Пархомов просил: «с радостию моей души готов на каторгу, нежели в сем крайсветном, заморском, темном и студенном, прегорьком и прескорбном месте быти».

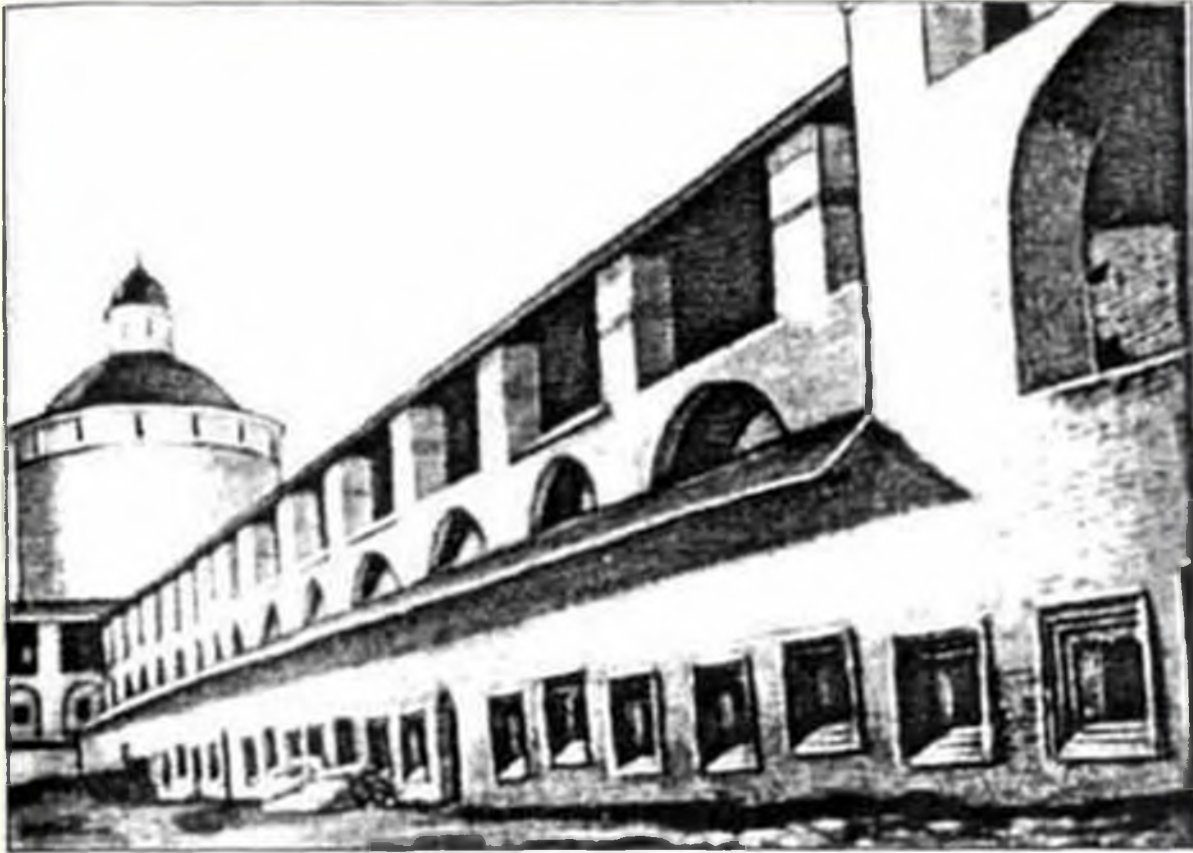
В истории Соловков немало побегов, но среди них почти нет удачных – если беглого арестанта не находили, то это не означало, что он сумел добраться до материка, куда ходил только «извозный карбас». Скорее всего, такой беглец тонул в Белом море. Бежать из монастыря было нелегко: за колодниками тщательно следили, их «чуланы» и вещи регулярно обыскивали.

Нарушителей режима ждало наказание – «смирение»: хлеб да вода, порка плетями, содержание в цепях, дополнительные кандалы и т. д.

Кроме Соловков, политических преступников держали еще в нескольких удаленных от центра монастырях: архангельском Николо-Корельском, Кирилло-Белозерском, Антониево-Сийском на Северной Двине, а также в десятке других монастырей Европейской части России. Суровы были условия содержания колодников в сибирских монастырях, самыми известными из которых были Долматовский Троицкий и Селенгинский Троицкий. Они становились настоящей могилой для живых. Впрочем, уморить узника можно было и не только на Соловках или в Селенгинске, но в любом другом монастыре.

Из описания заточения Арсения Мациевича в Николо-Корельском монастыре в 1760-х годах видно, что многие монастыри (кроме Соловков) не были приспособлены к содержанию секретных узников. Мациевича поместили в каземат под алтарной частью собора, рядом поселилась охрана. Опальный архиепископ пользовался в монастыре большой свободой, вел вольные беседы с охраной, посетителями, монахами, произносил проповеди, сурово укоряя монахов за повальное беспробудное пьянство, что и стало в 1767 году причиной доноса на него.





*Здание тюрьмы Кирилло-Белозерского монастыря*

В суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь традиционно посылали сумасшедших «до исправления в памяти», а также различных сексуальных извращенцев. В монастыре кончил свою жизнь и знаменитый монах-предсказатель Авель. Профиль монастыря как сумасшедшего дома был утвержден указом Екатерины II, приславшей туда в 1766 году первый десяток сумасшедших колодников. Умалишенных охраняли и содержали так же сурово, как и политических узников, причем об «опасном» политическом бреде узников следовало доносить по начальству.

Женщинам-колодницам в монастырях было не легче, чем мужчинам. Их ждали такие же суровые условия жизни, скудная еда, тяжелая работа, жестокое «смирение» в случае непослушания железными батогами,

шелепами. Знатные преступницы находились под постоянным, мелочным и придирчивым контролем приставленных к ним днем и ночью охранников или монашек, которые нередко стремились унижить, в чем-то ущемить этих изнеженных недотрог. Удобным предлогом для этого служили суровые указы о содержании узниц. Сестру жены А. Д. Меншикова Варвару Арсеньеву в 1728 году заключили в вологодский Горицкий монастырь. В указе о ней сказано: «И игуменье смотреть над нею, чтоб никто к ней, ни от нее не ходил, и писем она не писала». Оттуда ее перевели в московский Алексеевский монастырь, и там ее по-прежнему держали многие годы под охраной. Княжну Е. А. Долгорукую в 1739 году в том же Горицком монастыре умышленно держали безвыходно в маленьком темном домишке на черном дворе, возле хлевов и конюшен.



*Е. А. Долгорукая*

Каждое слово узниц сразу же становилось известно властям. Им даже приказывали «говорить всем вслух, а не тайно». Из инструкции 1732 года о содержании в монастыре княгини Александры Долгорукой видно, что узницу содержали под «крепким караулом» и даже в церкви она стояла «уединенно, за перегородкой». Так, кстати, было принято держать в церкви и колодников-мужчин. С родными женщинам-узницам разрешалось видеться только «в монастырских вратах при нескольких старых монахинях».

Узниц монастырей в большинстве своем постригали в монахини. Делалось это по прямому указу сыска, насильно, что являлось грубейшим нарушением догматов церкви о святости добровольного пострижения. Если в 1698 году царицу Евдокию больше трех месяцев

уговаривали и в конце концов уговорили постричься, то позже с желанием узниц не считались. Указы о пострижении давала светская власть, и они были суровы и лаконичны: «Послать в Белозерский уезд, в Горский девичь монастырь и тамо ее постричь... и велеть ей тамо быть неисходной» (указ верховников от 4 апреля 1728 года о Варваре Арсеньевой). Так же поступали и с другими знатными колодницами.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

В 1740 году в Иркутске, в девичьем монастыре, постригли несовершеннолетнюю дочь А. П. Волынского Анну: «Явился в церкви Знаменского монастыря архимандрит... Корнилий. За ним ввели в церковь под конвоем юную отроковицу... Архимандрит приступил к обряду пострижения девушки. На обычные вопросы об отречении от мира постригаемая оставалась безмолвною, но вопросы по чиноположению следовали один за другим, так и видно было, что в ответах не настояло необходимости. Безмолвную одели в иноческую мантию, покрыли куколем, переименовали из Анны Анисьею, дали в руки четки, и обряд пострижения был окончен. Фурьер... тут же сдал юную печальную инокиню игуменье под строжайший надсмотр и на вечное безисходное в монастыре заключение». Другую дочь Волынского, Марию, привезли в Рождественский монастырь в Енисейске и в ноябре 1740 года постригли там как старицу Марианну. Старице было не более 14 лет. 31 января 1741 года пострижение это было признано незаконным, и дочери казненного Волынского возвратились в Москву.

О поведении новопостриженной игуменьи монастыря регулярно сообщала в Тайную канцелярию. Так, о княжне П. Г. Юсуповой, заточенной в тобольский Введенский монастырь, мы читаем: «Монахиня Прокла ныне в житии своем стала являться бесчинна, а именно: первое, в церковь Божию ни на какое слово Божие ходить не стала; второе – монашеское одеяние с себя сбросила и не носит; третье – монашеским именем, то есть Проклою, не называется и велит именовать Парасковиею Григорьевной», кроме того, отказывается есть монашескую пищу, «а временем и бросает на пол». В ответ из Петербурга пришел указ: заковать княжну в ножные железа, наказать шелепами «и объявить, что если не уймется, то будет жесточайше наказана». По-видимому, только так можно было смирить упрямых узниц-монахинь.

Крепостные тюрьмы были очень удобны для содержания политических преступников. Камеры устраивали в башнях, казематах или в казармах гарнизона, иногда строили специальное здание для заключенных. Если Петропавловскую крепость можно назвать следственной тюрьмой, то тюрьмой для постоянного содержания узников служила Шлиссельбургская крепость.



*Шлиссельбургская крепость*

Одним из первых узников крепости на Ореховом острове стал знатный пленный – канцлер шведского короля Карла XII граф Пипер, доставленный в Шлиссельбург в июне 1715 года. Его, согласно указу Петра I, разместили «в квартире в удобном месте» и разрешали ему гулять по крепости в сопровождении охранника. Там он и умер, как считали жившие в Петербурге иностранцы, от сурового обращения стражи. В 1718 году в Шлиссельбурге поселили царевну Марию Алексеевну, которой отвели «хоромы близ церкви», оставили при ней слуг и небольшую свиту. В 1725-1727 годах в крепости жила старица Елена – бывшая царица Евдокия. Берхгольц в 1725 году видел Елену, которая прогуливалась, «окруженная сильною стражею», по двору дома, в котором она жила. О содержавшихся в конце 1730-х годов в Шлиссельбурге князьях Дмитрие Еолицыне и Михаиле Долгоруком известно только, что их водили под караулом в крепостную церковь на службу.

Самым знаменитым узником Шлиссельбурге кой крепости стал бывший император Иван Антонович, живший там в 1756-1764 годах. Содержали этого «безымянного колодника» с большой строгостью. Особенно она усилилась после того, как в 1762 году началось дело Хрущова и братьев Гурьевых, которых обвиняли в намерении возвести Ивана на престол.

Бывший император жил в отдельной казарме. Ее охраняла особая воинская команда во главе с офицерами, которые состояли в непосредственном подчинении начальника Тайной канцелярии. Узник находился безвыходно в камере. Окна ее не были забраны решетками, но их тщательно закрывали и замазывали белой краской, свечи в казарме горели круглосуточно. Ивана Антоновича держали без оков, спал он на кровати с бельем, в камере стояли стол и стулья. Узник имел цивильную, неарестантскую одежду и, возможно, книги духовного содержания. Ни на минуту его не оставляли одного – караул из нескольких солдат постоянно сидел с ним в камере. Дежурный офицер жил в соседней комнате и обедал за одним столом с узником. Кроме внутреннего караула снаружи был особый внешний караул. На время уборки, которую делали приходившие из крепости служители, секретного арестанта отводили за ширму.

В 1763 году, после приезда в Шлиссельбург Екатерины II, караульные офицеры Данила Власьев и Лука Чекин получили новую инструкцию. Согласно ей, они имели право убить узника, если кто-то попытается освободить его. Такая попытка и произошла в 1764 году. Когда в ночь с 4 на 5 августа подпоручик Василий Миревич с солдатами попытались захватить казарму, в которой сидел Иван Антонович, Власьев и Чекин

умертвили узника. В рапорте начальству они писали: «И потом те же неприятели и вторично на нас наступать начали и угроживать, чтоб мы им сдались. И мы со всею нашею возможностью стояли и оборонялись, и оные неприятели, видя нашу неослабность, взяв пушку и зарядя, к нам подступили. И мы, видя оное, что уже их весьма против нас превосходная сила, имеющегося у нас арестанта... умертвили».



*Посещение Ивана Антоновича  
императором Петром III в 1762 г.*

Неясно, где находилась казарма Ивана Антоновича и имеет ли она какое-либо отношение к знаменитому впоследствии Секретному дому во дворе крепости. Эта страшная тюрьма во второй половине XVIII века стала



главным узилищем для государственных и других опасных преступников. Узников Секретного дома содержали строго по инструкции. В ней предписывалось держать имя арестанта в секрете даже для охраны, узник находился в полной изоляции от других заключенных, охране строго запрещалось разговаривать с ним. Камеры обыскивали, и у заключенных отбирали запрещенные или подозрительные предметы и особенно бумагу и перья. Начальник охраны регулярно писал отчеты на имя коменданта или старшего начальника, а тот периодически рапортовал о поведении и разговорах узника в Петербург, нередко прямо генерал-прокурору или кому-то из высших должностных лиц империи.

В более удобных условиях находились присланные в крепость «на житье». Они получали жилье (по-видимому, в казармах гарнизона), им разрешали взять с собой семью, иметь перо и бумагу. Один из узников, Николай Чоглоков, даже женился на дочери коменданта крепости, и она родила ему восьмерых детей. Таким заключенным разрешались в сопровождении охраны прогулки по крепости, а родственников узника выпускали за пределы крепости на городской базар.

Так жила семья алхимика и экономиста Филиппа Беликова, который в 1745 году объявил, что может сочинить две книги, идеи которых принесут казне большой доход. Власти поощряли всевозможных прибыльщиков, поэтому отнеслись к Беликову хорошо, освободили его из сибирской ссылки, куда он попал ранее по неизвестной нам причине, и вместе с семьей отправили в Шлиссельбург «для лучшего сочинения оных» книг. Первая книга – «Натуральная экономия» – была закончена Беликовым уже через год и вызвала сомнения в умственном здоровье сочинителя, тем не

менее ему разрешили сочинять обещанную им алхимическую книгу. С ее написанием у Беликова возникли проблемы, как творческие, так и бытовые – жить на 25 копеек в день ему не нравилось, семья же алхимика постоянно увеличивалась.

Случай с Беликовым уникален – судьбы сочинителей в России были всегда несколько иные. Как отмечал большой специалист тюремной истории М. Н. Гернет, «царское правительство за время своего существования пересажало немало авторов в крепости и тюрьмы за то, что они писали. Беликов же был заключен в Шлиссельбургскую крепость не за то, что он писал, а для того, чтобы он писал». Правда, толку от сидения автора не было никакого – через 18 лет его выпустили, но он так и не закончил свой труд.

Из прочих крепостных тюрем особенно известны тюрьмы Выборгской и Кексгольмской крепостей. В первой содержался церковный деятель Феофилакт Лопатинский (1739-1741 гг.), а во второй с 1775 года и до начала XIX века жили обе жены Емельяна Пугачева и трое его детей.

Под тюрьму постоянно использовали и крепость Динамюнде под Ригой. В ней несколько месяцев содержали Брауншвейгское семейство, а в конце XVIII века крепость стала местом заточения двух сотен духоборов и скопцов. Жить в этой крепости было тяжело, что можно заключить из воспоминаний сидевшего там Василия Пассека, хотя из его же записок следует, что узника в заточении «тайно навещала» его жена, которая даже «родила от испуга безвременно... сына: он жил несколько токмо минут. Тело его оставалось у меня до того, пока чрез два или три дня найден был случай вынести его тайно из тюрьмы моей для погребения в

Риге». Такие визиты кажутся невозможными в Петропавловской крепости или в Шлиссельбурге, но и там случались происшествия, подобные приведенному выше рассказу графа Гордта о праздничной ночной прогулке по Петропавловской крепости.

В инструкции охранникам строго-настрого было запрещено давать узнику деньги. Дело в том, что двери и замки даже самых страшных и секретных тюрем, несмотря на все предосторожности, все равно открывал «золотой ключ» – взятка. В приведенном выше рассказе графа Гордта о его прогулке по Петропавловской крепости есть эпизод, хорошо иллюстрирующий этот неискоренимый порок тюрем. Насладившись зрелищем праздничного вида города с одного из бастионов, секретный узник попросил своего доброго охранника показать ему изнутри Петропавловский собор. Когда они вошли в здание, порыв ветра вдруг захлопнул огромную дверь собора и открыть ее оказалось не под силу двум мужчинам. Положение становилось драматичным, и, как пишет Гордт, «я боялся как бы бедняга-солдат не повесился с отчаяния, чтобы избежать кары, которая ему угрожала. Я беспокоился только за него, и пока он изыскивал средства выпутаться из затруднения, я заметил, благодаря свету неугасимой лампы, горевшей среди храма, две великолепные гробницы – императора Петра I и императрицы Анны. Я сел в пространстве, разделяющем эти гробницы, и предался размышлениям о превратности людского величия. Между тем гренадер мой отыскал маленькую дверку, у которой стоял часовой. Незаметным образом я опустил в руку этому караульному червонец, и за то он оказал нам милость – выпустил нас. Мы весело возвратились в наше печальное жилище». И хотя в этом эпизоде рассказана история о том, как узник

стремился из всех сил попасть в свое узилище, деньги все же чаще помогали облегчить жизнь в нем и даже вырваться на свободу.

В истории тюрем XVIII века известны несколько случаев крайне сурового тюремного содержания, напоминавшего казалось бы ушедшие навсегда времена Средневековья. Речь идет о замуровывании узника в каменном мешке. В декабре 1725 года бывший архимандрит Александре-Невского монастыря Феодосий Яновский под именем Федос был «запечатан» в тюрьме архангелогородского Николо-Корельского монастыря. Дверь камеры заложили кирпичом и оставили только узкое окошко для передачи узнику еды. Прожил Федос в таком положении только месяц. В начале февраля караульный офицер доложил архангелогородскому губернатору, что Федос «по многому клику для подания пищи [в окошко] ответу не отдает и пищи не принимает». Губернатор приказал охране позвать Федоса как можно громче. Но узник не отзывался, и при вскрытии камеры он был найден мертвым.

В октябре 1745 года в Шлиссельбургскую крепость доставили бывшего олонецкого крестьянина Ивана Круглого, который особенно досадил Синоду и Тайной канцелярии. Вначале он, отрекшись от раскола, донес на старообрядцев, потом отказался от своего извета и тем самым разрушил удачно начатое дело по истреблению раскола в Олонецком крае. За это его сослали на каторгу, где Круглый вновь «впал в раскол». Тогда-то и предписали посадить его в особую удаленную от людных мест «палату», у которой «двери, так и окошки все закласть наглухо... оставя одно малое оконцо, в которое

на каждый день к пропитанию его, Круглова, по препорции подавать хлеб и воду, и приставить к той палате крепкой и осторожной караул...».

В этих нечеловеческих условиях – во тьме, холоде, в тесноте и собственных нечистотах, при скудной пище – заключение было равносильно приговору к мучительной смерти. Когда смерть приходила к узнику, местное начальство самостоятельно не имело права разламывать стенку, даже если арестант уже давно не брал еду, а на призывы охраны не откликался. Так, разрешение на вскрытие камеры Круглого комендант Шлиссельбургской крепости получил непосредственно из Сената. 17 ноября 1745 года он рапортовал, что после вскрытия замурованной камеры «по осмотре Круглой явился мертв, и мертвое тело его в той крепости зарыто».

В 1769 году по указу Екатерины II генерал-прокурор Вяземский распорядился о присланном в Динабург преступнике Илье Алексееве: «Закласть сего злодея в каменной стене крепостной казармы или каземата, не оставляя более как одно окошко для подаяния ему пищи и вычищения сора, в ночное ж время и оное окошко снаружи запирая железным затвором, содержать его в той казарме под крепким караулом и никого не только к нему, но даже и к тому окну не под каким видом не допускать». Естественно, Вольтера об этом императрица не информировала.

Имена секретных узников, как сказано выше, держали в строжайшем секрете, с течением лет, в условиях сурового заточения и одиночества, они нередко сходили с ума и уже сами не могли назвать своего имени. Особой тайной Екатерина II окружила Арсения Мациевича, заточенного в Ревельской крепости в

декабре 1767 года. Когда узника, подлинное имя которого не знали ни конвой, ни охрана, поселили в крепостном каземате, из Петербурга прислали особую инструкцию о его содержании. В ней говорилось о Мациевиче как о «некотором мужике Андрее Бродягине». Потом Екатерина «переименовала» Бродягина во «Враля». С тех пор по документам он обычно проходил как «Андрей Враль». Генерал-прокурор предписывал в инструкции, чтобы офицеры и солдаты охраны «остерегались с ним болтать, ибо сей человек великий лицемер и легко их может привести к несчастью, а всего б лучше, чтоб оные караульные не знали русского языка... Бude ж иногда, как он словоохотлив сам, станет о себе разглашать, то сему верить не велеть, а в то ж самое время наистрожайше ему запретить говорить с таким при том прещением (угрозой. – Е. А.), что если он еще станет что-либо говорить, то положен будет ему в рот кляп, которого отнюдь однако в рот ему не класть, а иметь его только в кармане, для одного ему страха, и в случае иногда его непослушания, тот кляп ему и показать...»

Поначалу Арсений Мациевич пользовался в Ревельской крепости некоторой свободой – его водили в церковь, разрешались и прогулки по крепости. Но потом, после дошедшего до Петербурга слуха о готовящемся побеге, условия заточения опального иерарха резко ужесточили. Есть предположение, что в последние годы своей жизни в Ревельской крепости Мациевич был «запечатан» в каземате, и передачи ему подавали на веревке, которую он выбрасывал через решетку разбитого окна.

Такие заточения порождали в народе легенды о таинственных узниках крепостей и монастырей. Легенды

ходили об Арсении Мациевиче, которого народ почитал страдальцем, что признавала сама Екатерина II: «Народ его очень почитает исстари и привык считать его святым, а он больше ничего как превеликий плут и лицемер». Между тем именно заточение его в монастырь, а потом в крепость и сделали из него страдальца, точно так же как стал страдальцем за «истинную веру» бывший император Иван Антонович. Известен в народе был также некий безымянный узник Кексгольма, освобожденный Александром I в 1802 году после 30 лет заключения. Местные жители уважительно называли его, утратившего память и разум, Никифором Пантелеевичем.

Смерть узников требовала обязательного письменного подтверждения. В 1745 году охрана тюрьмы в Холмогорах, в которой сидели члены Брауншвейгской фамилии, получила указ императрицы Елизаветы Петровны, которым предписывалось в случае смерти кого-либо из Брауншвейгского семейства (особенно Анны Леопольдовны или Ивана Антоновича), «учиня над умершим телом анатомию и положи во спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить по тому ж, токмо не присылать, а доносить нам и ожидать указу». Секретных узников стремились хоронить без помпы, тайно. В инструкции о похоронах отца бывшего императора, Антона Ульриха, сказано: «Тело его погresti тихо в ближайшем кладбище церковном, не приглашая отнюдь никого, кроме команды вашей». О прошедших похоронах обязательно подробно сообщали в Петербург.

# «ТУДА ШИРОКА ДОРОГА, ДА ОТТОЛЕ УЗКА»

Ссылка – один из самых распространенных видов наказания по политическим и иным преступлениям. В течение всего XVIII века число преступлений, по которым людям грозила ссылка, увеличивалось постоянно. Историк Н. Д. Сергеевский дает объяснение этому явлению: ссылка была нужна государству, ибо «служила неиссякаемым источником из которого черпались рабочие силы в тех местах, где это было необходимо для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продовольствие служилым людям», словом, ссылка стала для государства «источником различных полезностей». В петровское время, с «открытием» такой разновидности ссылки, как каторга, то есть широчайшее использование труда ссыльных на всевозможных стройках и в промышленности, значение ссылки в истории России стало огромным. Рассмотрим основные виды ссылки.

Выдворение за границу применяли нечасто, и касалось оно преимущественно дипломатов или иностранцев на русской службе, обвиненных в политических преступлениях, придворных интригах или чем-то не угодивших самодержцу. Иностранное подданство для государственного преступника служило в России XVII-XVIII веков слабой защитой: иностранца, обвиненного в государственном преступлении, могли казнить, посадить в тюрьму или сослать в Сибирь: судьбы немцев Кульмана, Минихов, Менгдена, голландца



Янсена, итальянца Санти, француза Лестока – этому выразительные свидетельства. Самыми громкими такими историями в XVIII веке были высылка из России посланника Франции маркиза де ла Шетарди в 1745 году и в 1796 году братьев Массонов – двух швейцарцев на русской службе.

Выше приведен рассказ из мемуаров Массона-младшего о том, как надвигалась опала. Напомню, что после первой беседы с генерал-директором полиции Архаровым братьям было велено снова явиться к нему на следующий день. Они опять долго ждали решения своей судьбы в приемной, пока наконец перед ними не появился штаб-офицер и не сказал, что ему поручено отвести их к обер-полицмейстеру. «Такое перемещение к второстепенному должностному лицу, – пишет Массой, – возвещало нам, что участь наша решена царским словом и что мы предаемся в руки исполнительной власти». Обер-полицмейстер Чулков сказал братьям: «"Весьма сожалею, будучи обязан объявить вам, что по воле государя, вы должны быть препровождены в ваши места". Он буквально выразился таким образом, а потому нашему воображению предоставилось выбирать любое между разнородными значениями, какие может иметь слово "место", то есть между изгнанием за границу, Сибирью, казематом или эшафотом».

С большим трудом Массонам удалось выпросить позволения проститься с женами и детьми. Чулков дал им «два часа времени, чтобы устроиться с нашими делами и достать необходимый запас денег на дальнюю дорогу». Это означало, что братьев ждет, по крайней мере, не эшафот. Когда младший Массой пытался сказать, что вот так, сразу, за два часа, собрать деньги

на прогоны, купить экипаж и лошадей им не удастся, Чулков отвечал: «Ну, когда у вас нечем платить прогонов за почтовых лошадей, то вы будете препровождены, как прочие преступники – от селения до селения, вплоть до самого места доставки». «Этот наглый ответ, – пишет Массой, – заставил меня бояться: не решено ли сослать нас в Сибирь. Тут Чулков, подозвав двух офицеров, приставил по одному из них ко мне и брату (к каждому особо), причем с некоторою напыщенностью провозглашал наши имена и звания, потом вынул свои часы и сказал нашим приставам тем же тоном: "Теперь час пополудни, вы отвечаете головою за этих господ, чтобы они были представлены сюда ровно в три часа"». На возражения одного из офицеров конвоя, что двух часов на сборы мало, Чулков отвечал бранью.

Прощание с женами стало тяжелым испытанием для братьев. Узнав от слуг, что их мужей отвезли к обер-полицмейстеру – знак чрезвычайно плохой, женщины «бросились из дому, в слезах и отчаянии, но повстречались с нами на улице. Завидев нас, – пишет Массой, – одна лишилась чувств, а другая горько зарыдала. Их экипаж обступила толпа, мгновенно привлеченная любопытством и сожалением. Это зрелище поколебало в нас присутствие духа... Я сел в сани к своей бедной подруге и поехал к себе, сопровождаемый офицером. Жена была в уверенности, что нас с братом ведут на смерть и что ей никогда более не увидит своего мужа. От избытка собственной скорби я не мог ничего объяснить жене, а она, от ужаса и волнения, не в состоянии была ни понимать, ни слушать меня. Большую часть дорогого времени, данного на устройство дел, я провел в заботе успокоить и вразумить ее. Наконец, мне удалось внушить ей кое-какие надежды и она,

собравшись с духом, заявила себя достойною того дела, за которое я страдал. Она даже помогала мне в укладке чемодана, покуда я рылся в бумагах, приводил их в порядок, да написал несколько писем, поручая ими жену участию моих покровителей и друзей... Офицер, безотлучно и повсюду следивший за мною, не мешал мне ни в чем: писать, запасаться вещами, брать с собою бумаги, рвать их – одним словом, делать что угодно, но отказал в просьбе отпустить меня, на честное слово, во дворец или пойти туда вместе со мною. Разлука с женою была так невыразимо тяжела для меня, что я решился на все, чтобы только склонить великого князя [Александра Павловича] на ходатайство перед императором. Но время шло... вот офицер вынул свои часы и молча показал мне: двухчасовой срок исполнился. Приходилось навсегда исторгнуть себя из объятий моей несчастной подруги, которую я покидал в самом ужасном положении. При раздирающей душу сцене нашего прощания, когда я обращался к жене с последним словом утешения и совета, шестинедельная дочь наша Леленька мирно почивала среди неутешно плачущей семьи... Наконец я оторвался от объятий отчаянной жены и попрощался с плачущими навзрыд домашними. Конвойный офицер, тронутый этою картиною общего горя, сказал мне с чувством: "По всему видно, что, по крайней мере, вы не были для прислуги недобрым господином". Особенно растрогала меня выказавшаяся в этом случае привязанность ко мне русского солдата, моего денщика. Он просился ехать со мною, куда бы ни повезли меня. Обер-полицмейстер отказал этой просьбе... и разогорченный денщик провожал меня далеко за город, едучи за мною на маленьких санках».

Массоны долго не узнали бы, куда их везут под конвоем – в Сибирь, в Колу или к границе империи, если бы на отчаянный вопрос Массона-старшего «Куда мы едем?» конвойный офицер вместо всякого ответа не вынул таинственно из своей курьерской сумки пакет за императорской печатью и надписью: «Графу Палену, нашему генерал-губернатору в Митаве». «Этот поступок офицера, – пишет Массой, – вывел нас из жестокого беспокойства. Подозвав моего денщика, который еще ехал за нами, я взял его за руку, обнял на прощанье и сказал ему: "Ступай теперь назад, любезный мой Данило, и скажи Марье Ивановне, что нас повезли на Митаву"».

Тяжелы для ссыльных оказались встречи на оживленной дороге, на станциях со знакомыми – а их у Массонов было великое множество: «С их стороны и невольное отчуждение от нас при виде нашего конвоя, и любопытство или даже самое участие, безразлично подбавляли горечи в наше положение». На границе Массой просил конвойного офицера, сдавшего преступников на первом прусском посту, передать письма оставшимся в Петербурге женам. Офицер отдал письма Архарову, который так и не отправил эти невинные послания женщинам, страдавшим потом многие месяцы от безвестности относительно судьбы своих мужей. «Удерживать письма, – писал потом Массой, – предназначенные единственно для некоторого успокоения разогорченных женщин, успокоения лишь в том, что их мужья живы и здоровы, не дать им узнать, куда увезены они – это такая изысканная жестокость. Такая напрасная, ненужная мера, что после того вполне поверишь возможности особенного наслаждения, которое находят мучители в страданиях жертв своих». Думаю, что Массой преувеличил изысканность чувств Архарова,

который якобы решил потерзать неизвестностью двух изнеженных немцев. На самом деле прославленному своей жестокостью генерал-полицмейстеру, как и его «архаровцам», просто в голову не приходило подумать о страданиях близких преступников.

О технике выдворения за границу в XVIII веке известно мало. Массой описывает, как конвойный офицер привез их на первый пограничный пост Пруссии и получил расписку от немецкой пограничной стражи в том, что преступники выдворены за пределы Российской империи. Далее мемуарист пишет: «При нашем переезде через границу нам не читали никакого карательного приговора, не провозглашали никакого запрета на возвращение наше в Россию и оставили мне мой мундир и шпагу, а брату – его почетную саблю и орден (Массон-старший отличился в войнах России в турками. – Е. А.), без всякого предъявления нам каких-либо требований».

Немец генерал Г. Тотлебен был обвинен в измене во время Семилетней войны, арестован в 1760 году, три года просидел в тюрьме, и 31 марта 1763 года Екатерина II предписала изгнать его за пределы России. В указе разъяснялось, как поступить с бывшим генералом: «Тодтлебена, яко преступника, более нетерпимого в областях наших, под крепким караулом вывезти на границу нашей империи и там, прочитав ему сентенцию военного суда, а потом и сей наш указ, отнять все чины у него и кавалерии и взять письменный реверс в том, чтоб он ни под каким видом, ни тайно, ни явно, в империю нашу не въезжал и что, в противном случае, ежели кто его увидит и узнает в государстве нашем, тот право имеет у него отнять живот, каким заблагорассудится

образом... а потом вывезти за границу и оставить там без всякого абшида».

Изгнание было тяжелой карой для порядочных людей, выдворяемых с позором из страны. Они не получали паспорта-отпуска («абшида»), необходимых для новой службы рекомендаций, за ними тянулась дурная слава. Тотлебен, узнав о приговоре, просил императрицу Екатерину II не изгонять его, а лучше казнить или сослать в Сибирь. Государыня смилостивилась – Тотлебена отправили в ссылку в Порхов, при этом было предписано «ему из одного города не выезжать». Высланный из России в связи с указом 1742 года об изгнании евреев доктор Санхес, который пользовал государыню Елизавету и всю тогдашнюю петербургскую элиту, бедствовал в Париже, так как, «не получа абшида», не мог «с пристойностию, как честный человек, ни в какую службу вступить...»

Трагедией стала высылка и для братьев Массонов, родившихся в Швейцарии, учившихся в Германии и долго живших во Франции. Массон-младший в 1800 году, через четыре года после высылки из России в Пруссию, писал: «Мы приехали в Ниммерсат, первый пограничный пункт прусских владений, как бы в виде путешественников, сопровождаемых почетным караулом. Увы! На самом-то деле, мы сознавали себя выброшенными, как преступники и беспаспортные, в чужую страну, не зная, примет ли нас она, в такую эпоху, когда целая Европа казалась огромным судилищем политической инквизиции... Нас оторвали от наших семейств, от города, где сосредотачивались все наши сердечные привязанности, от страны, к которой жребий прирастил жизнь нашу, – страны, где мы оставляли свое благосостояние и общественное положение, свои

надежды, молодость, плоды долгой службы. После двадцатилетнего почти отсутствия, после великих событий, потрясших европейский мир, мы стали чуждыми и Франции, и Швейцарии, и Германии, всему свету».

Нигде в Европе братьям было не найти покоя, всюду опасались мести России за доброе отношение к ее изгнанникам. Массон-младший был вынужден лично объяснять прусскому королю, почему его с позором выбросили из России. Жалобы братьев на произвол русских властей лишь ухудшили их положение – нигде в Германии им не находилось места. Вместе с тем Массой понимал, что это еще не самый страшный жребий – быть брошенным в объятую войной и нестроением Европу: «Спросят меня, быть может: да разве большое несчастье быть удаленным из России? Конечно, я начинаю чувствовать, что нет, и приношу спасибо русскому правительству: ведь нас вместо высылки за границу могли точно так же спровадить в Камчатку, стало быть, надо считать за благодеяние уже и то, что нам не сделали столько зла, сколько были в состоянии сделать». Конечно, это было слабое утешение для изгнанника.

Ссылка «в деревни» или «в дальние деревни», то есть в удаленные от столицы вотчины и поместья провинившегося, считалась самым легким из возможных наказаний такого рода, хотя перед отправкой в ссылку вельможу почти всегда лишали званий, чинов, орденов, вообще «государевой милости». Иногда в приговоре указывали более-менее конкретный адрес («в суздальскую ево деревню») или с уточнением: «Жить... до указа в дальней его деревне, которая доле всех...», но чаще давали лишь общее направление – подальше от

столицы, предоставляя выбор «дальней деревни» самому ссыльному или местному начальству.

## ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Князя В. Л. Долгорукого в апреле 1730 года отправили на должность Сибирского губернатора, но по дороге его нагнал грозный посланец императрицы Анны, который прочитал опальному вельможе манифест о том, что «за многия его, князя Василия Долгорукова, как Ея и. в. самой, так и государству бессовестные противные поступки, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню, с офицером и солдаты, и быть тому офицеру и солдатам при нем, князь Василии, неотлучно».

Сразу же после прихода к власти Павла I в 1796 году княгиня Е. Р. Дашкова как участница переворота 1762 года, приведшего на престол Екатерину II, была лишена всех своих высоких должностей, хотя формального указа о ее ссылке не последовало. Но стоило ей приехать в Москву, как в ее спальню (княгиня лежала больной) «вошел генерал-губернатор М. М. Измайлов. Он... понизив голос, сказал, что должен объявить мне от имени Его величества императора приказание немедленно вернуться в деревню и припомнить 1762 год». Действительно, в рескрипте Павла I Измайлову сказано: «Михаил Михайлович! Объявите княгине Дашковой, чтобы она, помянув событие 1762 года, немедленно из Москвы выехала и впредь бы в нее не въезжала». Естественно, Дашкова в Москве не задержалась. Приехав в свое калужское имение Троицкое, она получила новый указ императора:



немедленно ехать в деревни своего сына, причем оговаривалось примерное место ссылки – «между Устюжной Железнопольской и Череповецким уездом». Это были действительно дальние деревни.

Режим ссылки в деревне поначалу был довольно строгим. В. Л. Долгорукий, привезенный в Знаменское 27 апреля 1730 года, писал через месяц своим сестрам, что «по се время в горести моей живу за караулом, только позволено мне выйти из избы в сени, и я у церкви не бывал, за мои грехи Бог не сподобил». Так же строго содержали и сосланного в деревню в апреле 1758 года бывшего канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Однако позже власти, как правило, начинали делать ссыльным послабления: сначала им разрешали ходить в церковь, потом позволяли прогулки по двору и деревне. Если в столице считали, что сосланный ведет себя спокойно и не опасен, то охрану из его дома выводили, а присмотр за ссыльным поручался местным властям или игумену ближайшего монастыря. Разрешали и встречи с соседями у себя дома. В указе Анны Иоанновны 1740 года о содержании в деревне бывшего смоленского губернатора А. А. Черкасского сказано: «Жить ему в деревнях своих свободно без выезда». Это означало, что Черкасский мог выбрать одну из своих деревень и там жить помещиком. Ему не разрешалось только выезжать за пределы вотчины. Это условие было обязательным, нарушение его вело к репрессиям.

В 1778 году Екатерине II донесли, что сосланный ею в Казань граф Апраксин самовольно приехал в подмосковную деревню к князьям Долгоруким. Императрица приказала немедленно вернуть послушника на место ссылки и предупредить, что «буде отлучится

куда из Казани, то сослан будет в глубокую Сибирь за послушание воли и повеления моего», а Долгоруким сказать, «что, буде впредь услышу, что ссылочных у себя держат, то чтоб знали, что мил[ую] таков[ую] компани[ю] я им в Сибири доставить могу».

Жесткий контроль был установлен и за А. В. Суворовым, которого в 1797 году Павел I сослал в новгородское село Кончанское. Коллежский советник Юрий Николев получил указ за Суворовым «надзирание чинить наездами». Это вызывало недовольство ссыльного. Кроме того, за опальным фельдмаршалом была установлена и негласная слежка, и шпионом был, по-видимому, один из соседей Суворова. Подробные рапорты шпиона о беседах с Суворовым дошли до нашего времени.

Ссылка в деревню могла стать облегченной формой наказания после возвращения из сибирской (или иной) ссылки, причем человек, поселенный в деревню, по-прежнему оставался неполноценным в правовом смысле подданным. За ним был установлен контроль, его переписку перлюстрировали, выехать же из имения он мог только с разрешения Петербурга.

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Осужденные по делу А. П. Волынского П. И. Мусин-Пушкин, Ф. И. Соймонов и И. Эйхлер были освобождены из ссылки указом Анны Леопольдовны 8 апреля 1741 года. Правительница распорядилась, чтобы они жили безвыездно в деревнях своих жен. Только Елизавета Петровна указом 10 декабря 1741 года предоставила конфидентам Волынского полную свободу.

А. Н. Радищев по возвращении в 1797 году из Сибири поселился в Немцове – сельце в Калужской губернии, и там его поставили под «наиточнейшее надзирание» местных властей. Его письма к друзьям и родным читал сам московский обер-почтмейстер И. Б. Пестель, копии с них он отсылал в Сенат. Радищев с трудом добился высочайшего разрешения навестить родителей в Саратовской губернии.

Из ссылки в дальние деревни мог быть и самый короткий путь назад – в столицу, ко двору. Так происходило со многими вельможами, которые, по мнению власти, свое в дальней деревне «высидели». Одним разрешали вернуться в столицу, но жить при этом безвыездно в доме и «с двора не съезжать». Другим же разрешалось являться к царскому двору, они получали новые назначения. С. Г. Долгорукий, живший в своих деревнях, был в 1738 году прощен, назначен посланником за границу и чуть было не уехал по месту службы. Однако начавшееся в Березове дело его родственников резко изменило судьбу князя Сергея, и он вскоре оказался не в Лондоне, а на эшафоте под Новгородом.

А. В. Суворов, сидевший в Кончанском, стал в 1798 году проситься в монастырь. Это, по-видимому, смягчило Павла I – ссылка фельдмаршала вскоре закончилась. В Кончанское неожиданно прискакал фельдъегерь с указом императора о возвращении ссыльного в столицу, в ответ на который Суворов ответил лаконично: «Тотчас упаду к ногам Вашего императорского величества». Понять восторженную лапидарность Суворова можно – придворный или военный человек, чиновник или

писатель, оторванный от столицы, был неизбежно обречен на деградацию и умирание. Сосланный хотя бы «за Можай», он утрачивал связи, любимое занятие, запивал, опускался.

Впрочем, для иных преступников ссылка в «дальние деревни» могла казаться благом. А. Д. Меншиков, прибывший в ноябре 1727 года в Ранненбург, думал, что здесь он и закончит свои дни. Но ему не дали там жить спокойно. В Ранненбург зачастили следователи, которые вели допросы по пунктам, составленным врагами светлейшего в Петербурге. 5 января 1728 года у Меншикова и его сына отобрали все ордена, описали и опечатали все драгоценности и личные вещи, а 27 марта последовал именной указ: «Послать, обобрав ево все пожитки, в Сибирь, в город Березов з женою и с сыном, и з дочерьми...» В восьми верстах от Ранненбурга Меншикова и его родных остановили и обыскали. Все, что сочли «лишним», в том числе «чулки кастановые ношенные, два колпака бумажных» отобрали вместе с кошельком, в котором лежали 59 копеек – последнее достояние прежде богатейшего человека России.

Наталья Борисовна Долгорукая вспоминала, что семья князей Долгоруких приехала в пензенскую деревню, куда их сослали, но через три недели «паче чаяния нашего вдруг ужасное нечто нас постигло. Только мы отобедали – в эвтом селе дом был господской, и окна были на большую дорогу, взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут... Все наши бросились смотреть, увидели, что прямо к нашему дому едут, в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты двадцать четыре человека. Тотчас мы узнали свою беду, что еще их злоба на нас не умаляетца, а больше умножаетца. Подумайте,

что я тогда была, упала на стул, а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничево не знаю, что они объявили свекору, а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя, боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем. Можно ли ту беду описать?» Долгорукая пишет далее, что офицер «объявил, что велено вас под жестоким караулом везти в дальний город, а куда – не велено сказывать. Однако свекор мой умилостивил офицера и привел его на жалость, сказал, что нас везут в остров (Березов стоял на острове между реками Сосьвой и Вогулкой. – Е. А.), который состоит от столицы 4 тысячи верст и больше...».

Тяжесть ссылки как наказания, естественно, находилась в прямой зависимости от расстояния, которое отделяло место поселения от столиц. В лучшем положении оказывались преступники, сосланные в европейские города. Но и здесь была разница. Ссылка в крупные города Европейской части (Ярославль, Архангельск) была настоящим курортом для политического преступника, в отличие от ссылки в удаленные, глухие места, вроде Солигалича или Пустозерска. Сибирский царевич Василий жил в Архангельске, П. П. Шафиров – в Новгороде, Э. И. Миних – в Вологде, Лесток – в Угличе, а потом в Великом Устюге. Мог считать себя счастливецом Э. И. Бирон, которого в 1742 году указом императрицы Елизаветы перевели из Сибири в Ярославль, где он прожил в хорошем климате двадцать лет.

Ссылка в Сибирь была одной из самых распространенных форм наказания политических

преступников. Немало попадало в Сибирь и, по терминологии XIX века, «замечательных лиц». По спискам ссыльных в Сибирь можно составить представление обо всей политической истории России, начиная с конца XVI века. Именно тогда в недавно основанный Пелым доставили первую партию ссыльных из Углича после гибели там царевича Дмитрия.

Самой мягкой формой сибирской ссылки было назначение попавшего в опалу сановника на какой-нибудь административный пост в Сибири. Людей пониже рангом определяли в сибирскую службу. Указ об этом часто предоставлял решать судьбу ссыльного сибирским властям: «Послать его в Сибирь и велеть сибирскому губернатору определить его там в службу, в какую пристойно». Естественно, что запись в сибирские служилые или в гарнизонные солдаты была резким служебным понижением для человека из столицы.

Русское посольство Ф. А. Головина, возвращавшееся из Китая в 1689 году, было спасено от нападения бурят отрядом служилых людей, которым командовал сосланный в 1673 году «на вечное житье» бывший гетман Украины Демьян Многогрешный. Ранее он был официально признан врагом России, а потом в ссылке верно служил ей, устрашая монголов и бурят своими набегами во главе казачьего отряда. Традиция «полезной» для казны и отечества ссылки в Сибирь как формы государственного освоения сибирских земель была продолжена и в XVIII веке.

Весьма оригинально поступили с «черным арапом» Абрамом Ганнибалом. Его ссылку по требованию А. Д. Меншикова весной 1727 года в Военной коллегии оформили как экстренную командировку в Казань.

Оттуда Ганнибала тотчас отправили в Тобольск и далее в Селенгинск, на границу с Китаем. «Командировка» затянулась до 1728 года, потом его арестовали, лишили гвардейского мундира и записали в майоры Тобольского гарнизона. И лишь в 1731 году набравший силу при Анне Иоанновне Б. Х. Миних сумел «вытащить» Ганнибала из Сибири и устроил его в Ревеле. В семье А. С. Пушкина помнили вполне правдоподобную легенду о том, что все царствование императрицы Анны Ганнибал прожил в постоянном страхе, ежеминутно ожидая посланцев из Тайной канцелярии, готовых отправить его в очередную «командировку». Но все же основная масса «замечательных лиц» отправлялась в Сибирь не на службу, а на житье, нередко с семьями и слугами. Некоторых же ожидала тюрьма в каком-нибудь дальнем остроге.



*Секретный возок,  
доставивший в Сибирь двух ссыльных поляков*

Знатных ссыльных везли в Сибирь обычно под конвоем, хотя и не с партиями ссыльных и каторжан. Командир конвоя получал специальную инструкцию о том, как везти ссыльных. Делать это надлежало «за твердым караулом, с осторожностью, тайно, чтоб они, колодники, не могли уйти и никого к ним не допускать». Н. Б. Долгорукая описывает, как всю семью Долгоруких со слугами везли до Касимова в их каретах, а потом перегрузили на специальное судно, которое дошло до Соликамска, где арестантов посадили на подводы и так довели до Тобольска.

Все долгие месяцы пути ссыльные не знали, куда их везут. Обычно, решая их судьбу, отправляя по



бездорожью в глухие места, власти не считались ни со временем года, ни с погодой, ни со здоровьем ссыльных. Яркое описание дорожных мук дал в своих письмах протопоп Аввакум. В 1690 году Василия Голицына с семьей сослали в Яренск. Ехали они, «прочищая вновь дорогу, в которых местех наперед сего никто тою дорогою не ежживал... через речки и через ручьи шли пеши, а сани на себе таскали. И... не доехав до Тотьмы города за версту, болчки (экипажи. – Е. А.) с княгинями и с детьми, и с жонками в воду все обломились, насилу из воды вытаскивали. И оттого они лежали в беспамятстве многое время», а невестка В. В. Голицына в Тотьме родила мертвого ребенка.

Также «в беспамятстве» были женщины семьи А. Г. Долгорукого, которую осенью 1730 года через горы, реки и леса везли в Березов. Об этом подробно пишет в «Своеручных записках» Н. Б. Долгорукая. Ссыльные находились в дороге месяцами, а отправленный из Петербурга в начале 1741 года М. Г. Головкин добирался до места ссылки почти два года! Поздней осенью 1744 года были вывезены из Ранненбурга на север члены Брауншвейгской фамилии, в том числе малые дети и больные женщины. Из-за грязи, дождей и снегопадов ехать было почти невозможно, от холодов страдали не только ссыльные, но и охрана. Однако Петербург был непреклонен, невзирая ни на что узников надлежало отправить на Соловки. Только когда они добрались до Холмогор, Елизавета Петровна отменила этот указ и приказала оставить семейство свергнутого императора в пустующем архиерейском доме.

В одних случаях ссыльным разрешали собрать какие-то вещи, взять деньги, в других – отправляли без всякой подготовки, что было для ссыльного тяжким

испытанием. Неким символом несчастья, разразившегося над головой светского, знатного человека, стала нагольная овчинная шуба, без которой ехать по русским дорогам, жить в сыром каземате или среди сибирских снегов было трудно. Многим современникам, видевшим ссыльных, это грубое одеяние бросалось в глаза. В такой шубе видели вернувшегося из Сибири фельдмаршала Миниха. Рваный полушубок подчеркивал для друзей Николая Новикова удручающие перемены, происшедшие в его облике за годы сидения в Шлиссельбурге.

Из Москвы в Тобольск ссыльных обычно сопровождали гвардейские офицеры и солдаты. Н. Б. Долгорукая вспоминает, что в Тобольске гвардейский офицер передал ссыльных местному конвою, «с рук на руки, как арестантов». «Плакал очень при расставании офицер, — продолжает она, — и говорил: "Теперь-то вы натерпите всякого горя, это люди необычайные, они с вами будут поступать, как с подлыми, никаково снисхождения от них не будет". И так мы все плакали, будто с сродником расставались, по крайней мере привыкли к нему: как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать». Это очень важное замечание — гвардейский офицер считался «своим», он был «прикормлен». Для новой же, сибирской, охраны петербургские знаменитости были уже просто ссыльными, хотя и богатыми.

Но жизнь есть жизнь, и ссыльным нужно было искать общий язык и с теми, на кого они вчера и не взглянули бы. Долгорукая описывает, как ей приходилось, можно сказать, прикрывая носик батистовым платочком, иметь дело с «мужланами»: «Принуждены новому командиру покорятца, все способы

искали, как бы его приласкать, не могли найти, да в ком и найти? Дай Бог и горе терпеть, да с умным человеком; какой этот глупый офицер был, из крестьян, да заслужил чин капитанской. Он думал о себе, что он очень великий человек и, сколько можно, надобно нас жестоко содержать, яко преступников. Ему подло с нами и говорить, однако со всею своею спесью ходил к нам обедать. Изобразите это одно: сходственно ли с умным человеком? В чем он хаживал: епанча солдацкая на одну рубашку, да туфли на босу ногу, и так с нами сидит? Я была всех моложе и невоздержана, не могу терпеть, чтоб не смеяцца, видя такую смешную позитуру...»

Место ссылки, если оно не было определено приговором, уточнялось администрацией сибирского губернатора. Обер-церемониймейстер Санти был отправлен в Сибирь с приговором: «Сослать из Москвы в ссылку под крепким караулом в Тобольск, а из Тобольска – в дальнюю сибирскую крепость немедленно». В Тобольске такой крепостью назначили Якутск. Но все же по столь неопределенному адресу чаще всего везли «подлых» преступников. Людям известным, знатным обычно определяли достаточно точный адрес и заранее готовили для них место.

Больше всего страдали те, кого отправляли по приговору: «сослать в самые дальние сибирские города». Где именно они находились, порой не знал никто, не только в Академии наук, но и в Сибирской губернской канцелярии в Тобольске. В 1741 году герцога Эрнста Иоганна Бирона и обоих его братьев решили заслать в «самые дальние города»: самого бывшего регента – в Пелым, Карла – в Колымский острог

Якутского уезда, а Густава – в Ярманг Якутского же уезда.

Кто из правительства Анны Леопольдовны придумал этот Ярманг – неизвестно. Но голова заболела у сибирского губернатора, который 30 ноября 1741 года сообщал в Петербург, что «о вышепомянутых Колымском остроге, да Ярманге, куда означенных арестантов послать велено, известия в Сибирской губернской канцелярии не имеется, кроме имеющейся ландкарты, по которой оныя зимовья найдены: Нижнее Колымское, Среднее Колымское, да Верхнее Колымское ж, которыя иметя по мере той карты в расстоянии от Якутека: Нижний в дву тысячах верстах, Средний – в тысяче пятистах пятидесяти, Верхний – в тысяче осьмистах пятидесяти верстах».

Далее выяснилось, что «острожка Ярманга на той карте не означено, и таких людей, кто б то место знал, в Тобольску не имеется. Токмо уведано, чрез прибывшаго из Охотска казака, который про оныя острожки слышал, что из оных острожков называется Нижний Колымский острог Ярмангою, потому что в тот острог бывает съезд», по-видимому, имелась в виду «ярманка» – ярмарка. Уточнить все, что касается «Колымской ярманки», братьям Биронам не удалось – как раз в этот момент к власти пришла Елизавета Петровна и назначила им новое место ссылки – Ярославль, где они и провели долгие годы. Что такое Ярманг, хорошо узнал в 1744 году другой ссыльный – М. Г. Головкин, который там и умер.

Ссылные, которых оставили если не в сибирской столице – Тобольске, то в крупных городах (Томске, Енисейске, Якутске, Охотске), оказывались удачливее тех, кого отвозили «на край света» – в маленькие

зимовья и остроги, вроде Нижнеколымска, Сургута, Усть-Виллюйска. Но и здесь условия ссылки были различны. Счастливец считал себя тот, кого послали не в Нижнеколымск у самого Северного Ледовитого океана, а в Среднеколымск, то есть поближе к центру Сибири. Только из Петербурга казалось несущественным, куда послать прожектора петровских времен Генриха Фика: в Зашивенск или в Жиганск, а потом перевести его из Жиганска в Средневиллюйское или в Верхневиллюйское зимовье. Для ссыльного же все это было очень важно – от места ссылки часто зависела его жизнь.



*Березов*

Так, граф Санти семь лет провел в кандалах в темнице Якутского острога, а потом его отвезли в Верхоленское зимовье. В 1734 году сибирский вице-губернатор разрешил ему переселиться в Иркутск, где итальянец жил вполне сносно, даже женился на дочери местного подьячего. Однако спокойная жизнь

продолжалась недолго: из Петербурга пришел указ выслать Санти в Усть-Виллюйский острог, под «крепкий караул».

Верхне-Виллюйск не так знаменит, как Березов, где отбывали ссылку А. Д. Меншиков, князя Долгорукие, А. И. Остерман. Б. Х. Миних стал преемником Бирона в Пельше. Почему из сотни не менее глухих и отдаленных мест Сибири для ссылки «бывших» назначались именно эти городки, ясно не всегда. Березов оказался удобен тем, что в остроге, переделанном из мужского монастыря, стоял обширный дом, были баня и кухня. Здесь можно было селить целые семьи ссыльных с многочисленными слугами. Здесь уже сложились проверенные временем условия для содержания преступников и для сносной жизни охраны. Впрочем, допустимо и иное объяснение: ссылка именно в Березов стала нарицательной, являлась подчеркнутой формой официальной мести: Меншикова сослали в Березов Долгорукие, потом их отправила на место Меншикова императрица Анна. Затем в Березове оказался А. И. Остерман – организатор ссылки Меншикова и один из судей над Долгорукими. Может быть, так осуществлялся известный принцип: «Не рой другому яму...» Кажется, что по тем же мотивам был сослан в Пелым и Миних. 9 ноября 1740 года он не только коварно сверг Бирона, но сам составил чертеж дома в Пельше для бывшего регента, куда его весной 1741 года и отправили. Пришедшая к власти Елизавета Петровна приказала вернуть Бирона в европейскую Россию, а Миниха, наоборот, поселить в том самом доме, который он заботливо приготовил для Бирона.

Ссылка на Камчатку считалась самой вольной – бежать оттуда ссыльным, как думали в Петербурге, было некуда. Ссылать туда начали с 1740-х годов. Ссыльные жили на полуострове достаточно свободно, занимались торговлей, учительствовали в семьях офицеров гарнизона. К началу 1770-х годов на Камчатке собрались люди, замешанные в основных политических преступлениях XVIII века. За одним столом тут сживали участники заговора 1742 года Александр Турчанинов, Петр Ивашкин, Иван Сновидов. Позже к ним присоединились заговорщики 1762 года Семен Гурьев, Петр Хрущов, а потом и заговорщик 1754 года знаменитый Иоасаф Батулин. Потом сюда приехал пленный венгр – участник польского сопротивления М. А. Беньовский. Он-то и организовал в 1771 году захват корабля, на котором группа ссыльных бежала в Европу. Эта скандальная история изменила прежде столь беззаботное отношение властей к дальней камчатской ссылке. Они ужесточили там режим. Довольно свободно чувствовали себя ссыльные в Охотске, особенно когда в 1730-е годы там обосновалась Камчатская экспедиция Беринга. Ей постоянно требовались люди, которых и находили среди сосланных государственных преступников.

Когда все «популярные» места ссылки оказывались заняты, выбор города или зимовья для ссыльных зависел от случайности – главное, считала власть, чтобы преступники жили подальше от центра, а также друг от друга, да не могли сбежать. В назначении тех или иных сибирских городов для поселения ссыльных не было никакой системы, места ссылки зачастую определялись наобум. Словом, прав Н. Д. Сергеевский, который писал, что «бесконечен список городов и мест, куда

направлялись ссыльные» XVII века. Но в XVIII веке этот список стал еще бесконечнее.

Жизнь ссыльных зависела от разных обстоятельств. Многие определял приговор, в котором было сказано о месте ссылки и режиме содержания. А градация, как известно, была широкой – от свободной жизни в Тобольске до «тесного» тюремного заключения в заполярном остроге.

Обычно прибывших к месту ссылки, в зависимости от меры наказания, заключали в городской острог, устраивали в пустующих домах обывателей или строили для них новое жилье, которое выглядело, как острог. Для сосланного в Пустозерск протопопа Аввакума и его подельников в 1669 году было приказано построить «тюрьму крепкую и огородить тыном вострым». В виде такого же лагеря-ostroга строили тюрьмы и в XVIII веке. В конце 1740 года в Пелым был срочно послан гвардейский офицер, чтобы возвести узилище для сосланного туда Э. И. Бирона с семьей. По описанию и рисунку, сделанному, как сказано выше, лично Минихом, видно, что для Бирона возводили маленький острог: «...сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом (т. е. вертикально – Е. А.) высокими и крепкими полисады из брусьев, которые проиглеть, как водится (т. е. наверху вбить заостренные железки. – Е. А.)... а ворота одни, и по углам для караульных солдат сделать будки, а хоромы б были построены в середине онаго острога». Вокруг палисада был еще выкопан ров.

На содержание ссыльных казной отпускались деньги, которых, как правило, не хватало – слишком



дорогой была жизнь в Сибири, да и с охраной приходилось делиться. Бывало так, что отпускаемые казенные деньги целиком оставались в карманах охранников, за что они позволяли ссыльным тратить без ограничений свои личные деньги, устраиваться с минимальным, хотя и запрещенным инструкциями, комфортом. А деньги у большинства состоятельных ссыльных водились. Женщины имели при себе дорогие украшения, которые можно было продать. То, что при выезде из Ранненбурга у Меншиковых отобрали абсолютно все, можно расценить как сознательное унижение русского Креза. Бирона при отъезде в Сибирь весной 1741 года лишили всех золотых вещей и часов, а серебряный сервиз обменяли на «равноценный» оловянный, но денег у бывшего регента все же не тронули. Деньги ссыльным были очень нужны. Приходилось за свой счет ремонтировать или благоустраивать убогое казенное жилище, заботиться о пропитании, что было нелегко – торжков и рынков в этих забытых Богом местах не водилось.

А. Н. Радищева, поселенного в 1793 году в Илимске, охраняли унтер-офицер и два солдата, но он мог совершать дальние прогулки по горам и лугам, а также собирать коллекции и гербарии, учить детей, пользоваться как врач местных жителей. Ему даже разрешили жениться на сестре своей покойной жены. Но так вольготно жилось не всем ссыльным. Князя А. А. Черкасского, жившего в ссылке в Жиганске в 1735-1740 годах, держали в тюрьме «в самом крепком аресте», не давая беседовать даже со священником, что обычно разрешалось самым страшным злодеям и убийцам.

Инструкции 1742 года об А. И. Остермане в Березове и Б. Х. Минихе в Пельше требовали от охраны

держат преступников в заточении «неисходно» и отводить только в церковь, где смотреть, чтобы никто из местных с ними не разговаривал. Особенно сурово наказали Санти, сосланного в Усть-Виллюйский острог под «крепкий караул», к нему не подпускали даже его слугу. Сосланному в Углич Лестоку разрешали гулять только по комнате, в которой он сидел, но при этом запрещали подходить к окнам.

Если не было каких-то особых распоряжений о «крепком» содержании (т. е. под караулом), то через несколько месяцев или лет ссыльные получали некоторые свободы. Им разрешали выходить из острога или из дома сначала с конвоем, а потом и без него, бывать в гостях у местных жителей, иметь книги, заниматься сочинительством, научными опытами, вести хозяйство, выезжать на рыбалку и охоту. Важно было иметь в столице влиятельных друзей и активных родственников, которые могли добиться облегчения ссылки. О том, что делалось у ссыльных, в Петербурге узнавали из регулярных рапортов охраны и местных властей, многочисленных самодетельных доносов. Поэтому при дворе до мелочей знали, чем дышали ссыльные, что сказал за обедом князь Иван князю Алексею. Так обстояло с Долгорукими, жившими в 1730-х годах в Березове. Ссыльных всюду могли подслушать, а стать же жертвой доносчика было им крайне опасно. Княгиня Дашкова, останавливаясь по дороге в ссылку на ночевку, приказывала своим людям заглядывать в погреб – «не спрятались ли там лазутчик Архарова для подслушивания наших разговоров».

Для ссыльных было чрезвычайно важным, как складывались их отношения с охраной и местными властями. Одни ссыльные умели ласками и подарками

«умягчить» начальников охраны, воевод и комендантов, другие же ссорились с ними, страдали от придирок, самодурства и произвола. Подчас несовпадение характеров, неуживчивость делали жизнь ссыльных тяжелым испытанием. Местные власти и охрана могли при желании устроить своим подопечным подобие ада на земле. К тому же постоянные оскорбления простых солдат и офицеров были особенно мучительны для некогда влиятельных людей, перед которыми ранее все трепетали и унижались. Когда казачий урядник отобрал весь улов рыбы у ссыльного М. Г. Головкина, тот в сердцах сказал: «Если бы ты в Петербурге осмелился сделать мне что-нибудь подобное, как ты меня обидел, то я затравил бы тебя собаками». Но потом, остыв, граф пригласил нахала в свою хижину на выпивку: с волками жить – по волчьему выть!

А. Д. Меншиков сразу же наладил хорошие отношения с начальником охраны в Ранненбурге капитаном Пырским и дарил ему богатые подарки. За это Пырский предоставлял Меншикову больше свободы, чем полагалось по инструкции. Так же вел себя с начальником охраны капитаном Мясновым и князь С. Г. Долгорукий, поселенный в Ранненбург после Меншикова, в 1730 году Мяснов получал от ссыльного вельможи роскошную шпагу, ткани, деньги и др. Вопреки инструкции Мяснов позволял ссыльным вести обширную переписку, выходить из крепости и вообще чувствовать себя как дома.

Герцог Бирон, оказавшись в ссылке в Ярославле, страдал от самодурства воеводы и особенно воеводши Бобрищевой-Пушкиной, как-то особенно его утеснявшей. Она, как в 1743 году писал в своих челобитных императрице Елизавете вчера еще страшный правитель

России, «хочет меня и мою фамилию крушить, мучить и досаждать». Не меньше неприятностей Биронам доставлял офицер охраны: «Через восемь лет принуждены мы были от сего человека столько сокрушения претерпевать, что мало дней таких проходило, в которые бы глаза наши от слез сохали. Во-первых, без всякой причины кричит на нас и выговаривает нам самыми жестокими и грубыми словами. Потом не можем слова против своих немногих служителей сказать – тотчас вступается он в то и защищает их... Когда ему, офицеру, угодно, тогда выпускает нас прогуливаться, а в протчем засаживает нас, как самых разбойников и убийцов». Между тем из всех ссыльных XVIII века Бирон был устроен в Ярославле лучше всех. Императрица Елизавета назначила ему хорошее содержание, в ссылку привезли библиотеку, мебель, охотничьих собак, экипажи, ружья, привели лошадей. Бирон мог гулять по городу, принимать гостей. Верхом ему разрешалось отъезжать от Ярославля на 20 верст. О таких условиях большинство знатных ссыльных могли только мечтать. Но у Бирона были постоянные свары с администрацией и охраной.

Иной была обстановка в Устюге Великом, где с 1753 по 1762 год сидел Лесток. Он жил с женой бедно, но весело, подружился со своим приставом. Пристав приводил к знатному узнику гостей, они играли в карты, и Лесток даже выигрывал себе на жизнь какие-то деньги. Различия в том, как жили Бирон и Лесток, объясняются во многом разными характерами этих людей. Спесивый и капризный Бирон наверняка не мог найти общего языка с любой охраной, тогда как веселый, неунывающий повеса Лесток вызывал у людей симпатию. Хорошие отношения с приставом, охраной облегчали узнику унылую жизнь в забытом Богом месте. Начальник охраны мог лишь одним

педантичным исполнением инструкции сделать эту жизнь для преступников невыносимой.



*И. Г. Лесток*

Тот офицер, командир конвоя, что так не понравился своим внешним видом и повадками молоденькой княжне Долгорукой, оказался впоследствии весьма либеральным охранником и добрым человеком. Это был капитан Иван Михалевский, выслужившийся в офицеры из простых драгун. Доставив Долгоруких в Березов, он охранял их до 1735 года. Михалевский сблизился с ссыльными, делал им различные поблажки. К этому его побуждали обстоятельства. Как начальнику охраны, ответственному за жизнь и здоровье ссыльных, ему можно посочувствовать – Долгорукие жили недружно, постоянно ссорились и дрались. Михалевский опасался, как бы родственники, скученные в замкнутом пространстве острога, не поубивали друг друга. Ему

приходилось постоянно разбирать свары князей и княжон, составлять протоколы о побоях – а вдруг кто-нибудь из них будет убит, а спросят ведь с него, начальника охраны! Поэтому Михалевский, чтобы разрядить обстановку в остроге, вопреки инструкции стал выпускать Долгоруких в город. Вольности, которые давал Михалевский ссыльным, принесли ему в конечном счете несчастье: за нарушение инструкций его судили и приговорили вначале к расстрелу, а потом к ссылке в Оренбург «в тягчайшую работу вечно». Освободили Михалевского от каторги при Елизавете Петровне, но он остался без пропитания, чина и не у дел.

Вопреки строгим предписаниям из столицы, источником льгот для ссыльных становились, помимо начальника охраны, и местные чиновники – воеводы, коменданты. Они, живя рядом со ссыльными, как и охрана, сближались с узниками. Воеводам и комендантам сибирских городков – мелким служилым людям – льстило близкое знакомство со знаменитостями, которых в Петербурге они могли видеть только в окне кареты. Здесь, в глухом сибирском углу, такие люди оказывались в полной власти воеводы. Каждый из провинциальных воевод мог повторить слова воеводы Березова XVII века князя О. И. Щербатова: «Я здесь не Москва ли?» Воевода, его жена начинали ходить в гости к узникам острога, принимать их у себя, совершать вместе прогулки, ездить на охоту. Охрана, также зависимая от местного начальства, смотрела на эти вольности сквозь пальцы. Кроме того, различные льготы, как известно, покупались подарками и деньгами – власть везде была продажной. Радищев, например, даже жаловался иркутскому губернатору на постоянные вымогательства илимских чиновников. Они были убеждены, что бывший

начальник Петербургской таможни прислан в Илимск не за то, что он «бунтовщик хуже Пугачева» и сочинитель крамольного «Путешествия», а за банальные взятки и привез с собой толстый бумажник. Однако чиновников, офицеров и солдат, уличенных в «слабом содержании» ссыльных, строго наказывали.

Сибирские историки утверждают, что благодаря образованным ссыльным в сельском хозяйстве диких сибирских и других уголков произошли благотворные перемены. Князь В. В. Голицын в Пинеге, а барон Менгден в Нижнеколымске разводили лошадей. М. Г. Головкин, забыв про свои подагру и хирагру, которые мучили его всю дорогу, занялся рыболовством в заполярном Ярманге и достиг в этом больших успехов. Некоторые ссыльные, имевшие практическую жилку, занимались даже коммерцией. Бывший вице-президент Коммерц-коллегии Генрих Фик не оставил знакомого дела и в Сибири. Он вовлек в торговые операции с туземцами свою охрану и посылал в Якутск солдат для продажи купленной им у туземцев пушнины.

Фрейлина Анны Леопольдовны Юлия Менгден вместе с несколькими другими придворными несчастных брауншвейгцев просидела под арестом в Ранненбурге с 1744 по 1762 год. Ссыльные жили в недостроенном доме, в холоде и отчаянно нуждались во всем. Юлия перешивала свои богатые шелковые юбки в кокошники, и жена охранявшего их солдата выменивала в ближайшей деревне эти изделия на лен и шерсть. Барон Менгден и гувернер принца Антона Ульриха полковник Гаймбург чесали, разматывали эту шерсть, а потом Юлия из нее пряла, ткала и вязала. На эти произведения рукоделия они и жили. Сидевшая в Устюге Великом со своим мужем

Лестоком графиня Аврора Мария сама стирала белье, варила пиво, пекла хлеб.



*Б. Х. Миних*

Успехами в домоводстве и экономии особенно прославился Б. Х. Миних, проведенный в Березове двадцать лет. Пока его не выпускали из острога, он разводил огород на валу, а потом занялся скотоводством и полеводством. Опальный фельдмаршал сумел провести годы ссылки с достоинством, пользой и бодростью. В одном из своих писем он сообщал брату: «Место в крепости болотное, да я уже способ нашел на трех сторонах [крепостных стен], куда солнечные лучи падают, маленький огород... устроить. Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время сажением и сеением моцион себе делаем и сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя много за стужею в совершенный рост или зрелость



не приходит (напомню, что Пелым находится за полярным кругом. – Е. А.), при рачительном разведении чрез год тем пробавляемся... В наших огородах мы в июне, июле и августе небезопасны от великих ночных морозов. И потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем».

Долгими полярными ночами при свече фельдмаршал перебирал и сортировал семена, вязал сети, чтобы «гряды от птицы, кур и кошек прикрыть», а супруга его, Барбара-Элеонора, сидя рядом, латала одежду и белье. В это время где-то за тысячи верст на восток от Березова, в Ярманге, графиня Е. И. Головкина, утомившись от хозяйственных дел, читала вслух книги своему мужу М. Г. Головкину. Много дел ожидало Миниха и на скотном дворе, где у него были коровы и другая живность. В отсутствие пастора он сам вел для домашних богослужение. Кроме того, Миних посылал пространные письма императрице Елизавете, Бестужеву-Рюмину, сочинял проекты. Конечно, эти и многие другие вольности, особенно переписка, стали возможны только благодаря благоволению императрицы – ведь брать перо в руки ссыльным обычно не позволяли.

И все же случалось, что некоторые ссыльные даже в Сибири сумели сделать карьеру, не будучи при этом официально помилованы. Объяснить это можно тем, что в Сибири постоянно нуждались в специалистах, чиновниках – из России служить туда ехали только такие редкие фанатики дела, каким был Витус Беринг и ему подобные. Сосланный в 1727 году по делу П. А. Толстого Г. Г. Скорняков-Писарев просидел в Жиганском зимовье до весны 1731 года, когда пришел указ императрицы Анны о нем. В указе не было ни единого слова о помиловании бывшего обер-прокурора, но

предписывалось: Скорнякова-Писарева определить в Охотск с тем, «чтобы он имел главную команду над тем местом». Так, оставаясь формально ссылкой, Скорняков получил огромную власть «командира Охотска», заложил там морской порт, но потом провинился перед государыней (слишком много воровал и бесчинствовал). Его арестовали, посадили в тюрьму и только в декабре 1741 года указом новой императрицы Елизаветы вернули из ссылки.

Знатных преступников конца XVII – первой четверти XVIII века обычно ссылали со всей семьей. Причина этого – в устойчивых, идущих с древних времен традициях, когда родственники несли ответственность за деяния своего сородича – государственного преступника. Они рассматривались как вероятные соучастники преступления или неизветчики, особенно если речь шла об измене или побеге за границу.

Вину с преступником разделяли прежде всего жена, дети, реже – родители, братья, сестры. Остальные родственники подвергались опале и наказанию только в том случае, если они были прямыми соучастниками преступления. В приговорах по крупнейшим политическим делам обычно суровее других родственников наказывали сыновей, которые несли службу с отцами-преступниками. Их могли вместе казнить (отец и сын Иван и Андрей князя Хованские, 1682 г.), сослать в бессрочные ссылки (отец и сын князя В. В. и А. В. Голицыны, 1689 г.), сажать в тюрьмы (отец и сын Петр и Иван Толстые, 1727 г.), изгонять из гвардии в армию с теми же чинами (Иван и Федор Остерманы), хотя вина сыновей сановников была весьма сомнительна и в приговоре ее, как правило, не детализировали – сыновья шли как сообщники, причем их наказывали не за

вину, а за родство, с целью предупредить на будущее возможную месть.

Так поступили с малолетними детьми А. П. Волынского, которых сослали в 1740 году в Сибирь, видя в них возможных самозванных претендентов на престол – ведь под пыткой у их отца вымучили признание, что он хотел посадить кого-либо из своих детей на русский трон. И хотя Волынский потом от этих показаний отрекался, было поздно. В приговоре подробно описывалось, как надлежит поступить с детьми Волынского: «Детей его сослать в Сибирь в дальние места, дочерей постричь в разных монастырях и настоятельницам иметь за ними накрепчайший присмотр и никуда их не выпускать, а сына в отдаленное же в Сибири место отдать под присмотр местного командира, а по достижении 15-летнего возраста написать в солдаты вечно в Камчатке».

### ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Настоящей расправой с целым родом можно назвать то, что в 1730-х годах сделали власти с князьями Долгорукими. В 1730 году, после опалы и ссылки всей семьи князя А. Г. Долгорукого в Сибирь, удар был нанесен и по его братьям: Сергея и Ивана послали в ссылку, одного – в Ранненбург, другого – в Пустозерск, третьего же брата, Александра, отправили служить во флот на Каспий, а сестру А. Г. Долгорукого заточили в Нижнем Новгороде в монастырь. Еще более сурово поступили в 1739 году с сыновьями А. Г. Долгорукого, младшими братьями князя Ивана Долгорукого, которые выросли в сибирской ссылке. После жестоких розысков в Тобольске их

приговорили: Николая, «урезав язык», – к каторге в Охотске, Алексея – к ссылке пожизненно на Камчатку простым матросом; Александра – к наказанию кнутом. Княжны Екатерина, Елена и Анна Алексеевны Долгорукие – сестры И. А. Долгорукого – в 1740 году были высланы под конвоем в Сибирь в распоряжение митрополита Сибирского, которому предписывалось назначить монастыри и «в тех монастырях по обыкновению постричь их в монахини».

С 1720-х годов женам и детям стали чаще, чем раньше, предоставлять выбор: сопровождать в ссылку мужа или отца либо остаться дома. В 1727 году правом не ехать в Сибирь за ссыльным мужем графом Санти воспользовалась его жена. В 1733 году решением Синода жена сосланного в Сибирь князя Юрия Долгорукого Марфа была разведена с преступником и тогда же просила вернуть ей часть отписанных у мужа вотчин. Но подобные случаи кажутся исключениями из общих правил. Для простолюдинов выбора ехать или не ехать попросту не было – жены обычно следовали за своим сосланным мужем по этапам, а в местах ссылки и каторги даже селились вместе с преступниками в общих казармах или в особых избах внутри острога. Для женщины же света отказаться от мужа означало обречь себя на муки совести, упреки окружающих, которые, несомненно, осудили бы ее за такой поступок. Христианская этика требовала, чтобы жена поделила участь мужа. И все же добровольное согласие последовать за ссыльным становилось подвигом, выразительным актом самопожертвования.



*Н. Б. Долгорукая*

Самой известной из добровольных ссыльных стала 14-летняя графиня Наталья Борисовна Долгорукая, дочь фельдмаршала Б. П. Шереметева, которая весной 1730 года отказалась вернуть обручальное кольцо своему жениху князю И. А. Долгорукому после того, как его и всю семью Долгоруких подвергли опале. Вопреки советам родственников она обвенчалась с суженым в сельской церкви и отправилась за мужем сначала в дальнюю деревню, а потом и в Сибирь. Позже, в «Собственноручных записках», она писала: «Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласитца не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участие в

моей любви. Я не имела такой привычки, чтоб севодни любить одново, а завтра другова. В нонешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась для чево я за него пошла». Факты, известные нам из жизни семьи Долгоруких, позволяют утверждать, что сказанное Н. Б. Долгорукой в ее мемуарах – не просто красивая фраза, она действительно стойко несла свой крест жены ссыльного.

Неудивительна и та сцена, которую увидел князь Я. П. Шаховской, когда пришел исполнить императорский указ о ссылке бывшего фельдмаршала Миниха в Сибирь. Возле казармы Петропавловской крепости, где сидел Миних, он застал супругу Миниха графиню Барбару-Элеонору, урожденную баронессу фон Мольцан, которая «в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном (т. е. спокойном. – Е. А.) виде, скрывая смятение духа, была уже готова». Так же поступили и жены Остермана, Левенвольде, Менгдена, которым, как и жене Михаила Головкина – статс-даме двора, был объявлен указ императрицы «ежели хотят, то могут с ними (мужьями. – Е. А.) ехать на житье в назначенные им места, кои... охотно с мужьями и поехали». В 1753 году освобожденная из крепости графиня Лесток добровольно поехала к мужу в Устюг Великий и провела в ссылке вместе с ним почти десять лет.

Жена Григория Винского, преследуемая выбежавшими за ней из дома родственниками, буквально впрыгнула на ходу в кибитку мужа – его увозили из Петербурга в вечную оренбургскую ссылку. Эта 16-летняя женщина была к тому времени беременна.

Власти не ставили препятствий и сестре покойной жены Радищева, когда она захотела вместе с племянниками приехать к ссылке в Илимск. Потом ей, как уже сказано, разрешили выйти замуж за автора злосчастного «Путешествия».

Известен единственный случай, когда за ссылкой женой добровольно последовал ее муж. Это произошло в 1743 году. За привлеченной по делу Лопухиных фрейлиной Софьей Лилиенфельд поехал в Сибирь ее муж – камергер Карл Лилиенфельд с двумя малолетними детьми. Ранее, во время следствия по делу жены, он добровольно сидел с ней в Петропавловской крепости.

По доброй воле за ссылкой вельможей могли ехать его дальние родственники и вольнонаемные слуги. Не отписанных в казну дворовых и крепостных, естественно, никто не спрашивал – их судьбу определял господин. Согласие свободного человека сопровождать ссылку или каторжного лишало его прав на возвращение по своей воле, хотя преступником он при этом и не считался. Лишь смерть ссылку почти наверняка означала освобождение от ссылки его родственников и слуг. Как только в июне 1714 года Петр I получил известие о смерти князя В. В. Голицына, он сразу же распорядился вернуть из ссылки его вдову и сына. Так же быстро освободили из Березова Александра и Александрю – сына и дочь Меншикова, а потом вдову и детей казненного князя И. А. Долгорукого – Н. Б. Долгорукую с сыновьями Михаилом и Дмитрием. Но и тут бывали исключения. Вдова умершего в Березове в 1747 году Остермана, Марфа Ивановна, получила свободу лишь в 1749 году, да и то, по-видимому, с условием пострижения ее в монастыре.

Особой и совершенно несчастной была судьба приближенных Брауншвейгской фамилии. Как известно, в 1744 году бывшего императора Ивана Антоновича и его родителей вывезли из Ранненбурга в Холмогоры. В Ранненбурге были оставлены, как уже сказано выше, только некоторые из членов свиты: фрейлина Юлия Менгден, полковник Гаймбургер и другие. Никакой вины за ними не числилось, и тем не менее их продержали под арестом 18 лет! И лишь в 1762 году Екатерина II распорядилась освободить Юлию Менгден «от долголетнего ея страдания».

Охрана терпела нужду и тяготы ссылки вместе со ссыльными. В XVIII веке начальником конвоя, а потом охраны на месте ссылки обычно назначали офицера гвардии. Предстоящая дальняя командировка мало радовала служилого человека. Граф Гордт, попавший в Петропавловскую крепость в конце 1750-х годов, пишет, что офицер, доставивший его в крепость, прежде такой оживленный и разговорчивый, стал вдруг печален и на участливый вопрос узника «чистосердечно признался мне, что, судя по всем признакам, участь моя должна решиться секретною ссылкой в Сибирь и что по обыкновению стража, отряжаемая к заключенным, должна следовать за ними и вместе с ними жить среди мрака и нищеты».

Начальник охраны Санти в Усть-Вилюйске подпрапорщик Вельский сообщал в 1738 году начальству об ужасных условиях их жизни: «А живем мы – он, Сантий, я и караульные солдаты в самом пустынном краю, а жилья и строения никакого там нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним,



Сантием, во всеконечной нужде: печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы от жестокого холода, хлебов негде испечь, а без печеного хлеба претерпеваем великий голод и кормим мы Сантия, и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул некем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может». Освободила Санти лишь императрица Елизавета в 1742 году.

Не легче приходилось и охране ссыльных в разных медвежьих углах европейской России. Начальник охраны старицы Елены – бывшей царицы Евдокии – в 1720 году жаловался на тяжелейшие условия жизни зимой в Староладожском монастыре, где негде было укрыться от холода. О майоре гвардии Гурьеве – начальнике охранной команды в Холмогорах (там содержали Брауншвейгскую фамилию) – в 1745 году сообщалось, что он «впал в меланхолию» и не оправился от нее даже тогда, когда к нему приехали жена и дочери. Его преемник секунд-майор Вындомский завалил вышестоящие власти просьбами об отставке, ссылаясь на ипохондрию, меланхолию, подагру, хирагру, почти полное лишение ума и прочие болезни. И его понять можно – ведь он охранял Брауншвейгское семейство 18 лет! Так что не зря симпатичного графу Гордту молодого караульного офицера охватила тревога – ему совсем не хотелось отправляться из Петербурга даже со знатным узником на Соловки, а тем более в Сибирь.

Ссылка на каторжные работы стала широко практиковаться при Петре I. Как уже сказано выше, и раньше преступников приговаривали к тяжелым работам, но их масштабы не шли ни в какое сравнение с тем, что предпринял Петр I. Начало этому грандиозному

«эксперименту» по использованию подневольного труда на огромных стройках было положено после Азовского похода 1696 года, когда стали поспешно укреплять взятый у турок Азов, а неподалеку заложили крепость, город и порт Таганрог. Азов быстро превратился в место каторги для стрельцов и других политических и уголовных преступников. При строительстве Петербурга, Кроншлота азовский опыт пригодился. Сибирская каторга в первой четверти XVIII века стала второстепенной, уступая строящемуся Петербургу, но к концу 1720-х годов поток ссыльных в Сибирь возрос и с тех пор никогда не ослабевал.

Сосланные на каторгу различались по степени поражения их в правах. Те, кого отправляли на определенный срок или «до указа» (да еще без телесного наказания), прав своих не теряли и по окончании каторги или ссылки могли вернуться в общество. Совсем иначе обстояло дело с теми, кого отправляли «в вечную работу», «до скончания лет». Они теряли свою фамилию, имя, на лицах им ставили «знаки», их считали заживо похороненными. В указе Петра I 1720 года сказано, что женам тех, кто сослан на каторгу «навечно», разрешалось идти заново замуж или в монастырь, так как супруг такой женщины как бы заживо похоронен («понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы умре»).

Отправка каторжных существенно отличалась от высылки опальных в дальние деревни, в тюрьмы, монастыри или в сибирское поселение. Уже в первой половине XVIII века из приговоренных к каторге стали формировать большие группы в особых пересылочных тюрьмах. Естественно, политических преступников смешивали с уголовными – так в России было почти всегда. Собранные из разных мест партии

концентрировались на перевалочных пунктах, а потом каторжники, скованные и помеченные на руках особой татуировкой в виде креста, двигались под конвоем к месту назначения. В Вологде формировались партии для Севера, в Петербурге – для Северо-Запада.



*Каторжанин*

Самым крупным местом сбора каторжных в XVIII веке стала Москва. Здесь, в главном тюремном остроге и в Бутырской тюрьме, собирали партии для отправки в Оренбуржье, на Урал и в Сибирь. Отправки из Москвы каторжные ждали месяцами. Затем, когда скапливалось не менее 200 человек, составляли и уточняли списки

колодников, назначали конвой, выделяли деньги на содержание каторжных в пути. В партию включали всех без разбора – политических и уголовных преступников, рецидивистов и крестьян, сосланных помещиками по закону 1762 года, убийц и бродяг. Из Москвы партии уходили два раза в год, весной и осенью.

Началом долгой многомесячной дороги становилась знаменитая Владимирка (ныне шоссе Энтузиастов). Владимирка вошла в сознание многих поколений русских людей как дорога в земной ад. С ней связано немало горьких и насмешливых пословиц: «Услан березки считать», «Пошел по широкой, где березы посажены» (в начале XIX века Владимирку расширили и усадили по обочинам березами), «Туда широка дорога, да оттоле узка», «Пошел соболей ловить». Каторжные шли в ножных кандалах, да их еще сковывали попарно, а пары соединялись с другими единым канатом, металлическим прутом или цепью. Процедура эта называлась «замкнуть (заковать, запереть) на прут» или «одеть на канат». Часть пути партии проделывали пешком (примерно по 30 верст в день), часть пути колодников везли на речных судах и на телегах. Партия преступников шла под охраной солдат, окружавших арестантов кольцом. Следом тащился обоз с вещами каторжан и ссыльных, на подводах же, но с охраной, везли ослабевших и больных преступников. Тут же шли и ехали их родственники, которым разрешалось на привалах подходить к своим. По материалам XVIII века неизвестно, чтобы каторжане получали особую одежду с «латкой» – четырехугольным суконным значком, вшитым в шинель на спине, а также, чтобы их брили (полголовы от лба до затылка или от уха до уха). Все это стало нормой лишь в XIX веке.



*Заводская тюрьма для рабочих завода Демидовых*

По прибытии в Тобольск – столицу Сибири – конвой сдавал каторжан местному конвою. Юридически каторжники, как и сосланные на поселение, переходили теперь под начало сибирского губернатора. Его канцелярия занималась их сортировкой и назначала для каждого преступника конкретное место каторги и род занятий. Сибирский губернатор, как и другие воеводы (Иркутск, Тюмень были также фильтрационными центрами), мог сам решать судьбу многих из прибывших каторжан и ссыльных: одних мог оставить в Тобольске при каком-нибудь деле, других – записать в солдаты, третьих (владеющих профессией) – отправить на местные заводы, всегда нуждавшиеся в рабочих руках. Известно, что Демидовы и другие заводчики пользовались, подчас незаконно, трудом присланных в Сибирь каторжан.

В Сибири, как и в Европейской части страны, было несколько наиболее известных мест каторги. Их «популярность» объяснима тем, что местная администрация постоянно требовала каторжников, без труда которых тогдашние сибирские стройки были бы попросту невозможны. Открытие серебряных копей в Нерчинске в 1703 году, при жестокой нехватке серебра в России, привело к высылке именно туда многочисленных каторжных групп, в которые попадали и политические. В Нерчинске каторжников заставляли добывать в рудниках и плавить на заводах серебро. В конце XVIII – начале XIX века Нерчинск, наряду с Иркутском, стал главной каторгой страны, а его название сделалось нарицательным. А. С. Пушкин в своем стихотворении «Царь Никита и сорок его дочерей» писал, что народ, сплетничая о физиологии царевен,

...Ахал, охал, дивовался,  
А иной хоть и смеялся,  
Да тихонько, чтобы в путь  
До Нерчинска не махнуть.

Камчатские экспедиции Беринга в 1720-1740-х годах превратили Охотск в важный центр государственного освоения Дальнего Востока, и это определило приток каторжных в этом направлении. Позже, с окончанием Камчатских экспедиций, в подготовке которых использовали каторжан, каторга эта «заглохла».

В 1740-1750-х годах увеличился приток каторжан и ссыльных в Оренбург. Город, как известно, начинал строиться дважды: первая закладка оказалась топографически неудачной, поэтому город перенесли на

другое место. На стройке постоянно не хватало рабочих, как и военных для местного гарнизона. Там же их использовали для работы в каких-то шахтах.

В середине XVIII века знаменита была каторга в Рогервике (Балтийский порт, ныне Палдиски, Эстония). Туда ссылали приговоренных к смерти преступников, которых запретила казнить императрица Елизавета Петровна. Каторга в Рогервике возникла в конце 1710-х годов, когда Петр I решил создать незамерзающую военно-морскую базу для Балтийского флота. Для этого требовалось материк соединить молем с лежащим в версте от него островом Рогер. Ни сваи, ни ряжи (срубы, заполненные камнем) здесь не помогали из-за глубин и частых штормов. Поэтому работа каторжных, как писал А. Т. Болотов, служивший там начальником конвоя, состояла «в ломании в тутошнем каменистом берегу камней, в ношении их на море и кидании в воду, дабы сделать от берега до острова каменную широкую плотину, которые они называли "мулею"». Так как глубины у этой части побережья достигали 30 сажений (более 60 м), то каторга эта стала Сизифовым трудом – зимние штормы уничтожали все, что делали рабочие за лето, и сооружение мола начиналось сызнова. За сорок лет непрерывной работы длина мола достигла двухсот сажений. Благодаря этому «благоприятному» обстоятельству Рогервик стал каторгой на весь XVIII век. В конечном счете «муля» в XIX веке была построена.

Каторжане работали и в рудниках, шахтах, на заводах, на строительстве. Они копали и таскали землю, валили и перевозили лес, забивали в землю сваи. Как долго каторжники работали при строительстве Петербурга, установить трудно, хотя следует признать, что в массовых масштабах их услугами пользовались

только в первые годы возведения новой столицы, позже их труд был признан неэффективным.

При Петре I каторжников использовали, как уже сказано, в виде движущей силы галерного флота. Гребля считалась тяжелейшим делом. На каждую скамью (банку) сажали по пять-шесть гребцов, а всего на галере их было 100-130 человек. Гребцов к банке приковывали цепями. Гребля могла продолжаться без перерыва по многу часов. Чтобы не допустить обмороков от голода и усталости, гребцам клали в рот кусок хлеба, смоченный в вине. Обычно же на шее каторжников висел кусок пробки – кляп. Его засовывали в рот по особой команде «Кляп в рот», которую давали охранники. Делалось это для того, чтобы не допустить лишних разговоров. В руках охранника был бич, который он сразу же обрушивал на зазевавшегося или усталого каторжника. Его могли забить до смерти, а потом, расковав, выбросить за борт. С весны до осени гребцы спали под открытым небом, прикованные к банкам, а в шторм или в морском бою гибли вместе с галерой. Зимой каторжные жили в остроге, и их выводили на работы: они забивали сваи, таскали землю и камни.

В течение всего XVIII века каторжные работали на многочисленных промышленных предприятиях столицы. Государство передавало преступников предпринимателям для работ на мануфактурах. В то время труд и жизнь работных людей и каторжных были схожими. Тогдашние заводы и мануфактуры походили на тюрьмы, что легко позволяло использовать на работах там преступников.

Женщин-каторжанок на тяжелые работы в карьере или на стройке обычно не посылали не по гуманным



соображениям, а потому, что для них там не было работы по силам. Преступниц отправляли на мануфактуру – прядильный двор – навечно или на несколько лет. Герцог Голштинский Карл Фридрих в 1723 году осматривал прядильный двор голландского купца Тамеса в Петербурге. Как пишет сопровождавший герцога Ф. В. Берхгольц, хозяин показал высокому гостю первую комнату, где за прялками сидело около тридцати исключительно молоденьких и хорошеньких, нарядно одетых женщин и девушек, приговоренных к десяти и более годам заключения, однако между ними виднелись и особы с вырванными ноздрями. На замужних женщинах гости увидели шапки из золотой и серебряной парчи с галуном! Берхгольц отмечает замечательную чистоту комнаты. Вместе с герцогом он любовался плясками, которые устроили девицы, причем на балалайке играла предшественница кавалерист-девицы Надежды Дуровой – женщина, которая тайно семь лет служила в драгунах, но потом была разоблачена и сослана на каторгу.

Вероятно, у голштинских гостей осталось замечательное впечатление о посещении этой мануфактуры, хотя вся экскурсия и самодеятельность была типичной показухой для иностранцев. На самом деле прядильный двор был самой тяжелой каторгой, где женщины работали непрерывно, как на галерах, спали прямо на полу, у своих прялок. Их плохо кормили и постоянно били надсмотрщики. Берхгольц, проходя из «концертной палаты» через одну из комнат прядильного двора, чуть не задохнулся от смрада, который оттуда шел («воняло почти нестерпимо»).

Для жилья каторжникам сооружали «каторжные дворы», или остроги. Они были и в Сибири, и в других местах. Сохранился рапорт А. Д. Меншикова Петру I из

Петербурга за июль 1706 года: «Острог каторжным колодникам заложили». Речь идет об остроге на месте современной площади Труда. Позже острог перенесли на реку Пряжку, а в 1742 году – на Васильевский остров, к Галерной гавани. По-видимому, именно в этом остроге во время наводнения 1777 года погибло около 300 арестантов. Каторжный двор был и на Городской (Петроградской) стороне, и возле Литейного двора.

Жизнь каторжных подробно описывает Болотов: «Собственное жилище их... состоит в превеликом и толстом остроге, посредине которого построена превеликая и огромная связь (т. е. сруб, казарма, барак. – Е. А.), разделенная внутри на разныя казармы или светлицы. Сии набиты были полны сими злодеями, которых в мою бытность было около тысячи; некоторые жили внизу на нарах нижних или верхних, но большая часть спала на привешенных к потолку койках». Как и везде, политических и уголовных преступников держали вместе. Не делали различий по социальному положению и происхождению каторжан. Болотов писал: «Были тут знатные, были дворяне, были купцы, мастеровые, духовные и всякаго рода подлость... кроме русских, были тут люди и других народов, были французы, немцы, татары, черемисы и тому подобные».

Командиры назначенных к охране острога гарнизонных и армейских полков стремились скрасить себе тяжелую жизнь на каторге тем, что набивали карманы за счет заключенных. Взятки позволяли некоторым узникам избежать общих работ на каменоломнях и вообще годами не выходить из казармы с кайлом или тачкой. Власть командиров над заключенными была велика, а наказания и побои являлись обычной картиной. Молодой офицер Болотов,

заметив, что сидевший на верхних нарах каторжный сбрасывал на него вшей, приказал «дать ему за то слишком более ста ударов, ибо бить их состояло в моей власти».

Охрана такого большого числа преступников была делом сложным и опасным, несмотря на предосторожности – всех каторжных держали в кандалах, а некоторые, как пишет Болотов, «имели двойные и тройные железа, для безопасности, чтоб не могли уйти с работы». Против побегов использовали, как и в тюрьме, цепи, колодки, различные стреноживающие узника снаряды.

Важно заметить, что при отправке человека на каторгу (особенно – вечную) жены и дети освобождались от обязанности следовать за наказанным мужем и отцом не только потому, что древний закон родовой ответственности перестал действовать, но главным образом потому, что на каторге преступники не жили вместе с семьями, как ссыльные. Их труд требовал для них тюремного содержания. Тюрьмой и являлся каторжный двор на территории завода. Если работы были в стороне от каторжного двора, то все переходы скованных каторжных усиленно охранялись. Как пишет Болотов, в Рогервике «каторжных водили на работу окруженных со всех сторон непрерывным рядом солдат с заряженными ружьями. А чтоб они во время работы не ушли, то из того же камня сделана при начале мули маленькая, но не отделанная еще крепостца, в которую впустив, расставляются кругом по валу очень часто часовые, а в нужных местах пикеты и команды. И сии-то бедные люди мучаются еще более, нежели каторжные. Те, по крайней мере, работая во время стужи, тем греются, а сии должны стоять на ветре, дожде, снеге и

морозе, без всякой защиты и одним своим плащом прикрыту быть, а сверх того ежеминутно опасаться, чтоб не ушел кто из злодеев».

Наказания солдат за ротозейство или соучастие побегам каторжников отличались суровостью. Проштрафившихся охранников ждали допросы, пытки, шпицрутены или кнут, а также ссылка. Два раза в день, утром и вечером, устраивалась перекличка каторжан по списку. Несмотря на всевозможные предосторожности и строгую охрану, как писал Болотов, «выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что на все строгости находят они средства уходить как из острога, так и во время работы и чрез то приводить караульных в несчастье. Почему стояние тут на карауле соединено с чрезвычайной опасностью, и редкий месяц проходит без проказы».

О том же писал М. М. Щербатов: «Военные люди, почитающие себе в наказание быть определенными к сей страже, следственно за вину тех безвинно претерпевающие. Не взирая на строгую дисциплину, на частые дозоры, на поставление стражей повсюду и на цепь, когда несчастные ходили на работу, случалось, что некоторые уходили и бывали заговоры и злоумышления от собранных в единое место злодеев».

# «ПЕРЕВОРОТЫ СЧАСТΙΑ»

Эта глава о тех политических преступниках, кто избежал казни «до смерти», провел годы в «дальней деревне», в сибирской ссылке, не умер по дороге и был по царскому указу возвращен домой, чтобы получить то, что называлось в России свободой или волей. В основном наш материал относится к «замечательным лицам», известным людям. Мы почти ничего не знаем о том, что происходило с политическими преступниками из «подлых». Сосланные в Сибирь, они исчезали на ее просторах и, если попадали не на каторгу, а на поселение, то женились, обзаводились детьми, становились сибиряками.

Иначе обстояло дело с видными жертвами политических гонений, знатными государственными преступниками, которые пострадали по воле правящего государя (государыни), оказались втянутыми в крупное политическое дело. Эти люди с нетерпением ждали смены правителя на троне – только тогда они могли рассчитывать на возвращение из «дальних деревень» или Сибири. Конечно, бывали случаи, когда властитель смягчался и миловал своего ссыльного подданного досрочно к какому-нибудь празднику или юбилею. Так было с князем В. В. Долгоруким, сосланным в 1718 году и возвращенным на службу в 1724 году. Но такие случаи высочайшего прощения единичны. Большинство политических ссыльных ждали смерти правителя, который наложил на них опалу.

Вступление на престол нового государя традиционно сопровождалось амнистиями и помилованиями.

Как только на престол в 1725 году взошла Екатерина I, тотчас помиловали многих участников дела царевича Алексея, дела Монса, а также других преступников. Много людей сразу освободила из ссылок и заточения правительница Анна Леопольдовна в 1741 году, особенно была добра к ссыльным свергшая ее Елизавета Петровна. Вступивший в 1761 году на престол Петр III издал указ об освобождении политических противников императрицы Елизаветы, которым пришлось ждать этого дня двадцать лет. Первым шагом нового императора Павла I в 1796 году стало освобождение из заточения и ссылки политических противников своей матери, «всех, кроме повредившихся в уме». Однако за его короткое правление узников Тайной экспедиции стало еще больше, чем было их при Екатерине II, – государь был очень гневлив и подозрителен. Поэтому новый император Александр I в 1803 году уже освобождал врагов своего отца и делал это опять же выборочно: из 700 человек было освобождено 482.

Но смена правителя на троне не всегда вела к автоматическому освобождению людей, попавших в опалу по политическим мотивам. Престолюдины, сосланные в Сибирь за разговоры о том, как Бирон Анну Иоанновну «штанами крестил» или что императрица Елизавета – «выблядок», не получали помилования потому, что какой бы государь ни пришел к власти, ругать «непотребными словами» коронованных особ не позволялось никогда. Не могли надеяться на помилование шпионы, изменники. При амнистии 1762 года Петр III не решился выпустить из Шлиссельбурга ни

Иоасафа Батурина, задумавшего свержение Елизаветы Петровны, ни капитана Петра Владимиров, который сидел только за то, что узнал историю походов Ивана Зубарева в Пруссии и о его намерении освободить Ивана Антоновича из холмогорского заточения.

Некоторые ссыльные не получали свободу потому, что для людей, пришедших к власти, они являлись соперниками. Известно, что П. А. Толстой, Ф. Санти, А. М. Девьер, Г. Г. Скорняков-Писарев попали в тюрьмы и ссылки в мае 1727 года из-за происков А. Д. Меншикова. Вскоре, осенью того же года, в ссылку угодил сам Меншиков, то есть раньше, чем отправленные им в Сибирь Девьер и Скорняков-Писарев туда доехали. Но крушение Меншикова не открыло двери тюрьмы для его жертв. П. А. Толстой умер во тьме Головленковой башни Соловецкого монастыря в конце 1729 года, почти одновременно с самим Меншиковым, которого смерть настигла в Березове. Секрет прост – после свержения Меншикова у власти укрепились князья Долгорукие, которые и не думали освобождать Толстого – убийцу царевича Алексея, отца правящего монарха Петра П.

Девьер, Скорняков-Писарев и другие преступники 1720-х гг. не увидели свободы и в правление Анны Иоанновны, а для некоторых из них, например графа Санти, наступили и вовсе тяжелые времена. Только Елизавета Петровна освободила многих (но тоже не всех поголовно) «замечательных узников» прежних режимов. Ее особая доброта объясняется тем, что она демонстративно противопоставляла свое гуманное правление прежним, якобы несправедливым царствованиям. Это не помешало ей вскоре наполнить

каторги и ссылки новыми узниками и политическими ссыльными.

Новый властитель, получив в «наследство» от предшественника политических преступников, не всегда горел желанием выпустить их на свободу, так как они представляли реальную или мнимую угрозу его власти. Настоящей головной болью для Елизаветы, Петра III, Екатерины II был бывший император Иван Антонович. Выпустить его на волю было нельзя – он оставался для них опасным конкурентом и, оказавшись в руках авантюристов, мог стать причиной мятежа и кровопролития. По сходной причине в Выборгской крепости всю жизнь продержали детей и двух жен Емельяна Пугачева, одну из которых – Устину – самозванец провозгласил «императрицей».



*Антон Ульрих*



После того как Иван Антонович погиб в Шлиссельбурге в 1764 году, Екатерина II долго не решалась освободить его отца, братьев и сестер. Дело в том, что по завещанию императрицы Анны братья и сестры Ивана Антоновича имели право на престол после его смерти, считались его прямыми преемниками. В верности следования этому завещанию присягали все подданные. Поэтому-то члены Брауншвейгской фамилии и просидели свыше 30 лет в заточении. После прихода к власти Екатерина II хотела выпустить на свободу одного принца Антона Ульриха. О его детях она писала в инструкции посланному в Холмогоры в ноябре 1762 года А. И. Бибикову: их «до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они, к благополучию империи нашей, новое свое положение приняли». Если перевести сказанное в инструкции на понятный нам язык, то Екатерина хотела сказать: до тех пор, пока ее положение у власти не упрочится, выпустить на свободу принцев – прямых наследников Ивана Антоновича – она не может. На предложение императрицы Антон Ульрих ответил отказом – принц не хотел расставаться с детьми и в 1774 году умер в заточении. Лишь в 1782 году брауншвейгских принцев и принцесс отпустили за границу-в Данию.

Освобождение из ссылки автоматически не возвращало человеку его прежнего социального и служилого положения, из которого его некогда исторгли пусть даже несправедливым приговором. В 1730 году был издан указ императрицы Анны об освобождении из-под ареста в сибирской ссылке Абрама Ганнибала. Его заслали, как сказано выше, весной 1727 года по проискам Меншикова. В 1730 году не было уже на свете Меншикова, у власти стояла новая государыня, но

прощение арапу Петра все равно не было полным: на свободу его выпустили, но в Петербург не вернули, а велели записать майором Тобольского гарнизона, что для бомбардир-поручика Преображенского полка и человека, близкого ко двору, было продолжением опалы. Да и потом, оказавшись в Эстляндии, Ганнибал не был по-настоящему помилован, пока к власти не пришла Елизавета Петровна, помнившая арапа своего отца.



*А. П. Ганнибал*

Для большинства освобожденных из ссылки политиков и придворных возвращение к прежнему их положению было практически невозможно. Весьма опытный в придворной интриге, «пронырливый» барон П. П. Шафиров, в общем-то случайно (по служебным, а не политическим причинам) попавший в опалу в 1723 году и сосланный не дальше Новгорода, потом долгие годы пытался восстановить свое прежнее, очень высокое

положение у власти, но так и не сумел этого сделать. Среди тех, кто не хотел восстановления былого могущества Шафирова, был и А. И. Остерман, некогда скромный его помощник и заместитель, а потом – влиятельный вице-канцлер времен Петра II и Анны Иоанновны. И все же Шафиров в конце 1730-х годов сумел достичь должности президента Коммерц-коллегии. Вернуть высшие чины и получить даже должность президента Военной коллегии сумел благодаря указу императрицы Елизаветы в 1741 году князь В. В. Долгорукий, до этого просидевший девять лет в тюрьме. Другие же опальные были рады возвращению хотя бы в свою дальнюю деревню.

Кроме того, нужно учитывать «инерцию публичного позора». Человеку, побывавшему в руках палача, испытывавшему пытку и публичное позорное наказание, оторванному на многие годы от своей среды, потерявшему здоровье, друзей и богатство, было трудно войти в прежний круг людей, стоявших у власти, восстановить свое прежнее высокое положение.

Помилование – официальное царское прощение – не являлось реабилитацией в современном понимании этого слова, то есть полным юридическим восстановлением прав человека. Новый властитель, взойдя на трон, прощал политических преступников из милости, а не восстанавливал справедливость. Для нового государя признать, что его предшественник приговаривал к смерти или ссылал в Сибирь людей без вины, было невозможно – это подорвало бы авторитет верховной власти. О родственниках Андрея Хруцова, казненного в 1740 году вместе с Волынским, в указе императрицы Елизаветы от 15 июня 1742 года было сказано: вдову и детей Хруцова «не порицать, понеже они винам его не

причастны». Из этого следовало, что на казненном Хрущове по-прежнему лежит вина государственного преступника – сообщника Волынского. Новая государыня Елизавета не собиралась отменять вынесенного императрицей Анной приговора в отношении и Волынского, и Хрущова и не желала публично осудить репрессии своей предшественницы. Если об этом и говорилось, то иносказательно, без упоминания конкретных имен, а если такие имена упоминались, то это были в основном имена «плохих» и «злых» советников прежней государыни (Остермана, Миниха, Бирона и др.), которые и считались истинными вдохновителями репрессий и несправедливостей. Общим было представление, что «просто так» в ссылку не отправят, что государь всегда прав, а сомнение в правильности приговора рассматривалось как вид преступления.



*А. П. Бестужева-Рюмин*

В какой сложной ситуации оказывалась власть, когда нужно было, не осуждая прямо прежнее правление, реабилитировать, вернуть на прежнее место сановника, видно из дела А. П. Бестужева-Рюмина. Он, бывший канцлер России, сосланный Елизаветой Петровной в дальние деревни в 1758 году по приговору с крайне неясным составом преступления, удостоился при воцарении Екатерины II особого манифеста о полной реабилитации. В этом документе, написанном самой государыней, признается, что Бестужев-Рюмин абсолютно ни в чем не виноват, и подчеркивается, что манифест – акт не просто помилования, а восстановления бывшего канцлера в прежних правах, чинах и званиях и, что очень важно, – в доверии к нему верховной власти. Одна из целей манифеста –

реабилитировать Бестужева, но при этом не бросить тень на Елизавету Петровну, идейной преемницей которой провозгласила себя Екатерина II. Не забудем, что сама Екатерина была ранее участницей заговора вместе с Бестужевым. В манифесте очень туманно говорится, что Бестужев-Рюмин теперь полностью оправдался и сам «ясно нам открыл каким коварством и подлогом недоброжелательных [людей] доведен он был до сего злополучия». Подробнее о подлогах неких «недоброжелательных» людей в манифесте не сказано ни слова, но сразу же подтверждается искреннее желание новой властительницы явить Бестужеву знаки «доверенности и нашей особливой к нему милости... и, возвратя ему прежние чины действительного тайного советника и ранг генерал-фельдмаршала, сенатора, обоих российских орденов кавалера и, сверх того, жалуем его первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашего императорского Совета с пенсионом по двадцать тысяч в год». В конце манифеста сказано: «Ожидаем от всех наших верноподданных согласного, ко многим его, графа Бестужева-Рюмина, долголетним в империи заслугам, уважения и надлежащего почтения, а притом всемилостивейше повелеваем, как самого, так и род его Бестужева-Рюмина ни прямым, ни посторонним образом претерпенным неповинно сим несчастьем не порицать, под опасением за то нашего Императорского гнева».

Из всех возвращений из ссылки возвращение Бестужева было, пожалуй, самым триумфальным. Но вскоре оказалось, что и полное восстановление Бестужева в правах, чинах и званиях тем не менее не вернуло некогда могущественному сановнику его прежнего влияния. И хотя Екатерина поначалу

советовалась с ним, постепенно стало ясно, что время Бестужева прошло, в нем уже не очень-то нуждаются. К власти пришли новые люди, и они не хотели делить ее со старым, да еще неуживчивым вельможей. Постепенно Бестужев отошел от дел. Такая же судьба ждала многих освобожденных из ссылки сановников.

Вернувшегося после двадцатилетнего отсутствия Б. Х. Миниха весной 1762 года неподалеку от Петербурга сердечно встречало все его разросшееся семейство, и фельдмаршал, которого не трогали «перевороты счастья, к удивлению своему, плакал». Император Петр III возвратил ему чины и ранги, а также некоторые из имений (т. е. произошел акт довольно редкого «поворота» отписанной в казну недвижимости), кроме того, фельдмаршала включили в Совет при особе государя. Миних пытался найти себе не последнее место при дворе сначала Петра III, а потом Екатерины II, но неудачно – все такие места оказались заняты другими счастливыми. Он писал проекты, пытался давать государям советы, как управлять государством, но и его время прошло так же, как время Бестужева. Разочарованный своим положением, в 1767 году Миних подал прошение об отставке, которое, конечно, тотчас удовлетворили.

Не лишена анекдотичной занятности история возвращения из устюжской ссылки в 1762 году бывшего лейб-медика Елизаветы Петровны графа Лестока. Просидев в ссылке 14 лет, он, 74-летний старик, по словам английского посланника Кейта, явился в столицу в крестьянском платье, но «живой и проворный, как юноша». Петр III восстановил его в чинах, но не в должности. Лейб-медиком был уже другой человек. Лесток даже получил компенсацию – 12 944 рубля 8

копеек и 67 червонцев. Из конфискованного ему удалось вернуть только часть, и император, выслушав его жалобу, позволил ему «порыться на складах Канцелярии конфискации» и в шутку разрешил разыскивать конфискованные вещи в домах частных лиц. Человек с юмором, Лесток не преминул воспользоваться государевым разрешением и начал посещать с визитами богатые дома, где вскоре нашел часть своих картин, серебра и драгоценностей.

В лучшем положении оказался привезенный из Ярославля ко двору Петра III Э. И. Бирон. Он сумел вернуть себе не только титул герцога Курляндского, но и сам герцогский престол. Но снова стать курляндским правителем он смог только потому, что это отвечало интересам Екатерины II, – на престоле Курляндии, которая входила в сферу влияния России, нужен был «свой человек», который, помня Сибирь и Ярославль, будет послушен воле Петербурга. Так это и случилось – довольно острого раньше «курляндского вопроса» для России с тех пор не существовало.

Известен еще один благополучный конец ссылки, причем ссылки на каторжные работы. В июне 1740 года генерал-крикс-комиссар Ф. И. Соймонов получил на эшафоте, залитом кровью его товарищей по делу Волынского, 17 ударов кнута и после этого был сослан в Сибирь, в Охотск. Здесь его и нашел посланный за ним нарочный из Петербурга. Сибирский историк Н. А. Абрамов записал легенду об освобождении Соймонова. Легенда эта, если и не отражает конкретную историю Соймонова, то передает типичные обстоятельства, при которых люди, потерявшие надежду, выходили на свободу.



«Долго разъезжал, – пишет Абрамов, – посланный капитан [гвардии] по разным казенным заводам в отдаленной Восточной Сибири, пересматривал на заводах списки сосланных в каторжную работу, расспрашивал начальство, но нигде не мог найти Соймонова. Это много печалило капитана, которому, как официально, так и лично императрицею [Елизаветой] поведено было отыскать несчастного страдальца, который своею усердною службою был ей известен и достоин милости за то, что некогда спас жизнь венценосного ее родителя (речь идет о каком-то неизвестном нам эпизоде Персидского похода 1722 г., в котором Соймонов находился рядом с Петром I. – Е. А.). Наконец капитан прибыл в Охотский острог и порт... Близ Охотска находился завод для выварки соли из морской воды... Капитан пересмотрел списки каторжных и не нашел в них Соймонова. Оставалось посланному возвратиться в Петербург без исполнения повеления государыни. В одно утро на поименованном заводе капитан вошел в кухню каторжных и там увидел женщину, которая садила в печь хлебы, спросил ее: "Не знаешь ли ты здесь, в числе каторжных, Федора Соймонова?" – "Нет, такого у нас не было и нет", – отвечала женщина. Подумавши несколько, она тихо про себя говорила: "Федора, Федора", потом, возвысив тон голоса, сказала: "Вон, там в углу спит Федька-варник, спроси, не он ли?" Капитан подошел и увидел спящего на голом полу седого, обросшего бородой старика, одевшегося суконным зипуном, который носили каторжные. Пробудив его, капитан спросил: "Не знаешь ли, нет ли здесь Федора Соймонова?" Старик встал на ноги и в свою очередь спросил офицера: "На что его вам?" Капитан: "Мне нужно". Старик молчал, стоя как

будто в раздумье (причиной его раздумья могло быть опасение, что офицер приехал, чтобы забрать его к новому следствию. – Е. Л.). Между тем капитан, лично знавший Соймонова в Петербурге, всматривался в черты исхудалого лица его и, начиная признавать его, спросил: "Не вы ли Федор Иванович Соймонов?" Старик:

"На что вам?" Офицер: "Очень нужно". Старик: "Да, я некогда был Федор Соймонов, но теперь несчастный Федор Иванов" – и заплакал. Капитан, сжав его в свои объятия, начал говорить: "Государыня Елизавета Петровна вас про...о... ща..." и зарыдал и не мог кончить. Соймонов понял в чем дело...»

Завершается рассказ вполне благополучно: «Несколько минут они были с капитаном в объятиях друг друга, обливались слезами и не могли вымолвить ни одного слова. Женщина, видя эту сцену, не могла надивиться ей и не знала, чему приписать такое близкое и пламенное дружеское свидание офицера с варником. Наконец Федор Иванович пришел в чувство, перекрестился, возблагодарил Бога за свое спасение, а императрицу за помилование. Капитан в тот же день предъявил высочайшее повеление местному заводскому начальству и то, что в значащемся по списку сосланных в каторжную работу Федоре Ивановне он нашел бывшего генерал-кригс-комиссара Федора Ивановича Соймонова. Тотчас, на приличном месте, выстроен был имевшийся в Охотске гарнизон, указ объявлен, Соймонов прикрит знаменем и отдана ему шпага».

На самом же деле освобождение Соймонова было более прозаично. 8 апреля 1741 года правительница Анна Леопольдовна подписала указ об освобождении Соймонова из ссылки, ему позволялось поселиться в его

дальней деревне – в селе Васильевском Серпуховского уезда. Этот указ в Сибирь повез капрал Тимофей Васильев. Он нашел ссыльного в сентябре 1741 года. Настоящую свободу Соймонов получил лишь по именному указу Елизаветы Петровны от 14 марта 1742 года. Ему частично простили вину и очистили от обвинений. Указом было предписано его «прикрыть знаменем и шпагу отдать и о непорицании ево тем наказанием и ссылкой дать ему указ». Церемония была проведена 17 марта 1742 года перед Успенским собором Московского кремля в присутствии собравшегося народа. Соймонову разрешили жить там, где он захочет, но одновременно сказали, что его как бывшего преступника ни в военную, ни в гражданскую службу не примут. Так обычно поступали со всеми помилованными государственными преступниками.

Но рассказ, записанный Абрамовым, приведен здесь еще и потому, что не всегда освобождение было таким удачным, как в данной истории. В каторжном фольклоре есть сюжеты о том, как царский указ о помиловании или опаздывает на «целую жизнь» узника, или не находит несчастного на бескрайних просторах Сибири. Такая легенда известна о фаворите цесаревны Елизаветы Петровны Алексее Шубине, сосланном в Сибирь в 1732 году императрицей Анной. Офицер с указом о его помиловании, отправленный на его поиски сразу же после восшествия Елизаветы на престол, долго не мог найти колодника по сибирским острогам и заводам. Шубин, зная, что его разыскивает гвардеец из Петербурга, и памятуя о судьбе тех, кого извлекали из ссылки, чтобы снова повести в пыточную палату или на эшафот, долго прятался в толпе каторжников и не признавался, кто он такой.

Можно с большой долей вероятности утверждать, что так это и было. Сохранился указ Елизаветы сибирскому губернатору от 29 ноября 1741 года об освобождении Шубина и доставке его в Петербург, ко двору. Спустя почти полтора года появился новый указ всем губернаторам и управителям, согласно ему местные власти должны были помогать подпоручику А. Булгакову в поисках Шубина, который «и поныне не явился и где ныне обретается – неизвестно». Булгаков должен был проехать «по тракту до Камчатки, об оном Шубине проведывать» и приложить все усилия, чтобы найти пропавшего среди просторов Сибири ссыльного.

Слухи о том, что узники сибирской каторги и ссылки как бы проваливались в преисподнюю, исчезали навсегда, находят многочисленные подтверждения в документах. Тобольская губернская канцелярия, получив в 1742 году указ об освобождении Г. Фика, не знала, где он находится. Как это могло произойти, можно понять из приговора 1759 года о сосланном в Сибирь изменнике, капитане Ключевском. В приговоре сказано: «Послать ево в отдаленный Сибирской губернии острог, где велеть содержать ево под крепким караулом вечно, а дабы о нем никому известно не было, то имя и фамилию переменить ему другие». Сделать это с преступниками, особенно шельмованными, было нетрудно – они и так теряли свою фамилию.

Проходили годы, и на запрос Петербурга о судьбе того или иного колодника Тобольская губернская канцелярия отвечала: «По силе одного указа означенной [имя рек] послан с протчими колодниками на казенные заводы, и ныне оной жив или умре – о том в Сибирской канцелярии неизвестно...»

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема, которой посвящена эта книга, не является ни центральной, ни спорной в русской истории, вокруг нее не ломают копья поколения историков. И все-таки она кажется мне очень важной, ибо история политического сыска – составная часть истории России, а сам политический сыск – один из важнейших институтов власти в Российском государстве, ужас целых поколений русских (да и нерусских) людей на протяжении пятисот лет русской истории.

Многое в данной теме осталось для меня неясным. В первую очередь это касается начального этапа развития политического сыска. Сказать наверняка, когда ЭТО началось, мы не можем. Достаточно точно можно лишь утверждать, что в начале XVII века сыск уже «состоялся», что очень хорошо видно из дела Павла Хмелевского, начатого в 1614 году. Доносы, внезапные аресты, изъятие поличного, дешифровка писем, «ропрос», очные ставки, «розыск» с пытками, традиционные вопросы о сообщниках, краткая резолюция-приговор государя на полях доклада, конфискация имущества и его распределение между челобитчиками еще до окончания дела, наконец, ссылка в Сибирь – все то, что характерно для политического сыска XVIII века, уже есть в деле 1614 года. Значит, начало этой системы уходит в XVI век, а возможно, и в более ранний период.

Что же касается вопроса о масштабах деятельности политического сыска, о числе людей, побывавших в сыском ведомстве, то определенный ответ на него дать трудно. Сводных материалов на сей счет в нашем

распоряжении явно недостаточно для окончательных выводов, а сплошная статистическая обработка следственных дел одному человеку не по силам. Поэтому ограничимся некоторыми ориентировочными выкладками. Т. В. Черникова в своей статье о Тайной канцелярии приводит следующие данные об общем числе политических дел, рассмотренных сыскным ведомством почти за весь XVIII век. Они сгруппированы по десятилетиям:

1715-1725 гг.....– 992 дела,..1760-е гг.....-1246,

1730-е гг.....– 1909,.....1770-е гг.....– 1094,

1740-е гг... ..-2478,... ..1780-е гг.....-992,

1750-е гг... ..-2413,... ..1790-е гг.....-2861

Если считать, что по каждому из заведенных в сыске дел «прошло» по одному человеку, то можно утверждать, что за 85 лет в политическом сыске побывало около 14 тысяч человек. Цифры эти кажутся явно заниженными. Из материалов Тайной канцелярии 1732– 1740 годов следует, что в месяц в сыск попадали в среднем по 50 человек, то есть за 1730-е годы арестантов должно было быть примерно 6 тысяч человек. Если же взять соотношение в 1730-х гг. (1909 дел на 6 тысяч человек) за основу подсчетов, то получится, что на одно дело приходится примерно три арестанта. В итоге окажется, что в 1715-1790-е годы около 14 тысяч дел было заведено минимум на 42 тысячи человек.

Однако мы знаем, что не все попавшие в сыск были преступниками (аресту подвергались, как сказано выше, доносчики, свидетели, просто подозрительные люди). В нашем распоряжении есть довольно полные данные о приговорах, вынесенных в Тайной канцелярии в 1732-1733 годы. Всего за два года были приговорены к разным наказаниям 395 человек (то есть примерно по 200 человек за год). Иначе говоря, за десятилетие 1730-х годов вынесли приговоры в отношении около 2000 человек, а за весь период 1715-1790-х годов – в отношении примерно 17 тысяч человек. Но и приговоры были разные. Одних отпускали без наказания, других, перед тем как отпустить на все четыре стороны, наказывали кнутом, батогами, плетью («ж... разрумянивали», «память к ж... пришивали», «ижицу прописывали» и т. д., есть еще не менее 80 синонимов этой популярной в России воспитательной операции), третьих без наказания отправляли в ссылку, четвертых, наконец, уродовали клещами, ножом, клеймами и затем ссылали на каторгу. В 1725-1761 годах на каторгу и в ссылку было отправлено 1616 человек. Получается, что в среднем в течение 35 лет ссылали ежегодно по 46 человек, а за 1715-1799 годы число ссыльных должно составить около 4 тысяч человек.

Много это или мало? И на этот вопрос я не берусь ответить определенно. В абсолютных цифрах эти данные, например для XX века, кажутся ничтожными. Согласно третьему тому «Ленинградского мартиролога 1937-1938 гг.» (СПб., 1998) только за ноябрь 1937 года и только в Ленинграде и области было расстреляно 3859 человек. Можно рассмотреть пропорцию общей численности репрессированных по политическим мотивам к численности населения. Так, если считать, что в

1730-1740 годы в России было не более 18 миллионов человек, а в сыск попало за 20 лет не более 12 тысяч, то это составляет ничтожную долю процента. Но очевидно, что эффект деятельности политического сыска определяется не только общей численностью репрессированных, но и многими другими обстоятельствами и факторами, в том числе самим Государственным страхом, который «излучал» сыск, молвой, показательными казнями и т. д.

Нужно согласиться с Т. В. Черниковой, которая писала применительно ко времени «бироновщины», что «в исторической литературе масштаб деятельности Тайной канцелярии завышен». Она же основательно оспорила бродившие не одно столетие по литературе цифры мемуариста К. Г. Манштейна о ссылке во времена правления Анны Иоанновны 20 тысяч человек. Вместе с тем отметим, что 1730-е годы, хотя и не стали временем кровавых репрессий «немецких временщиков», как это изображается в романах и в некоторых научных трудах, а число дел, заведенных в сыске в это десятилетие, меньше, чем в 1740-е или 1750-е годы, тем не менее анненская эпоха кажется более суровой, чем времена Елизаветы Петровны. При Анне, правившей Россией десять лет (1730-1740), в ссылку и на каторгу отправили 668 человек, в то время как за двадцатилетнее царствование Елизаветы (1741-1761) сослали 711 человек. Мягче стали при гуманной дочери Петра I и наказания «в дорогу». При Анне Иоанновне из 668 преступников кнут (в том числе в сочетании с другими наказаниями) получили 553 человека. При Елизавете из 711 человек наказано «на теле» больше ссыльных (693 человека), но при этом произошло заметное (почти в два раза) уменьшение числа приговоров типа «кнут,



вырывание ноздрей». Правда, при Елизавете произошло увеличение доли наказаний плетью и батогами почти в три раза. Тем из читателей, кому переход от кнута к плети или батогам покажется смехотворным свидетельством гуманитарного прогресса в России, могли бы возразить те 87 человек, которые были приговорены при Елизавете не к смертоносному наказанию кнутом, отрывавшим куски мяса от тела, а к плети или батогам. К этому хору могли бы присоединиться и все те, кто при гуманной Елизавете не был казнен смертью, а был наказан кнутом и поэтому получил шанс выжить.

Одновременно мы можем с уверенностью утверждать, что к середине XVIII века, и особенно со времени вступления на престол в 1762 году Екатерины II, в политическом сыске исчезают особо свирепые пытки. В отличие от других стран (Франции, Пруссии и др.) в России во второй половине XVIII века не устраивали и такие средневековые казни, как сожжение, колесование или четвертование. На политический сыск стали оказывать сильное влияние идеи Просвещения. И хотя люди, конечно, боялись ведомства Степана Шешковского, но все-таки это был не тот страх, который сковывал современников и подданных Петра Великого или Анны Иоанновны. При Екатерине II людям стало казаться, что мрачные времена ушли навсегда...

Но XVIII век вдруг кончился делом, которое вернуло страшные воспоминания о Преображенском приказе и Тайной канцелярии. Речь идет о деле полковника гвардии грузина Евграфа Грузинова, начатом при Павле I в 1800 году. Грузинов, один из телохранителей императора Павла I, был внезапно заподозрен государем в чем-то преступном и выслан на родину – в Черкасск. Здесь его обвинили в произнесении «дерзновенных и

ругательных против государя императора изречений» и в сочинении двух бумаг, якобы свидетельствующих о намерениях автора ниспровергнуть существующий государственный строй. С «изречениями» горячего грузина, раздосадованного на государя за отставку и удаление от двора в захолустье, было все ясно: полковник публично отозвался о государе такими словами, «от одной мысли о которых, – писал следователь генерал Кожин, – содрогаются сердце каждого верноподданного», да еще и прибавил с вызовом: «Поезжайте куда хотите и просите на меня», что и сделал доносчик. Грузинов был казнен мучительнейшим образом – заперт кнутом до смерти.

Дело Грузинова и уникально, и типично одновременно. Типичность его выражается в том, что неизменная по своей сути самодержавная власть со всеми характерными для нее проявлениями деспотизма, самовластия, каприза никогда не ограничивалась законом и поэтому степень ее жестокости или гуманности определяли сугубо личные свойства монарха. Екатерина II, как известно, пыталась создать гуманную модель самодержавия «с человеческим лицом», но с воцарением ее неуравновешенного сына раздался, выражаясь словами Гаврилы Державина, «рев Норда сиповатый», и число политических преступников, ссыльных резко возросло, кнут снова коснулся тела дворянина, наказания вновь ужесточились. При Александре I сыск, отражая изменения в проявлениях самодержавия, вновь «мягчает». И такие перепады жестокости и гуманности продолжались весь XIX век, а потом перешли в XX столетие.

Материалы, приведенные выше, позволяют с уверенностью утверждать, что политический сыск

рожден политическим режимом самодержавия, это его проявление, опора, инструмент, это – основа самодержавной власти в том виде, в котором она сложилась в XV– XVII веках, окончательно оформилась в XVIII веке и благополучно просуществовала до начала XX столетия, сохраняя в неизменности свою природу.

Подавляющую часть всех политических преступлений в рассмотренный в этой книге период составляли всевозможные «непристойные слова», оскорбляющие честь государя, а также преступления, связанные с ними («ложный» донос и доноительство). Если бы в рассматриваемую эпоху в России не фиксировались преступления по «оскорблению чести государя», то не было бы и никакого предмета для работы политического сыска. Но эти преступления, составляющие суть работы политического сыска, сохранялись и в XVIII, и в XIX веках и даже перешли в XX век. Как и в древние времена, закон 1905 года карал за государственные преступления, выразившиеся в оскорблении государя посредством публичного показывания языка, кукиша, гримасы, «угрозы кулаком», а также в произнесении непристойных слов в адрес самодержца. За все это можно было получить до восьми лет каторги.

Поэтому мне кажется естественной преемственность политического сыска в России XX века. После окончания кратковременного периода свобод 1917 года и установления групповой, а потом и личной диктатуры большевиков произошло быстрое воссоздание всей старой системы политического сыска. Теперь она обслуживала новый режим, возникший на традиционном фундаменте самовластия, огражденный правом и насилием от контроля общества. Эта система имела

глубочайшие корни в самодержавном политическом прошлом, царистском сознании, менталитете народа, не привыкшего к свободе и ответственности. Поэтому после 1917 года стремительно пошло оформление обширного корпуса политических преступлений, которые порой даже по формулировкам и инкриминируемым действиям совпадали с государственными преступлениями по «оскорблению величества» в XVIII веке.

Результатом установления диктатуры было воссоздание – уже на новом уровне тотальности (но с применением старых приемов политического сыска и даже с использованием специалистов царской охраны) – института тайной полиции, выдвижение особо колоритных его руководителей-палачей, вроде Ежова или Бериин, бурное развитие всей жестокой бюрократической технологии «розыска» с применением средневековых пыток, а также практики фактически бессудных (чаще тайных, реже публичных) расправ с явными, потенциальными или мнимыми политическими противниками, со всеми недовольными, а заодно – с легионами любителей сплетен, анекдотов, с армиями болтунов и т. д. Всех их принимал в свои владения ГУЛАГ – быстро возрожденная каторга, которая в России была изобретена Петром Великим.

Соответственно всему этому быстро возродился в человеке Государственный страх, расцвело доносительство, начался новый цикл государственного террора. Деспотическая власть всегда и везде тотчас пробуждает демонов политического сыска, и тогда держать в нужнике клочки бумаги «с титулом» становится так же смертельно опасно в 1737 году, как и

использовать с этой же целью газету «Правда» двести лет спустя.

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ОСНОВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Авель (Василий Васильев)

(1757-1841), костромской монах, известный своими предсказаниями, по приказу Николая I был заточен в Спасо-Ефимьевский монастырь 353

Аввакум (Петрович)

(1620 или 1621-1682), протопоп, проповедник, писатель, глава старообрядчества, боролся с официальной церковью, за что был сожжен 288, 381, 387

Александр I Павлович

(1777-1825), император с 1801 г. 113, 231, 310, 344, 346, 365, 369, 415, 434

Алексей Михайлович

(1629-1676), русский царь с 1645 г., отец Петра I 5, 333

Алексей Петрович

(1690-1718), царевич, сын Петра I и Евдокии Федоровны, отец императора Петра II. В 1717 г. бежал за границу, был возвращен, судим, приговорен к смертной казни, умер в Петропавловской крепости 40-42, 44, 48, 76, 88, 116, 120, 124, 132, 134, 151, 176, 211, 215, 220, 233-235, 254, 261-263, 316, 415

Анна Иоанновна

(1693-1740), дочь Ивана V и Прасковьи Федоровны, герцогиня Курляндская с 1710 г., российская императрица с 1730 г. 18-20, 22, 24, 28, 31, 32, 46, 48-51, 69, 89, 102, 104, 106, 112, 113, 121, 167, 169, 171, 232, 236, 243, 289, 373, 379, 386, 417, 427, 432

Анна Леопольдовна

(Елизавета Екатерина Христина)(1718-1746), дочь герцога Мекленбургского Карла Леопольда и царевны Екатерины Ивановны, внучка Ивана V, жена принца Антона Ульриха Брауншвейгского, правительница России при сыне, императоре Иване VI Антоновиче (1740-1741), умерла в заточении, похоронена в Александро-Невской лавре 51, 89, 121, 165, 235, 333, 365, 375, 415

Антон Ульрих

(1714-1774), принц Брауншвейгский, русский генералиссимус (1740), муж Анны Леопольдовны, отец императора Ивана Антоновича. С 1741 г. до самой смерти жил в заточении, похоронен в Холмогорах 365, 417, 419

Арсений (Мациевич)

(1697-1772), митрополит Ростовский, сторонник восстановления патриаршества, умер в заключении 69, 116-117, 263, 352, 364, 365

Арсеньева Варвара Михайловна

(ум. 1729), свояченица А. Д. Меншикова, обер-гофмейстерина. В 1728 г. сослана в монастырь 354, 355

Архаров Николай Петрович

(1742-1814), обер-полицмейстер и губернатор Москвы (1782), генерал-губернатор Петербурга (1796)  
114, 273, 370, 389

Батурин Иоасаф

(ум. 1771?), подпоручик, арестован в 1754 г. за подготовку заговора против императрицы Елизаветы, в 1767 г. бежал из Шлиссельбургской крепости, сослан на Камчатку, откуда бежал в 1771 г. 13, 14, 386, 415

Беккариа Чезаре

(1738-1794), итальянский просветитель, юрист, публицист 257

Беликов Филипп,

алхимик, экономист 360

Беньовский М. А.,

участник польского сопротивления 14, 386

Беринг Витус Ионассен

(1681-1741), датчанин, капитан-командор русского флота, мореплаватель, руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями 396, 408

Берхгольц Фридрих Вильгельм

(1699-1767), камер-юнкер герцога Голштинского Карла Фридриха, обер-камергер Петра III, автор «Дневника», который он вел во время пребывания в России в 1721-1725 гг. 277, 282, 285, 288, 289, 305, 410, 411

Бестужев Михаил Александрович

(1800-1871), декабрист, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка 158



Бестужев-Рюмин Алексей Петрович

(1693-1766), граф, дипломат, кабинет-министр (1740), сослан Анной Леопольдовной в деревню (1741), вице-канцлер, с 1744 г. – канцлер, в 1758 г. сослан императрицей Елизаветой по обвинению в заговоре, возвращен Екатериной II в 1762 г., произведен в генерал-фельдмаршалы 29, 53, 69, 103, 115, 116, 122, 125, 132, 173, 177, 232, 234, 374, 421-423

Бибиков Александр Ильич

(1729-1774), генерал-аншеф, государственный деятель времен Екатерины II 61

Бирон Густав

(1700-1742?), младший брат Э. И. Бирона, полковник гвардии, арестован и сослан в Нижнеколымск (1740), затем в Ярославль (1742), муж А. А. Меншиковой 119, 383, 384

Бирон Карл Магнус

(1684-1746), старший брат Э. И. Бирона, генерал-аншеф, генерал-губернатор Москвы (1740), сослан в Ярославль, а потом в лифляндское поместье 383, 384

Бирон Эрнст Иоганн

(1690-1772), обер-камергер, герцог Курляндский (1737), фаворит императрицы Анны Иоанновны, регент при Иване VI Антоновиче (1740), свергнут Минихом (ноябрь 1740), сослан с семьей в Ярославль, возвращен Екатериной II в 1762 г., восстановлен в правах 25, 49, 89, 97, 114, 119, 121, 122, 164, 167, 173, 177, 235, 255, 378, 383, 386-388, 390, 391, 415, 424

Болотников Иван Исаевич

(ум. 1608), предводитель крестьянского восстания  
245

Болотов Андрей Тимофеевич

(1738-1833), помещик, мемуарист 230, 319, 321,  
326-330, 334-337, 409, 411-413

Брауншвейгская фамилия -

обобщенное название семьи Антона Ульриха и Анны  
Леопольдовны с детьми 126, 144, 351, 361, 365, 381, 403,  
417, 418

Булавин Кондратий Афанасьевич

(ок. 1660-1708), донской казак, атаман,  
предводитель восстания на Дону 10

Веселовский Авраам Павлович

(1682-1782), русский резидент в Вене, бежал с  
русской службы и скрылся в Швейцарии 132, 133

Веселовский Федор Павлович

(ум. после 1762), русский посланник в Англии, брат  
А. П. Веселовского, после побега которого тоже стал  
невозвращенцем, вернулся в Россию в 1743 г. 122, 132,  
133

Винский Григорий Степанович

(1752-ок. 1818), дворянин, ссыльный, мемуарист 64,  
117, 137, 138, 154-156, 401

Возницын Александр

(ум. 1739), капитан-поручик, сожжен за переход в  
иудаизм 99, 151, 289

Войнаровский Андрей

(ум. 1740), украинский казацкий старшина, племянник гетмана Мазепы и его сторонник 134

Волконская Аграфена Петровна

(ум. 1731), урожд. Бестужева-Рюмина, княгиня, сослана в 1727 г. 96

Волконский Михаил Никитич

(1713-1788), князь, генерал-аншеф при Екатерине II, главнокомандующий Москвы (1771-1780) 57, 227, 320, 324, 325

Волох Марфа,

жена Т. Волоха 162

Волох Тимофей,

стрелец 129, 162

Волынская Анна Артемьевна,

дочь А. П. Волынского, в 1740 г. пострижена в монахини

355

Волынская Мария Артемьевна,

дочь А. П. Волынского, в 1740 г. пострижена в монахини 356

Волынский Артемий Петрович

(1689-1740), обер-егермейстер, кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны (1738), казнен вместе со своими друзьями-«конфидентами» по обвинению в заговоре 11, 24, 25, 37, 48-51, 102-104, 112-115, 124, 146,

161, 208, 212, 218, 227, 235, 236, 258, 264, 265, 278, 283, 375, 397

Вяземский Александр Алексеевич

(1727-1793), князь, генерал-квартирмейстер, с 1764 г. генерал-прокурор, сподвижник Екатерины II 163, 186, 238, 324, 363

Гагарин Матвей Петрович

(ум. 1721), сибирский губернатор, казнен за казнокрадство 79, 254, 313, 319

Гамильтон Мария Даниловна

(ум. 1719), камер-девица Екатерины I, казнена за детоубийство 205, 278

Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович

(ок. 1697-1781), сын эфиопского князя, предок А. С. Пушкина, крестник Петра I, его камердинер и секретарь, капитан-поручик Преображенского полка, инженер, сослан в Сибирь в 1727 г., возвращен в 1731 г., генерал-аншеф (1759), в отставке с 1762 г. 250, 379, 418, 419

Глебов Степан Богданович

(ум. 1718), майор гвардии, любовник бывшей царицы Евдокии Федоровны, казнен по «Суздальскому делу» 207, 287, 291, 314

Голицын Александр Михайлович

(1718-1783), князь, фельдмаршал, петербургский генерал-губернатор (1769) 193, 225, 233

Голицын Василий Васильевич

(1643-1714), князь, боярин, глава правительства царевны Софьи, с 1689 г. в ссылке 276, 381, 394, 397, 402

Голицын Дмитрий Михайлович

(1665-1737), князь, президент Камер-коллегии (1718), сенатор, член Верховного тайного совета, инициатор попытки ограничения самодержавия в 1730 г., судим в 1736 г., умер в Шлиссельбургской крепости 49, 357

Головкин Гаврила Иванович

(1666-1728), граф, канцлер с 1709 г., президент Коллегии иностранных дел, сенатор, член Верховного тайного совета 122, 205, 312

Головкин Михаил Гаврилович

(1699 или 1705-1755), граф, камергер, вице-канцлер, сын Г. И. Головкина, ссылный 235, 260, 265, 384, 390, 394, 396, 401

Гордт,

шведский аристократ, узник Петропавловской крепости, автор записок 142, 361, 362, 402, 403

Грузинов Евграф Осипович

(ум. 1800), полковник гвардии, телохранитель Павла I, казнен в Черкасске 255, 299, 336, 433

Гурьевы,

братья, участники заговора против Екатерины II в 1763 г. 248, 264, 332, 358, 386

Дашкова Екатерина Романовна

(1743-1810), урожд. графиня Воронцова, княгиня, статс-дама, директор Академии наук, глава Российской академии, литератор 373, 374, 389

Девьер Антон Мануйлович (Эммануилович)

(1673-1745), граф, генерал-адъютант, с 1718 г. – обер-полицмейстер Петербурга, сослан А. Д. Меншиковым в Сибирь в 1727 г., возвращен в 1743 г. 416

Державин Гаврила Романович

(1743-1816), поэт, государственный деятель 34

Докукин Ларион,

подьячий 10,91, 222, 286

Долгорукая Екатерина Алексеевна

(1712-1745), княжна, дочь А. Г. Долгорукого, невеста Петра II, в 1730 г. сослана в Березов, в 1739 г. заточена в Томском Алексеевской монастыре, возвращена при Елизавете Петровне, пожалована фрейлиной, в 1745 г. вышла замуж за графа А. Р. Брюса 354, 398

Долгорукая Наталья Борисовна

(1714-1771), урожд. Шереметева, княгиня, жена И. А. Долгорукого, сослана в 1730 г. в Березов, возвращена в 1740 г., постриглась в монахини в 1758 г. 377, 380-382, 391,400,402

Долгорукие,

русский княжеский род, идущий от святого Михаила Черниговского 49, 152, 168, 235, 380, 385, 389, 392-393, 398, 400, 416

Долгорукий Алексей Григорьевич

(ум. 1734), князь, сенатор, гофмейстер, член Верховного тайного совета, в 1730 г. сослан в Березов, где и умер 46, 381

Долгорукий Александр Алексеевич,

князь, сын А. Г. Долгорукого 126, 159, 398

Долгорукий Василий Владимирович

(1667-1746), князь, генерал-фельдмаршал (1728), член Верховного тайного совета, сослан в 1718 г. по делу царевича Алексея, возвращен в 1724 г., сослан при Анне Иоанновне, возвращен в 1742 г., стал президентом Военной коллегии 254, 414, 419

Долгорукий Василий Лукич

(1670-1739), князь, дипломат, действительный тайный советник, член Верховного тайного совета, один из инициаторов ограничения власти Анны Иоанновны в 1730 г., сослан на Соловки, казнен в Новгороде 351, 373, 374

Долгорукий Иван Алексеевич

(1708-1739), князь, сын А. Г. Долгорукого, майор гвардии, камер-юнкер, потом обер-камергер (1728), фаворит Петра II, сослан в Березов, казнен в Новгороде 22, 46, 92, 168, 169, 243, 246, 286, 398, 401

Долгорукий Сергей Григорьевич

(ум. 1739), князь, дипломат, казнен в Новгороде 376, 390, 398

Евдокия Федоровна

(1669-1731), урожд. Лопухина, царица, первая жена Петра I (1689), в 1698 г. сослана мужем в сюздальский Покровский монастырь, в 1699 г. пострижена под именем

старицы Елены, привлекалась по делу сына царевича Алексея в 1718 г., сослана в ладожский Успенский монастырь, а в 1725 г. в Шлиссельбург, в 1727 г. при Петре II переведена в Новодевичий монастырь, где умерла и похоронена 32, 69, 88, 116, 119, 207, 291, 357, 403

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская)

(1684-1727), вторая жена Петра I, царица (1712), императрица (1724), правила Россией в 1725-1727 гг. 7, 20, 22, 42, 45, 48, 226, 262, 415

Екатерина II Алексеевна (София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская)

(1729-1796), с 1745 г. великая княгиня и жена великого князя Петра Федоровича (будущего Петра III), императрица (1762), 28 июня 1762 г. свергла с престола своего мужа 14, 15, 23, 33-35, 44, 52, 53, 55-59, 61, 63, 68, 77, 117, 122, 123, 156, 164, 181, 186, 192, 219, 225, 227, 233, 237-241, 253, 257, 270, 272, 290, 294, 308, 324, 332, 353, 363-365, 373, 375, 402, 417, 422-423, 432-434

Елизавета Петровна

(1709-1761), дочь Петра I и Екатерины Алексеевны, императрица (1741-1761) 7, 12, 13, 20, 22, 24, 30, 50-54, 58, 90, ПО, 113, 121-123, 126, 159, 182, 193, 197, 198, 226, 227, 232, 235, 243, 250, 256, 269, 351, 375, 381, 386, 396, 403, 415, 418, 421, 427, 432

Еропкин Петр Михайлович

(1698-1740), архитектор, казнен вместе с А. П. Волынским 146

Желобов Алексей,



сибирский вице-губернатор 167, 168

Зейдер,

пастор, автор записок о собственной казни 203, 264, 266, 268, 293, 297, 300

Зубарев Иван,

посадский человек, авантюрист 143, 144, 415

Иван IV Васильевич Грозный

(1530-1584), великий князь (1533), царь с 1547 г. 25, 36, 43, 237

Иван V Алексеевич

(1666-1696), сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, царь, старший брат и соправитель Петра I с 1682 г. 19, 333

Иван VI Антонович

(1740-1764), сын Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, император (1740-1741), свергнут Елизаветой Петровной, провел всю жизнь в заточении, убит охраной в Шлиссельбурге при попытке В. Я. Мировича освободить его 13, 15, 23, 24, 26, 36, 126, 144, 263, 351, 357-359, 365, 415-418

Искра Иван Иванович

(ум. 1708), полковник Полтавского казачьего полка. Через него В. Л. Кочубей передал Петру I донесение об измене гетмана И. С. Мазепы. Выдан Мазепе и казнен им 44, 92, 271

Квашнин Петр,

прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка 12

Кикин Александр Васильевич

(ум. 1718), денщик Петра I, с 1712 г. адмиралтейств-советник, один из ближайших сподвижников Петра I, привлечен по делу царевича Алексея, казнен 286

Княжнин Яков Борисович

(1742-1791), драматург, поэт 62

Котошихин Григорий Карпович

(ок. 1630-1667), подьячий Посольского приказа, писатель, в 1664 г. бежал за границу, автор книги «О России в царствование царя Алексея Михайловича» 201

Кочубей Василий Леонтьевич

(1640-1708), представитель украинской казацкой старшины, генеральный судья Левобережной Украины.

Предупредил Петра I о готовившейся измене гетмана Украины Мазепы, был выдан царем Мазепе как клеветник и казнен 45, 92, 205, 271

Левенвольде Рейнгольд Густав,

камергер Екатерины I, ее фаворит, сослан Елизаветой Петровной в Соликамск 259, 400

Левин Варлам,

монах 10, 73, 151, 180, 182, 222, 224, 317

Левшутин Григорий,

доносчик 100, 226

Лесток Аврора Мария,

жена Ж. Г. Лестока 138, 159, 394, 401

Лесток Жан (Иоганн) Герман

(1692-1767), граф, лейб-медик Елизаветы Петровны, сослан в Углич (1750), освобожден Петром III в 1762 г. 22, 52, 113, 125, 159, 249, 367, 389, 391, 423, 424

Лилиенфельд Софья,

придворная дама Елизаветы Петровны, попавшая в опалу 197, 253, 273, 401

Лопухин Иван,

участник дела Н. Ф. Лопухиной в 1743 г. 198, 254, 273

Лопухин Степан Васильевич,

камергер, генерал-лейтенант, генерал-кригс-комиссар, муж Н. Ф. Лопухиной, двоюродный брат царицы Евдокии Федоровны 51, 273

Лопухина Наталья Федоровна

(ум. 1763), урожд. Балк, жена С. В. Лопухина, арестована в 1743 г. по обвинению в заговоре против императрицы Елизаветы, бита плетями, лишена языка, сослана в Сибирь, возвращена Екатериной II 51, 160, 273, 300

Мазепа Иван Степанович

(1644-1709), гетман Украины с 1687 г., в октябре 1708 г. перешел на сторону Карла XII, после Полтавского сражения бежал в Турцию, умер в Бендерах 9, 25, 44, 93, 291, 312, 313

Мария Алексеевна

(1660-1723), царевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны 357

Марфа Алексеевна

(1652-1707), царица, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны 20, 43, 181, 197, 220

Массоны,

братья, швейцарцы на русской службе, высланы из России в 1796 г. 113, 114, 367-372

Менгден Карл Людвиг,

барон, камергер, президент Коммерц-коллегии, приближенный Бирона, сослан в Сибирь при Елизавете Петровне 394, 401

Менгден Юлия

(1719-1786) баронесса, статс-фрейлина и приближенная правительницы Анны Леопольдовны, сослана в ссылку Елизаветой Петровной, освобождена Екатериной II 394, 402

Меншиков Александр Александрович

(1714-1764), светлейший князь, сын А. Д. Меншикова, обер-камергер Петра II, сослан вместе с отцом в Березов, возвращен в 1730 г., генерал-аншеф 402

Меншиков Александр Данилович

(1673-1729), светлейший князь, герцог Ижорский, генералиссимус (1727), сенатор, президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета, ближайший сподвижник и друг Петра I и Екатерины I, сослан в 1727 г. в Березов, где и умер 7, 31, 42, 45, 46, 92, 96, 112, 114, 188, 312, 377, 386, 390, 411, 416

Меншикова Александра Александровна

(1712-1736), княжна, дочь А. Д. Меншикова, сослана вместе с отцом в Березов, возвращена Анной

Иоанновной, сделана фрейлиной, выдана замуж за брата Э. И. Бирона – Густава (1732), умерла при родах 402

Меншикова Дарья Михайловна,

урожд. Арсеньева (ум. 1728), светлейшая княгиня, жена А. Д. Меншикова, умерла по дороге в ссылку 377

Меншикова Мария Александровна

(1711-1729), княжна, старшая дочь А. Д. Меншикова, невеста Петра II, сослана вместе с отцом в Березов, где и умерла в день своего 18-летия 114

Милославский Иван Михайлович

(ум. 1685), боярин 311

Миних Бурхард Христофор

(1683-1767), граф, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, сверг Бирона в 1740 г., при Елизавете Петровне сослан в Сибирь, возвращен Петром III 13, 51, 89, 101, 114, 235, 260, 265, 278, 379, 382, 385-387, 389, 394-399, 400, 423

Миних Эрнст

(1707-1788), граф, сын Б. Х. Миниха, камергер Ивана VI, автор воспоминаний 378

Мирович Василий Яковлевич

(1739-1764), подпоручик Смоленского пехотного полка, за попытку освободить из Шлиссельбургской крепости бывшего императора Ивана VI казнен в Петербурге 15, 58, 236, 254, 255, 258, 269, 271, 278, 314, 317, 335, 358

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович)

(1829-1865), писатель, публицист, в 1861 г. приговорен к 6 годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири 248

Михалевский Иван,

капитан, охранник Долгоруких в Березове 392-393

Михалкин Павел,

доносчик 89

Многогрешный Демьян Игнатович

(ум. не ранее 1696), гетман Левобережной Украины, сослан в Сибирь в 1672 г., освобожден в 1688 г., в 1696 г. постригся в монахи 333, 379

Монс Виллим Иванович

(1688-1724), младший брат фаворитки Петра I Анны Монс, с 1711 г. адъютант Петра I, с 1716 г. камер-юнкер, с 1724 г. камергер, фаворит Екатерины Алексеевны, казнен 16 ноября 1724 г. 156, 235, 277, 415

Мордвинов Николай Семенович

(1754-1845), граф, адмирал, экономист 35, 298, 337

Мусин-Пушкин Платон Иванович,

граф, сенатор, в 1740 г. арестован по делу А. П. Волынского, наказан кнутом и ссылкой в Сибирь 103, 115, 375

Мякинин А. А.,

генерал-фискал 92, 245

Наталья Кирилловна

(1651-1694), урожд. Нарышкина, царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I 20

Нестеров Алексей Яковлевич

(ум. 1722), обер-фискал с 1712 г., казнен за злоупотребления 79, 290

Новиков Николай Иванович

(1744-1818), просветитель, писатель, журналист, издатель, масон, узник Шлиссельбургской крепости 58, 117, 164, 240, 241, 253, 254

Орлов Григорий Григорьевич

(1734 - 1783), светлейший князь, генерал-фельдцейхмейстер, камергер, фаворит Екатерины II 23, 35

Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич

(1737-1807), граф, генерал-аншеф, участник переворота 1762 г., победитель турецкого флота при Чесме 118

Остерман Андрей Иванович

(1699-1747), граф, вице-канцлер, генерал-адмирал, сенатор, член Верховного тайного совета, кабинет-министр, при Елизавете Петровне сослан в Сибирь, умер в Березове 46, 51, 114, 161, 235, 259, 265, 267, 333, 334, 385, 397, 419, 420

Остерман Марфа Ивановна

(ум. 1781), урожд. Стрешнева, жена А. И. Остермана, сослана вместе с мужем 400, 402

Павел I Петрович

(1754-1801), сын Петра III и Екатерины II, император (1796-1801), убит заговорщиками 15, 20, 59, 65, 114, 203, 373, 375, 376, 415

Павловы Иван и Кондратий,

братья-старообрядцы 73, 161, 263

Панин Петр Иванович

(1721 – 1789), граф, генерал-аншеф, сенатор, подавлял восстание Пугачева 324

Пассек Петр Богданович

(1736-1804), капитан-поручик Преображенского полка, камергер 55

Петр I Алексеевич Великий

(1672-1725), сын царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны, царь с 1682 г., российский император с 1721 г. 5-7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 26, 32, 33, 38-43, 44-45, 68, 69, 79, 82, 85, 88, 92, 96, 102, 105, 112, 116, 123, 130, 133, 153-154, 156, 159, 172, 177, 181, 184, 187, 211, 213, 214, 226, 233-234, 235, 237, 247, 251, 254, 256, 261-263, 278, 280, 286, 294, 295, 301, 309, 313, 334, 401, 404, 435

Петр II Алексеевич

(1715-1730), сын царевича Алексея Петровича, российский император с 1727 г. 20, 21, 36, 38, 43, 46, 47, 94, 106, 116, 170, 169, 316, 416

Петр III Федорович, (Карл Петер Ульрих)

(1728-1762), сын цесаревны Анны Петровны, внук Петра I, император (декабрь 1761-июнь 1762), свергнут с престола женой Екатериной II, убит в Ропше 14-15, 26, 52, 53-55, 77, 99, 143, 227, 415, 423

Петр Петрович



(1715-1719), царевич, сын Петра I и Екатерины Алексеевны 153

Пипер,

граф, канцлер Швеции 357

Питирим,

архиепископ Нижегородский 74, 76

Посошков Иван Тихонович

(1652-1726), экономист и публицист, автор «Книги о скудости и богатстве», арестован в августе 1725 г., умер в Петропавловской крепости 146

Пугачев Емельян Иванович

(1740(1742?)-1775), донской казак, участник Семилетней и Русско-турецкой войн, хорунжий. Руководил крестьянским восстанием 1773-1775 гг. под именем императора Петра III. Выдан властям и казнен в Москве 10, 57, 58, 152, 178, 179, 199, 236-238, 257, 267, 272, 273, 290, 312-314, 317, 319-321, 323-329, 334-336, 341, 343, 361, 417

Радищев Александр Николаевич

(1749-1802), писатель, в 1790-1797 гг. отбывал ссылку в Сибири 58, 61-62, 157, 238-240, 376, 388, 393, 401

Разин Степан Тимофеевич

(1630-1671), донской казак, предводитель в крестьянской войне 1670-1671 гг., казнен в Москве 25, 86, 210, 267, 282, 313, 321, 323

Разин Фрол Тимофеевич

(ум. 1676), брат С. Т. Разина, активный участник крестьянской войны 1670-1671 гг., казнен 86

Разумовский Алексей Григорьевич

(1709-1771), граф, генерал-фельдмаршал, с 1742 г. морганатический супруг Елизаветы Петровны 7, 13, 22, 30, 193, 243

Ромодановский Федор Юрьевич

(ок. 1640 - 1717), князь, с 1686 глава Преображенского приказа 38-40, 45, 47, 49, 62, 108, 129, 156, 162, 172, 198, 292

Румянцев Александр Иванович

(1679 – после 1749), граф, генерал-аншеф 261

Салтыков Петр Семенович

(1700-1772), граф, генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор Москвы (1764-1771) 33

Салтыков Семен Андреевич

(1672-1742), граф, сенатор, генерал-аншеф, главнокомандующий Москвы 102, 103

Салтыкова Дарья Николаевна

(1730-1801), московская помещица, замучила более ста крепостных, приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением 228, 266, 321

Санти Франц Матвеевич

(1683-1764), граф, обер-церемониймейстер, сослан в 1727 г. по делу П. А. Толстого и А. М. Девьера в Сибирь, освобожден при Елизавете Петровне 389, 398, 403, 416

Санхес Антонио Рибейра

(1699-1783), лейб-медик императрицы Анны Иоанновны 371

Седов Иван,

солдат 18, 171, 243

Селиванов Кондратий,

основатель скопческого движения 128, 129

Семевский Михаил Иванович

(1837-1892), историк, публицист, основатель исторического журнала «Русская старина» 161, 252, 286, 300, 306

Сивере Петр Иванович

(1674-1740), датчанин, с 1704 г. на русской службе, с 1724 г. вице-адмирал, в 1732 г. сослан в деревню 89, 101

Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич

(1686-1747), военный инженер, автор первого учебника по механике, генерал-майор, обер-прокурор Сената, в 1727 г. сослан А. Д. Меншиковым в Сибирь 116, 119, 396, 416

Сновидов Иван,

сержант лейб-гвардии Измайловского полка 12, 386

Соймонов Федор Иванович

(1682-1780), сенатор, обер-прокурор Сената, вице-президент Адмиралтейской коллегии, проходил по делу А. П. Волынского, в 1740 г. сослан в Сибирь, возвращен в 1742 г., в 1757-1766 гг. сибирский губернатор 375, 424-426

Соковнин Алексей

(ум. 1697), окольный, казнен по обвинению в заговоре против Петра 111, 159, 311, 314

Софья Алексеевна

(1658-1704), царевна, сестра Петра I, правительница России с 1682 г., в 1689 г. пострижена в монахини под именем Сусанны 20, 39, 43, 176, 220, 263

Стрешнев Семен,

боярин 276

Стрешнев Тихон Никитич

(1644-1719), боярин, «дядька» Петра I, московский губернатор (1708) 108

Столетов Егор,

подследственный по делу 1734 г. 167-168

Суворов Александр Васильевич

(1729-1800), граф Рымникский, князь Италийский, полководец, генералиссимус (1799) 375, 376

Талицкий Григорий,

проповедник 10, 129, 246, 289

Тараканова,

княжна («принцесса Владимирская») (ум. 1775), самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и А. Г. Разумовского 22, 58, 117, 139, 146, 182, 193, 225, 233

Татищев Василий Никитич

(1686-1750), историк, управляющий казенными заводами на Урале (1720-1722 и 1734-1737), астраханский губернатор (1741-1745) 167

Теге,

пастор, узник Петропавловской крепости, автор записок 136, 138

Теплов Григорий Николаевич

(1711-1779)приближенный Екатерины II 30

Терский,

обер-прокурор Сената 154-156

Тишин Осип,

доносчик 152, 168

Толстой Петр Андреевич

(1653 или 1654-1729), граф, сенатор, дипломат, начальник Тайной канцелярии, президент Комерц-коллегии, член Верховного тайного совета, сослан А. Д. Меншиковым в 1727 г. в Соловецкий монастырь, где и умер 40-43, 48, 62, 74, 132, 205, 217, 223, 261, 350, 397, 416

Тотлебен Г.,

генерал 371

Турчанинов Александр,

камер-лакей, участник заговора против Елизаветы Петровны в 1742 г. 12, 15, 386

Турченинов Иван,

доносчик 100

Ушаков Андрей Иванович

(1672-1747), граф генерал-аншеф, начальник Тайной канцелярии, сенатор (1730) 37, 46-49, 50-53, 58, 61, 62, 74, 76, 192, 223, 261, 315

Федорова Ефросинья,  
крепостная, любовница царевича Алексея  
Петровича 151

Феодосии (Яновский)

(ум. 1726), архиепископ Новгородский,  
вице-президент Синода, архимандрит  
Алекسانдро-Невского монастыря, в 1725 г. сослан  
Екатериной I в Николо-Корельский монастырь, где и умер  
74-76, 187, 362

Феофан (Прокопович)

(1681-1736), архиепископ Псковский,  
вице-президент Синода, теолог, литератор, один из  
организаторов и проводников церковной реформы Петра  
I 74-76, 192, 218

Фик Генрих,

вице-президент Коммерц-коллегии, прожектёр,  
сослан в Сибирь 384, 394, 428

Хрущов Андрей Федорович

(ум. 1740), советник Конюшенной конторы, казнен  
вместе с А. П. Волынским 146, 420

Хрущов Петр,

участник заговора против Екатерины II в 1763 г. 15,  
264, 332, 358

Цыклер Иван Алексеевич

(ум. 1697), думный дворянин, казнен по обвинению  
в заговоре против Петра I 12, 311, 314

Шакловитый Федор Леонтьевич

(ум. 1689), думный дьяк, начальник Стрелецкого приказа, обвинен в заговоре против Петра I и казнен 43, 219, 221, 276

Шафиров Петр Павлович

(1669-1739), сенатор, барон, вице-канцлер, сослан в 1723 г., возвращен Екатериной I 122, 265, 277, 292, 293, 378, 418, 419

Шаховской Яков Петрович

(1705-1777), князь, сенатор 258-260, 400

Шетарди Иоахим Жак Тротти де ла

(1705-1758), маркиз, чрезвычайный посол Франции в России в 1739-1742 гг., способствовал успеху переворота Елизаветы Петровны в 1741 г., в 1744 г. по ее приказу выслан из России 121-123, 243, 367

Шешковский Степан Иванович

(1727-1794), секретарь Тайной экспедиции Сената, глава политического сыска (1762-1794) 55, 57-65, 156, 164, 229, 238-240, 253

Шлейссингер Г. А.,

немецкий путешественник 202

Шубин Алексей,

фаворит императрицы Елизаветы Петровны 22, 232, 243, 427

Шувалов Александр Иванович

(1710-1771), граф, генерал-фельдмаршал, начальник Тайной канцелярии (1746-1761) 52, 53, 61, 62

Шувалов Иван Иванович

(1727-1797), обер-камергер, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат 182, 191

Щербатов Михаил Михайлович

(1737-1790), историк, публицист, автор книги

«О повреждении нравов в России» 275, 294, 298, 337, 413

Эйхлер Иоганн,

секретарь Кабинета министров, привлечен по делу А. П. Волынского, в 1740 г. сослан в Сибирь 375

Юль Юст (1664-1715),

датский посланник в России в 1709-1711 гг., автор записок 203, 204, 274, 277, 285, 313

Юсупова Прасковья Григорьевна,

княжна, узница монастырской тюрьмы при Анне Иоанновне 356

Янсен Якоб (ум. 1696),

голландец на русской службе, казнен за измену после Азовского похода 1696 г. 284, 323, 367

Яров Яков (ум. 1736),

сожжен как колдун 98, 289



# ЛИТЕРАТУРА

Акишин М. О. Полицейское государство и сибирское общество: Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996.

Амфитеатров А. Дьявол в быте, легенде и литературе средних веков. Ташкент, 1993.

Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989.

Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.

Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994.

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. 3-е изд. М., 2001 (ЖЗЛ).

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2002 (ЖЗЛ).

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. 1721-1725 гг. М., 1902-1903. Ч. 1-4.

Болотов А. Т. Записки. 1737-1796 гг. Тула, 1988. Т. 1-2.

Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. СПб., 1900.

Веретенников В. И. Из истории Тайной канцелярии. 1731-1762 гг.: Очерки. Харьков, 1915.

Веретенников В. И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910.

Викторский С. Н. История смертной казни в России и современное ее состояние. М., 1912.

Винский Г. С. Мое время. СПб., 1915.

Восстание Емельяна Пугачева: Сб. документов. Л., 1933.

Восстание московских стрельцов: 1698 год. Материалы следственного дела. Сб. документов. М., 1980.

Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М. 1960. Т. 1.

Грекулов Е. Ф. Православная инквизиция в России. М, 1964.

Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Сочинения. М., 1986.

Долгорукая Н. Б. Собственноручные записки. СПб., 1992.

Долгоруков П. В. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. М., 1997.

Евреинов Н. История телесных наказаний в России. Харьков, 1994.

Екатерина II. Записки императрицы. М., 1990.

Емельян Пугачев на следствии: Сб. документов и материалов. М., 1997.

Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия. СПб., 1861-1863. Т. 1-2.

Есипов Г. В. Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. М., 1861.

Желябужский И. А. Записки // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.

Загоскин Н. П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892.

Зуев А. С, Миненко Н. А. Секретные узники сибирских острогов (Очерки истории политической

ссылки в Сибири второй четверти XVIII в.) Новосибирск, 1992.

Канторович Я. Средневековые процессы о ведьмах. СПб., 1899.

Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.) СПб., 1906.

Корф М. А. Брауншвейгское семейство. М., 1993.

Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. 4-е изд. СПб., 1906.

Крестьянская война в России в 1773-1775 годах: Восстание Пугачева. Л., 1965-1970. Т. 1-3.

Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.

Манштейн К. Г. Записки о России 1727-1744 гг. СПб., 1875.

Марголис А. Д. Тюрьма и ссылка в императорской России: Исследования и архивные находки. М., 1995.

Непотребный сын: Дело царевича Алексея Петровича. СПб., 1996.

Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995.

Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1990.

Перри Д. Состояние России при нынешнем царе. М., 1871.

Пилявский В. И. Петропавловская крепость. Л., 1967.

Сансон Г. Записки палача. М., 1996. Кн. 1-2.

Семевский М. И. Слово и дело государево! СПб., 1884.

Семевский М. И. Исторические портреты. М., 1996.

Теге. Записки пастора // Русский архив. 1864.

Хавен П. фон. Путешествие в Россию // Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997.

Черникова Т. В. «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны // История СССР. 1989. № 5.

Шаховской Я. П. Записки: 1705-1777 гг. СПб., 1872.

Шлейссингер Г. А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // Вопросы истории. 1970. № 1.

Юль Ю. Записки датского посланника при Петре Великом (1709-1711 гг.). М., 1900.